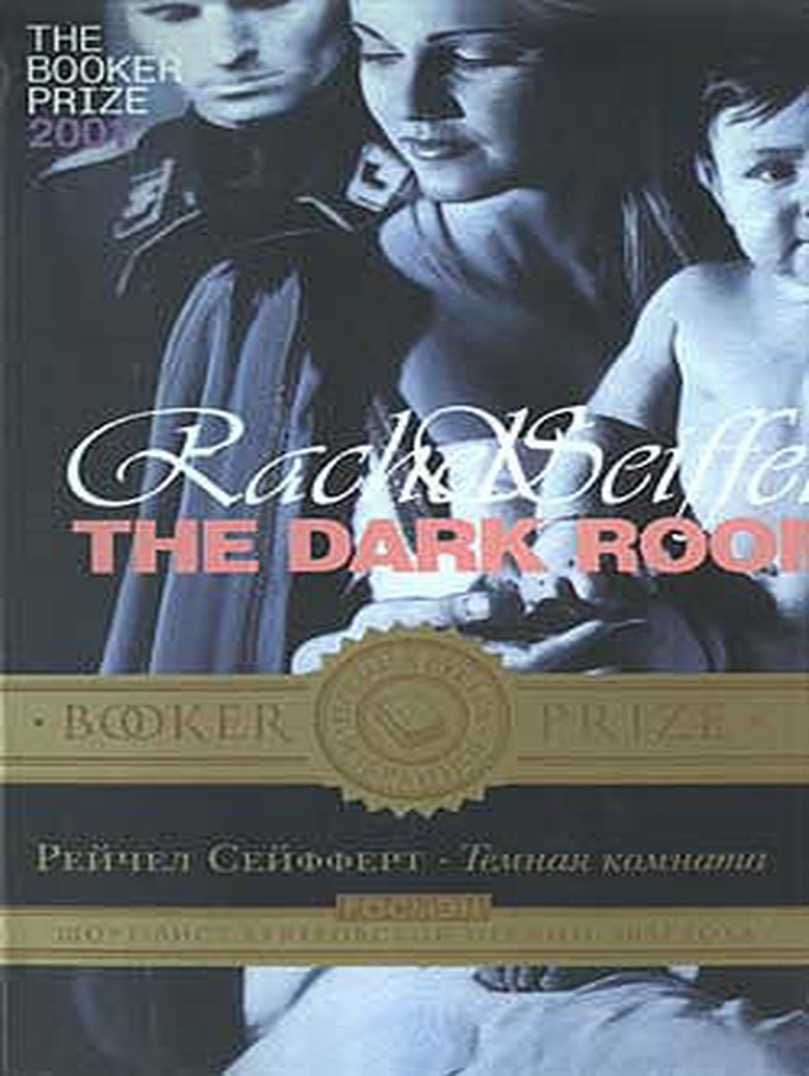
THE
BOOKER
PRIZE
2007
Rachel Seiffe
THE DARK ROOM
BOOKER PRIZE
Рейчел Сейффert - Темная комната

Темная комната
Рейчел Сейфферт

Аннотация
Рейчел Сейфферт. Темная комната
Гельмут
Лора
Миха

Аннотация

В этой книге – Германия, которую мы не знали: довоенный Берлин глазами молодого фотографа, дети-беженцы весны 1945-го, внук эсэсовца, спустя полвека расследующий преступления деда в Белоруссии. Трагедия Второй мировой особым образом отразилась на судьбах простых граждан страны, развязавшей самую жестокую войну XX века. Попытка разобраться «изнутри» в опыте войны, прошедшей через каждый дом и каждую семью, приводит порой к неожиданным и шокирующим откровениям.

«Темная комната», дебютный роман Рейчел Сейфферт (р. 1971), дочери немки и австралийца, в 2001 году был включен в шорт-лист премии Букера.

Рейчел Сейфферт
Темная комната

Гельмут

Берлин, апрель 1921-го

Родился. Мать прижимает его к груди, баюкает, впервые кормит. Счастлива, что держит на руках жизнь, которую ощущала в себе все эти месяцы. Он немного недоношен, но не такой уж крохотный, и ее пальцы живо оказываются в миниатюрных тисках его кулачков. Она уже знает его и любит. Когда муж приходит домой с работы, акушерка отводит его в сторону. Не дает сразу пройти в спальню. В отличие от жены, ему не суждено увидеть сына совершенным: полюбить его прежде, чем узнать о недостатке.

Больница переполнена, рекомендованный акушеркой доктор — человек бойкий и понимающий. Новоиспеченным родителям сообщают, что дефект этот врожденный, но для здоровья неопасный. Говоря простым языком, у их сына не хватает в груди одной мышцы. Если регулярно проходить физиотерапию, то он сможет писать и выполнять все необходимые в повседневной жизни действия. Разумеется, он никогда не будет

владеть правой рукой полноценно, и ручной труд исключен, но отсутствие одной грудной мышцы нельзя признать серьезным недостатком. Возможно, со временем он даже сможет играть в спортивные игры, хотя до такой степени обнадеживаться не следует.

Дома они разглядывают своего малыша, который гукает и сучит ножками в кроватке. Скрюченные ручки-ножки, удлиненные большие пальцы, складочки нежной кожи. Настоящий красавец. И молодые родители улыбаются друг другу, готовые дружно рассмеяться. Раскрывают распашонку на груди возле правой подмышки и внимательно за ним наблюдают. Одна сторона немного меньше, чем другая, это правда. Но обе руки, когда его кормишь или щекочешь, толкаются довольно сильно — он крепкий подвижный малыш. Мутти[1] плачет: все с ним в порядке. Папи обнимает ее, не сводя глаз с сына. Пока ребенок спит, они молча сидят рядышком на кровати. И назвали они своего малютку Гельмут, яркая натура, ибо таким видели его. Вполне совершенным, и все тут.

---

[1] Примечания: 1

Мутти — мама *(нем.)*. — Здесь и далее примеч. ред.

* * *

Сурова жизнь между войнами: простая пища, скупые радости, теснота. Отец Гельмута воевал и теперь кашляет по ночам и в сырую, осеннюю погоду. Он старше жены и благодарен ей за подаренное счастье, поэтому день за днем встает рано и идет на поиски работы. В квартире, куда он возвращается вечерами, всегда чисто и тепло, по меньшей мере в одной из двух комнат. Мать Гельмута ведет хозяйство с умом, поэтому на столе у них всегда что-нибудь да есть. Родители не нарадуются на единственного малыша и не спешат заводить второго ребенка, изливая всю любовь на Гельмута, который смеется гораздо чаще, чем плачет. Все трое спят на матрасе, теплом и большом, и, хотя Гельмут теперь трещотка и юла, отдельная кровать для него кажется неоправданной роскошью. Мутти растит на подоконнике травы и цветы, и Гельмут ей помогает, а папи, если не слишком устанет после работы, споет мальчику одну-две песни. Для Гельмута утренняя и вечерняя зарядка — игра, в которую он играет с родителями. Он думает, что так делают все мальчики, чтобы стать сильными, как их отцы. Что все семьи такие же счастливые.

Жарким летом мутти увозит маленького Гельмута далеко на север, к морю, а отец остается дома и берется за любую подвернувшуюся работу. За неделю волосы у Гельмута выгорают, а сам он становится смуглым, как орех. Он играет голышом на мелкоте с другими детьми, а мутти на пляже заводит дружбу с другими мамашами. Мутти никогда не говорит о сыновней груди, о руке, и, если остальные женщины тоже вроде как ничего не замечают, она успокаивается, становится разговорчивее и, лежа на спине, наслаждается обществом и солнцем.

Летними вечерами комнаты спортивного лагеря полнятся шепотом. Матери рассказывают на ночь своим неугомонным детям сказки, делятся между собой тайнами и сигаретами у раскрытого в душное темное небо окна. Сквозь дремоту Гельмут чувствует, как мать укладывается рядом с ним, как остро пахнут дымом ее волосы, и, закрыв глаза, снова проваливается в сон. Палец во рту, под ногтями песок, соленая от морской воды кожа.

* * *

Отец Гельмута устроился на постоянную работу

к герру Гладигау, владельцу вокзального фотоателье. Это три-четыре дня в неделю стабильного дохода. Теперь папи прибирается в темной комнате, меняет реактивы, а когда герр Гладигау отлучается по делам, присматривает за ателье. Гладигау любит нового работника и доверяет ему. Сам он бездетный вдовец и рад знакомству с молодой и счастливой семьей. Он не может себе позволить платить столько, сколько ему хотелось бы и сколько необходимо семье Гельмута. Но взамен он предлагает вести фотолетопись семейной жизни. Они сходятся на семейном портрете. Фотографируются каждые полгода, поскольку мальчик растет быстро. Мутти в восторге, папи немного смущен, но тоже обрадован. Первая фотосессия назначается на следующую неделю. На отобранном папи снимке Гельмут стоит у отца на колене, а правой рукой тянется к искусственным пальмам, что у матери за спиной. Оба родителя с улыбкой смотрят на сына. Белокурый мальчик, только что вышедший из младенческого возраста; правая рука вытянута на уровне плеча, или даже чуть выше. Естественная поза для любознательного, подвижного ребенка, но для фотопортрета непривычная. Гладигау больше по вкусу чинные снимки, сделанные в начале

сессии, на которых все сидят, сложив руки на коленях, и смотрят в камеру; но его помощник упорствует, и Гладигау, не найдя причин ему отказать, выбирает простую рамку по средней цене и аккуратно заворачивает фотографию.

* * *

При взгляде на тщательно заштопанную одежду и острые скулы — что на этом, что на позднейших портретах — Гладигау становится больно. Он встречается с папи почти каждый день, и каждый день — одно лицо, одни и те же куртка с туфлями. Но в темной комнате, на снимках, все проступает отчетливо, выпукло, явно: капустно-картофельная диета, бесконечное латание бесконечных дыр, жена, сын с увечной рукой. При первой же возможности Гладигау переводит папи на полный рабочий день.

Теперь у них хватает денег на приличное жилье. Они снимают квартиру в одном из домов рядом с вокзалом: все дома здесь в хорошем состоянии, светлые и чистые. Гельмуту, уже взрослому, чтобы спать вместе с родителями, отводится своя комнатка. Соседи — люди дружелюбные и хозяйственные, а во дворе полно ребятишек, так

что Гельмуту есть с кем играть. Первое время он дичится, предпочитает смотреть на поезда, прибывающие и уходящие с вокзала. Целое утро сидит в кухне у окна, а за спиной напевает мать, занимаясь стряпней и уборкой. Но вскоре уже он смотрит на поезда с лестничной площадки, затем с черного хода. А потом и думать забыл о поездах и вместе с другими детьми кружится по двору в шумном хороводе пряток, догонялок и салочек.

Мутти ищет сына в квартире, на лестничной площадке, выходит на улицу — вот он, бегает. После обеда она садится у окна в кухне и смотрит, как сын играет. Мутти видит, что, когда он бежит, правая рука болтается немного позади. Подмечает, что правое плечо у Гельмута ниже левого, а при ходьбе он то и дело подпрыгивает, чтобы правый бок мог поспеть за тщедушным телом. Еще она видит, что сам Гельмут этого не замечает. Переводя взгляд на других детей, она наблюдает, как они топают босыми ножками, оступаясь на колдобинах. Бледная кожа и черные от голода круги под глазами, обкусанные ногти и растрепанные косички. Обувь-то можно купить, и еду тоже. Можно справиться с плохими привычками и причесать волосы. Гельмута же не вылечить достатком, хорошим питанием или

дисциплиной. Однако соседские ребята его не дразнят, даже внимания особенно не обращают. И хотя сама мутти так и будет вечно наблюдать и сомневаться, она все же позволяет себе немного успокоиться.

* * *

В школе, однако, все меняется. Учитель физкультуры отправляет новых подопечных на полное обследование. Сняв майки и выстроившись в шеренгу, они замирают по стойке «смирно». Тех, кто как будто нуждается в особом режиме занятий, вызывают из строя и жалкой кучкой собирают в углу школьного двора. Гельмут оказывается среди толстяков и слабых мальчиков с гнилыми зубами и не может понять почему. Когда под молчаливым взглядом класса выясняется, что, в отличие от других мальчиков, он не может поднять правую руку выше плеча, Гельмут узнает, что с ним что-то не так.

* * *

Дома мутти плачет, а вернувшийся вечером папи приходит в негодование. Вместе с Гельмутом на следующий день он идет в школу и

требует, чтобы его сыну разрешили заниматься физкультурой со здоровыми детьми. Рука никогда не мешала ему — ни во дворе, с соседскими ребятами, ни летом на пляже.

Папи просят подождать в просторном коридоре. Там нет кресел, и он стоит возле двери на кромке ослепительно сияющего паркета. Закончился один урок, начался другой, и папи окончательно опоздал на работу. В тишине он вспоминает рождение Гельмута. Вспоминает больницу, в которую они его принесли: с такими же коридорами и широкими хлопающими дверями, и чувствует ту же удушающую обиду за сына. Он злится на акушерку, на врача, к которому та их направила. Зачем они встали между ним и его ребенком? Злится и на директора школы, но не спорит, получив наконец письменный ответ. В дополнение к ежедневной физиотерапии Гельмут будет ходить на гимнастику, но, пока его состояние не улучшится, командные игры исключены. Пробежав глазами листок, папи берет шляпу и пальто и уходит.

Вечером отец сажает Гельмута на колени. Он сильный мальчик, будущий мужчина, мутти и папи его любят, и он будет стараться изо всех

сил, чтобы в школе его оценили по заслугам. Они будут тренироваться вместе, все трое. И семья победит.

Но Гельмут по-прежнему числится среди толстяков и слабых мальчиков с гнилыми зубами. И по-прежнему не может поймать мяч, летящий выше уровня плеча. Ежедневные упражнения становятся более активными, но уже не столь увлекательными, особенно когда их проводит отец. В туалете в конце коридора Гельмут придирчиво изучает еле заметный мышечный жгут под правой ключицей. В большой зеркальной витрине булочной видит свою правую руку: скрюченную, свисающую ниже левой, налезающую на грудь.

* * *

Гельмут по-прежнему играет во дворе с соседскими детьми, но мутти часто замечает его за домами, у высокого забора: он стоит и смотрит сквозь решетку на проезжающие составы. Пусть вокзал и небольшой, но почти каждый день здесь останавливаются два-три пассажирских поезда, едущие из других городов или направляющиеся в далекие края. Дрезден, Лейпциг, Штутгарт,

Мюнхен.

Гельмут не интересуется номерами паровозов и типами вагонов. Он любит изучать расписания и пункты назначения, следить за прибытиями и отъездами. Любит смотреть на людей в группах и поодиночке, катящих полные тележки с багажом или шагающих налегке. По их чужой походке и одежде — угадывать, бывали ли они прежде в Берлине.

Не всегда Гельмут стоит у забора один. Его энциклопедические познания в области расписания поездов производят сильное впечатление на мальчишек. К тому же он заводит дружбу с охранниками и через турникет забрасывает их коварными вопросами, когда какой поезд прибывает и далеко ли идет. Вскоре ему открывается доступ на платформу и возможность собирать у вновь прибывших прокомпостированные билеты. Иногда какой-нибудь пассажир, заметив его подштопанную одежду, незаметно сунет в руку Groschen[2]. Гельмута подобные жесты немного смущают: родители, хоть и непонятно почему, наверняка бы его за это отругали. Однако он

---

[2] Примечания: 2
Groschen — грош *(ш.м.). (Здесь и далее примеч. перев.)*

никогда не отказывается от подарков незнакомцев: конфеты, которые на них можно купить, — мощное оружие в войне за друзей. Он грамотно пользуется доступом на вокзал и кулечками с лакричными леденцами. Дареному коню в зубы не смотрят. Соседская ребятня охотно сбегается на его зов и, громыхая вслед за ним по лестницам, устремляется через двор к путям.

* * *

На семейных фотографиях за спинами сидящих родителей изображен уже довольно высокий, крепкий мальчик. На нем костюм моряка — типичная мальчишеская одежда для праздников и воскресений. Правая рука Гельмута лежит на плече матери, а сам он слегка развернут левым боком на камеру. Эта двойная хитрость призвана максимально скрыть его неровную грудь, спрятать скрюченную руку. На протяжении трех или четырех лет поза не меняется, перемены касаются только одежды, роста Гельмута да седеющей отцовской бороды. Семья выглядит довольной, поздоровевшей, лица по сравнению с предыдущими годами округлились. Люди на фотографии, зная, что немощь сына искусно замаскирована, чувствуют себя свободно. Гордая, крепкая, начи-

нающая преуспевать семья.

* * *

Переходный возраст и Третий рейх наступают одновременно. К ужасу Гельмута, у него не только появляются волосы на теле, но и под правой подмышкой пушок растет еще выше, под самую ключицу. С появлением мускулов странный рисунок сухожилий на груди проступает еще отчетливее.

Теперь гимнастикой в школе занимаются все мальчики, и неполноценность Гельмутовой руки сильнее бросается в глаза. Он носит фуфайки с длинным рукавом, а не майки, как остальные ребята. Мальчишки иногда глазеют на него в раздевалке, иногда, как прежде, походя толкают в бок в школьном коридоре, но чаще обходят молчанием. Гельмут хорошо учится, и у него есть несколько друзей в школе. Почти все свободное время он по-прежнему проводит на вокзале, чаще всего в одиночестве. Иногда, возвращаясь домой, он встречает во дворе соседских ребят. Постоит с ними минутку, посмотрит на их возню, посмеется шуткам, они спросят его о поездах, но станут слушать вполуха. Все они вступили в клубы, куда

Гельмута не зовут, им теперь нужны компании и уличные стычки, и лакричные леденцы не прельщают их, как когда-то. Одна девочка со двора, Эдда Бине, бывает, приходит к нему на платформу. Она встает возле мешков с почтой, мусолит свои длинные косы и наблюдает за тем, как Гельмут приветствует сходящих с поезда пассажиров и собирает билеты. С возрастом его недостаток стал еще заметнее, а растущее благосостояние сделало пассажиров щедрее. Если поднакопить денег и угостить Эдду мороженым в магазине возле ателье Гладигау, она, возможно, позволит взять себя за руку, а может, на обратном пути даже покажет Гельмуту под лестницей свои ноги.

Гельмут знает, что он здоров, что у него выносливое сердце, хорошие легкие и быстрые ноги, и он готов предложить их своей стране. А еще он знает, что он калека.

* * *

Гельмут окончил школу. Другие ребята идут работать, приобретают профессию, но мутти уговаривает папи, чтобы сын побыл пока дома. Недолго, ведь он еще не готов, он совсем еще мальчик. Вздохнув, отец соглашается.

Мутти теперь берет на дом стирку, и Гельмут помогает складывать и разносить белье, но год или около того дни его протекают в основном между вокзалом и домом. Он покоен и доволен, в голове только расписание поездов. Он поглощает мамины горячие обеды, а мечтательный отсутствующий взгляд устремлен поверх кухонного стола в окно.

Папи недоволен бездельником сыном. У Гладигау дела идут хорошо. Он купил новые камеры, запасся пленкой, и теперь ему требуется помощник. Поэтому папи берет сына с собой. Хоть на что-то сгодится. Гельмут рад услужить отцу, и осенью ему наконец выпадает шанс. Выйдя до завтрака встретить первый поезд, Гельмут обнаруживает, что тротуары покрыты толстым слоем стекла. Ранние пассажиры осторожно пробираются по осколкам к воротам вокзала, мимо Гладигау. Он стоит на пороге своего чудом уцелевшего ателье и вглядывается в бледные ноябрьские рассветные сумерки. Гельмут берет ключи, отыскивает метлу и, не говоря ни слова, подметает осколки. Гладигау приходит в восторг. Парень теперь первый кандидат в помощники.

На этот раз настаивает папи, и мутти уступает.

Гельмут будет работать по понедельникам, средам и пятницам, во второй половине дня, и по субботам, если случатся какие поручения. Хозяин и отец с сыном работают бок о бок: молча, усердно, со знанием дела. Гладигау любит мальчика, хорошо к нему относится, учит и наставляет, однако поблажек не делает.

* * *

Гельмуту нравится быть в темной комнате. Нравится умиротворяющий звук тихо бегущей из крана воды и щелочной запах реактивов. Свет он зажигает, только когда занимается уборкой, предпочитая и смешивать реактивы, и заправлять пленку при красном свете либо в глубокой густой темноте. Гладигау особенно удаются портреты, снятые на большую студийную камеру, и как только снимки проявлены, ни папи, ни Гельмут не смеют к ним прикасаться. Впрочем, Гладигау пробует работать и с новыми аппаратами, куда заправляется рулонная пленка, и тогда скрупулезного и методичного Гельмута допускают обрабатывать негативы. Он терпеливо перематывает пленку умелыми пальцами, не нуждающимися в помощи глаз. Гельмут умеет выдержать время и во всем советуется с Гладигау;

старик рад и горд, что его помощник проявляет такое понимание дела. Снимки печатает сам хозяин, зато Гельмуту позволяется самостоятельно экспериментировать с остатками растворов и лишними негативами. Неспешными послеобеденными часами, когда темная комната пуста, Гельмут учится печатать на обрывках толстой фотографической бумаги, добытых здесь же, на полках и в ящиках.

В маленьком дальнем туалете, что в стенном шкафу, под склянками с проявителем и фиксажем, Гельмут находит американские журналы, аккуратно обернутые в бумагу. На задвижке не хватает шурупа, поэтому Гельмуту приходится сидеть в полумраке и рассматривать черно-белые фотографии женщин в откровенных нарядах, крепко уперевшись в дверь ногой. Гельмут не понимает английского языка, но разбирает названия оборудования, вспышек, камер и линз. Немецкая пленка и немецкие фотоаппараты — самые лучшие, но эти американки тоже хороши. Округлые животы, маленькие груди, продолговатые широкие бедра. Некоторые фотографии сделаны на природе: девушки купаются, на их телах блики воды и света.

Когда Гельмут не работает, он думает о работе. Приглушенный свет, льющаяся вода, вытянутая правая нога. Американки с белой кожей и сломанная задвижка на двери туалета. Ночью он мысленно проецирует эти образы на потолок спальни, а, внизу, под окном, долгие товарные составы выстукивают свою неторопливую, умиротворяющую мелодию сна.

* * *

На востоке найдена новая земля; старая земля найдена вновь. Многое теперь стало лучше: ярче, чище, здоровее. Гельмут читает это в лицах родителей и знает, что этот ход вещей освящен законом. Он ощущает это в собственных ногах, шагая на вокзал; свежесть весны и грядущее лето твердят ему: больше, шире, сильнее.

Он откликнется на призыв. И пойдет, повинуясь ему, и, может быть, излечится.

* * *

В восемнадцать Гельмут вместе с тремя соседскими парнями является на призывной пункт. Их лица напряжены, глаза горят в предвкуше-

нии славных дел. У Гельмута пылают щеки, но в животе туча, которую никак не удается рассеять. Гельмут рад доброте доктора и уединению в кабинете — двухминутной милости, дарованной ему, чтобы проглотить мальчишеские слезы. Ребята крепко хлопают его по спине, приговаривая, что уж в следующий раз он непременно к ним присоединится. Отличные выйдут офицеры. На шнапс Гельмута не приглашают.

Торопливо, задними дворами, идет он домой. Такое ощущение, что каждый встречный направляется на фронт, а он должен возвращаться домой к маме. Закрывшись в чуланчике, Гельмут смотрит в окно. Плакать нельзя: это бы унизило его еще больше. В соседней комнате, он знает, сидит мутти, сидит напряженно и неподвижно, вслушиваясь, теряясь в догадках. Он сжимает в кулаках скомканное одеяло, а перед глазами плывет оконное стекло.

* * *

Отец долго молчит. Гельмут под дверью родительской комнаты слушает и не слышит ни звука, руки делаются в темноте холодными и влажными. Слава богу, наконец папи заговорил. Хватит

околачиваться на вокзале, витать в облаках. Он не ребенок больше и не девчонка, пора искать свое место в этом мире. Отец перестал делать с Гельмутом зарядку еще два года назад, а теперь настаивает, чтобы жена сделала то же самое. Этот ритуал ставит и мать, и сына в неловкое положение. Столько усилий — и все бессмысленно. Мутти скучает без ежедневного общения с сыном, но убеждает себя, что так нужно для его блага, и вскоре действительнр начинает в это верить.

Родители Гельмута вступают в партию; Führer[3] становится членом их семьи и поселяется на стене над софой посреди семейных портретов. В самом начале войны отец Гельмута находит прибыльную работу управляющего цехом на новой фабрике на окраине Берлина. Гельмут переходит на полный рабочий день.

* * *

Пришло время для последнего семейного портрета. Как-никак Гельмут уже взрослый. Гладигау, устанавливая камеру, подшучивает над мутти. Следующие фотографии сделаем на свадьбе да по-

---

[3] Примечания: 3
Führer — фюрер *(нем.).*

сле на крестинах. Мутти краснеет, папи молчит, Гельмут срочно отправляется запереть входную дверь и затыкает уши. Ну наконец-то.

Последняя фотография: мужчины, отец и сын, стоят, а мать гордо сидит перед ними. Они положили руки ей на плечи, а Гельмут левой рукой обнимает отца. Теплый семейный круг.

В честь последнего сеанса Гладигау делает персональный портрет Гельмута. Он снят по грудь, левое плечо развернуто на камеру, глаза, повинуясь пальцу Гладигау, смотрят чуть вверх и вправо за рамку. Вокруг тонких губ легла тень улыбки, а из-за опущенного подбородка Гельмут выглядит застенчивым, похожим на девочку. Теперь у него темные волосы и, хотя их пригладили водой и отцовской помадой, на затылке по-прежнему торчит мальчишеский вихор.

Гладигау доволен своей работой. Вечером, за шнапсом, он кладет портрет перед собой на кассу. Вглядываясь в тяжелые брови и неяркие, глубоко посаженные глаза, вспоминает прежнего мальчика с острыми скулами и тонкими, хрупкими запястьями и одобрительно кивает этому невозмутимому молодому мужчине. Гладигау выбирает рамку — простую, но из дорогих — и

заворачивает изображение Гельмута, чтобы передать потом его матери.

Мутти сидит на кровати, на коленях — фотография. Так сидит она полдня, не шелохнувшись, и отчего-то сильно колотится сердце. Прикрыв ладонью правый глаз сына, она смотрит на левый, ближний к камере, глаз и в нем находит источник своего беспокойства. Должно быть, думает она, дело в мышцах нижнего века, чуть-чуть напрягшихся в момент вспышки. Или это игра света: два ярких белых пятнышка на зрачке, из-за которых кажется, что ему больно. На семейном портрете, еще раз изученном, ничего такого нет; возможно, ее сын, застенчивый молодой мужчина, просто чувствовал себя неуютно, сидя один перед своим хозяином. В любом случае это был роскошный подарок, притом неожиданный. Как и рамка.

Портрет этот не висит в гостиной, где его могут увидеть посторонние. Сначала мать хранит его на ночном столике, а некоторое время спустя бережно убирает в ящик.

* * *

Война сплотила людей. Вечерами родители Гельмута подолгу беседуют на лестнице с сосе-

дями. Прислонившись к дверному косяку, пьют кофе и шнапс. Подымаются и затихают голоса, идут споры о том, что происходит, а что может произойти.

Для Гельмута это пора одиночества. На фронт ушли пока немногие, но все же сидеть дома ему стыдно. Он старается не встречаться с соседями, чьи сыновья сейчас сражаются, все чаще замыкается в себе, а отец с матерью не мешают ему молчать и быть одному.

Он по-прежнему ходит на вокзал до и после работы, иногда в обеденный перерыв, но больше не собирает билеты. Подачки пассажиров теперь унижают его, да и оскорбить люди могут запросто. Гельмут изо всех сил прячет руку: прижимает к груди или прислоняется правым боком к какой-нибудь колонне. Его интересуют не билеты, а в первую очередь расписание и пункты назначения, время прибытия и отправления поездов. У него есть книжечка в кожаном переплете, из тех, в которые добряк Гладигау записывает экспозицию. С начала войны расписание почти не изменилось, но малейшие поправки Гельмут обязательно фиксирует в книжечке. Дома, в своем чуланчике, он наклеивает собранную коллекцию

билетов в альбом для вырезок и по памяти записывает довоенное расписание.

* * *

Гладигау никогда раньше не работал с цветной пленкой. Один из постоянных клиентов, чья дочь скоро должна была выйти замуж, уговорил его снимать свадьбу в цвете, и вот с утренней почтой прибыли первые образцы пленки. За чашкой кофе хозяин и его помощник изучают прилагающиеся брошюры. Часом позже Гладигау входит в темную комнату и, объявив, что сегодня ателье работает только до обеда, приглашает Гельмута вместе с ним опробовать новую пленку.

Они едут на трамвае в центр города. Гельмут на поворотах сжимает коленями штатив, а Гладигау смотрит в окно, выискивая улицу покрасочнее. Стоит погожий осенний день, хрусткий и свежий. Гельмут глядит на свет и тени на стенах проплывающих мимо домов и думает, что при таком хорошем, ярком освещении снимки обязательно выйдут замечательные.

Доехав до центра, они выходят и идут на широкую, увешанную красными флагами улицу. Вот здесь. Гладигау уверен в своем решении, и

Гельмуту остается только согласиться. Впервые оказавшись так далеко от дома, на такой большой, живописной улице, он улыбается во весь рот, вертит головой по сторонам. От холодного ветра пальцы ослабли, и он устанавливает камеру дольше обычного. Гладигау оживленно возится с экспонометром. Уходящие к горизонту флаги, как паруса, хлопают над головами, и от яркого света, холода, красок и радости у Гельмута кружится голова.

Из лаборатории слайды возвращаются в картонных рамочках. В пустом ателье Гельмут подносит к окну последний и самый лучший из них. Между большим и указательным пальцем зажата улица, залитая светом. На фоне неба горят свастики, а в алых складках застыл ветер.

* * *

Внимательный просмотр блокнотов подтверждает Гельмутовы подозрения. Вокзал используется все интенсивнее. Складывается впечатление, что вся страна пришла в движение: люди, товары, города. И в то же время Гельмут с ужасом ощущает, что Берлин пустеет. Он не видел ни одного приятеля с тех пор, как пошел

работать, и ему кажется, что все они на фронте. Неожиданный поток смертей и отъездов повергает Гельмутову мать в бессильное молчание, и ее настроение передается сыну. Фрау Бине с соседнего этажа потеряла в Польше обоих сыновей и вместе с Эддой, бывшей подругой Гельмута по перрону, уезжает в Бремен. Герр Мас с нижнего этажа уходит на фронт, фрау Мас увозит детей на юг к сестрам. Спустя две недели убит еще один сосед, еще один солдат, и еще один магазин возле ателье Гладигау заколочен досками: владельцы уехали, никого не предупредив.

У Гладигау дела не блестящи. Некоторые постоянные клиенты стали непостоянными, да и разовых заказов почти нет. Для Гладигау работы пока хватает, а вот Гельмут все чаще бездельничает. Он, пока хозяин занят, просматривает книги заказов, выписывает тех, кого не видел больше месяца, а потом, если они опять приходят, вычеркивает их из списка. Каждую неделю в список добавляются новые фамилии. Гельмут обеспокоен. Он решает вести строгий учет прибывающих и уходящих поездов. Следить за передвижениями людей, фиксировать медленный отток жителей из Берлина.

* * *

Вечер, вокзал. Мимо Гельмута с блокнотом быстрым шагом на перрон всходит отряд солдат, внезапная серая волна. Почти все они старше Гельмута, но он с болью отличает каждого молодого солдата, каждое мелькнувшее перед ним юное лицо. Отступает на шаг, три, четыре, прислоняется больным плечом к кафельной стене вокзала. Ему стыдно, что у него нет формы, что он просто стоит здесь, сложа руки. Он утыкается в блокнот, царапает ничего не значащие цифры, названия каких-то городов.

Но вдруг блокнот выхвачен, рука прижата к стене. Гельмут слышит вопросы, но видит только лишь форму, которой у него нет. Из серой солдатской шинели летят громы и молнии, и Гельмут теряется. Пассажиры наблюдают молча, и он думает, что ему, наверное, тоже нужно сохранять спокойствие. Отвернувшись от перекошенного криком лица, Гельмут смотрит на кафель на стене, к которой сначала прислонился сам, а теперь его прижимают силой.

Подходит охранник. Крик стихает. Охранник объясняет военному, что это у Гельмута такое

увлечение, и солдат ослабляет хватку.

Гельмут извиняется, толком не зная за что. Военный отпускает его, но блокнота не отдает, и Гельмут не двигается с места, стоит, прижимаясь пылающей щекой к холодному кафелю. Охранник что-то шепчет на ходу солдату, указывая на Гельмута. Солдат останавливается и, обернувшись, медленно и громко объясняет Гельмуту, что его записи могут оказаться опасными, попади они в плохие руки. Пассажиры наблюдают за сценой. Некоторые из них, когда солдат перестает кричать, начинают расходиться, но, равно как и он, по-прежнему не сводят с Гельмута глаз. В образовавшейся тишине тот пытается собраться с духом и пихнуть его, пнуть, треснуть кулаком, но не может. Военный удаляется по перрону с блокнотом в кармане шинели. Охранник мягко похлопывает Гельмута по больной руке, еще не отошедшей от тисков солдатских пальцев. Пассажиры молча, как и наблюдали, рассеиваются. Гельмут переулком возвращается домой, поднимается по лестнице и, пока не поздно, записывает в альбом для вырезок все, что помнит из блокнота.

* * *

Теперь он пробует работать по памяти. Ему не составляет труда фиксировать в уме все прибывающие и уходящие поезда. Он настолько хорошо изучил принцип составления расписаний, что замечает малейшие изменения. Трудность заключается в том, чтобы подсчитать людей. Точных цифр не получить, это ясно, но и приблизительные выкладки без записей невозможны. Тогда Гельмут решает прятать в рукаве клочок бумаги, а в ладони — карандашный огрызок. Он быстро царапает значки, спрятавшись за мешками с почтой, или вообще набрасывает кривые столбики цифр, заскочив в туалет в перерыве между поездами. Однако эти наспех записанные данные страдают неточностью. Гельмут мало им доверяет. Судя по цифрам, количество прибывающих в Берлин возрастает. Это можно объяснить тем, что некоторые пассажиры приезжают с других вокзалов или просто в гости, но все равно это противоречит сложившемуся у Гельмута впечатлению, что Берлин пустеет на глазах. У фрау Штиглиц и фрау Дорн мужья и сыновья ушли в армию. Квартиры без них стоят пустые, осиротевшие, потому фрау решают перебраться из города

поближе к военным заводам, где есть работа. Юрист, занимавшийся неоплаченными счетами Гладигау, тоже уехал, не оставив нового адреса.

* * *

Первая военная весна. Настал и прошел Гельмутов день рождения: папи с утра ушел на работу, а мутти поцеловала его и испекла пирог. Он больше не ходил на призывной пункт и не получал повесток. Каждый раз, когда отец разбирает утреннюю почту, Гельмута грызет совесть, что ему опять ничего не пришло. Во всех соседних домах сыновья уходят или вот-вот уйдут на фронт. Уходят и отцы, если еще не слишком стары и не заняты на важной работе. Гельмут снова начинает делать зарядку.

Запершись в чулане, он как можно выше поднимает перед собой правую руку — рука доходит почти до уровня плеча. Подойдя к стене, прижимает ладонь. Делает еще шаг, здоровой рукой раз за разом подталкивая больную выше по стене, заставляя ее подняться над плечом. Локтевые и плечевые связки растягиваются, кожа вокруг лопатки горит огнем. Все сопротивляется. Без стены, без помощи здоровой руки он не может

поднять правую руку выше плеча. Ему совсем не больно, просто кажется, будто воздух вдруг стал слишком тяжелый.

Во дворе Гельмут набирает в холщовую сумку камней и держит их на вытянутой руке. Каждый день добавляется новый камень, каждый день два, три, четыре раза переворачиваются песочные часы. Но воздух все такой же тяжелый. Все так же не может Гельмут пойти на призывной пункт. Не может посмотреть в глаза отцу.

* * *

Отец приносит вино, у него для домашних сюрприз. Продвижение по службе, большая ответственность, высокая зарплата. После обеда, набивая трубку, он обстоятельно рассказывает жене и сыну новости. Продвижение на восток, говорит он, было стремительным. Гельмут наблюдает за поднимающимся над отцовой головой дымом, вдыхает сизые клубы и слушает, как папи рассказывает о новых рабочих, прибывающих со всех уголков Европы. Перед вступлением в новую должность папи дают неделю отдыха. Гельмут отпрашивается у Гладигау, и они впервые всей семьей едут на побережье.

На пляже Гельмут упорно не снимает рубашку. Самое большее — закатывает штаны и бродит по мелкоте. Он растолстел. Стал мягким и белым. Благодаря тренировкам у него сильная правая рука, а все остальное тело слабое. Вес прибавляется, а грудь не становится крепче. Мышц нет, и жир висит вокруг подмышки досадными морщинистыми складками.

Лето стоит жаркое, и на лбу, у корней волос, на веках и щеках Гельмута блестит пот. Он вечно взмокший, пот мгновенно пропитывает рубашки. Мать стирает их каждый вечер, но запах въедается в волокна и швы, и Гельмут сгорает от стыда.

Гладигау одолжил Гельмуту одну из новых складных камер: как сказал он папи, на время, пока мальчик учится фотографировать. Самому себе, за вечерним шнапсом, Гладигау иногда признается, что Гельмут мог бы стать достойным преемником его скромной империи. При свете дня фантазии улетучиваются, но Гладигау все равно дает Гельмуту камеру и, таким образом, спасает его на отдыхе. Родители много гуляют, а он, мокрый и раскрасневшийся, выбивается из сил, поспевая за ними. Фотоаппарат — отличный предлог остановиться и передохнуть. Он

поглощен снимками и ни о чем другом не думает. Выставляет выдержку с экспонометром и без. Пейзажи, трава, ракушки. Он выбирает разные ракурсы, фотографирует спиной к солнцу и старается максимально увеличить глубину резкости.

Гельмут счастлив, отдых удался, родительские опасения о его будущности рассеяны: он может стать фотографом, как Гладигау.

* * *

По возвращении Гельмут узнает, что вокзал собираются перестраивать. Гладигау доволен его отпускными фотографиями и поручает заснять строительные работы на вокзале. Гладигау рассчитывает, что сможет продать эти фотографии как открытки.

Для Гельмута это первое серьезное задание, и, устанавливая штатив на углу напротив вокзальных ворот, он волнуется, ощущая себя в центре внимания. Мимо громыхают трамваи, и ему кажется, что все пассажиры так и смотрят на него. Пешеходы замедляют шаг, прослеживают взглядом, куда направлен его объектив. Гельмут погружается в дело, высчитывает и настраивает выдержку, хмурясь и прищуриваясь, как это

обычно делает Гладигау. В левой руке он держит экспонометр, правую, чтобы не мешала, прижимает к бедру.

Из-за волнения он неправильно настраивает выдержку, и первые его профессиональные снимки оказываются недодержанными. Невелика беда, утешает Гладигау своего любимца: недодержать лучше, чем передержать; они смогут увеличить резкость при печати; он покажет ему как. Но Гельмут переживает из-за того, что снимки получились нечеткими, и умоляет своего хозяина дать ему попробовать еще раз. Гладигау тронут его энтузиазмом и разрешает фотографировать по часу два раза в неделю, пока вокзал не будет достроен.

Строительство идет быстро, к середине лета закончили новую платформу и приступили к расширению здания вокзала. Гельмут становится смелее, фотографирует открыто, меняет камеры и пленки. Фотографирует он и на самом вокзале. Поначалу охранник ворчит и поминает того сердитого солдата, но Гельмут заверяет его, что поезда снимать не будет — только людей и строительные работы. Он начинает объяснять охраннику свой замысел, но тот быстро теряет

интерес. Гельмут не рассказывает ему всей правды. Кое-что держит при себе. На фотографиях он фиксирует, как расширяется вокзал, но вместе с тем запечатлевает массовые отъезды людей. Метод прост: он запоминает последовательность дневных поездов и отмечает, сколько кадров потрачено на каждый прибывающий или уходящий поезд. Потом считает людей на снимках. Сложные уравнения, которые он решает по ночам у себя в комнате, подтверждают его самые сокровенные подозрения. Берлин медленно пустеет.

* * *

Из соседних домов и улиц все больше людей уходят в армию. В округе много молодых парней, и все готовы умереть за Führer и Vaterland[4], на службе в ближайшую тысячу лет. Гельмут по-прежнему мнит себя в их числе, спит и видит военную форму, боевую службу, Kamaraden. Но он знает, он знает. Из-за руки, его дефекта, его изъяна, он сидит дома, в то время как остальные, все как один, уходят вперед, в Lebensraum[5].

---

[4] Примечания: 4
Vaterland — отечество *(нем.).*

[5] Примечания: 5
Lebensraum — жизненное пространство *(нем.).*

Он все больше замыкается, молчит. Гладигау доверяет этому серьезному, спокойному юноше. Он часто уходит на заказы, надолго оставляя свою маленькую студию на попечение Гельмута.

Париж пал, и Führer с триумфом возвращается в Берлин. Родители отправляются в центр, чтобы посмотреть на него, ничего не сказав Гельмуту, оставив его дома. Весь вечер он стоит на вокзале, смотрит, как приливает толпа, перетекает с поезда в трамвай, в центр города. Проходит несколько тихих, безлюдных часов, и оживление, сияющая волна наплывает вновь, растекаясь по окраинам и окрестностям Берлина. Гельмут стоит у ворот, наконец из подъехавшего трамвая выходят мутти и папи и идут к нему. Их лица озарены улыбками, они, как и все вокруг, выглядят усталыми, но радостными. Взявшись за руки, семейство идет домой: Гельмут посередине, папи по хорошую руку, мутти по плохую.

Он чувствует переполняющую их гордость, но понимает, что сам он к этой гордости не причастен, и старается не замечать взгляда их отсутствующих глаз.

* * *

На Берлин падают первые бомбы. Воздушный налет, новизна происходящего пугают и будоражат Гельмута. Когда глухой, далекий грохот на востоке затихает, небо окрашивается в ярко-оранжевый цвет. Гельмутова кровать дребезжит, но куда тише, чем от громыхания проходящих поездов. Его будят родители. На горизонте полыхает Берлин, Гельмуту из окна спальни хорошо виден пожар. Мутти и папи сидят с ним на кровати и смотрят. Мутти спрашивает, не страшно ли ему, но Гельмут мотает головой, ему приятно быть в тихой компании, холодной пяткой ощущать тепло отцовской ноги.

* * *

Гладигау недоволен, что Гельмут тратит столько пленки на съемку вокзала. Сосредоточься на строительных работах, говорит он ему, и не снимай так много людей. Тогда Гельмут начинает подворовывать запасные катушки и берет с собой не одну, а две камеры. На улице холодает, Гельмут снова носит старое пальто. В задней комнате, перед зеркалом, он проверяет, будет ли

видна под пальто вторая камера, если поместить ее с правого бока. Кривая рука скрывает слегка выпирающий объектив. Чтобы рука не болталась, ему приходится напрягать плечо сильнее обыкновенного. Но, упражняясь в задней комнате и в переулке по дороге домой, он научился правильно держать руку и нормально ходить.

Строительство заканчивается в самом конце зимы, холодным серым днем. Немногочисленные магазины, и ателье Гладигау в том числе, украшены по случаю грядущего грандиозного открытия. С двух пустых магазинов отрывают доски, заново вставляют стекла и оформляют витрины. Вместе с другими подмастерьями Гельмут посвящает целый день тому, чтобы придать фальшивым витринам достойный вид. Все те месяцы, что прошли с момента исчезновения их владельцев, магазинами никто не занимался. Гельмуту не по душе темные и сырые помещения, надписи на стенах, скрежет битого стекла под ногами. Но он терпит, потому что Гладигау поручил ему первое ответственное дело: заснять открытие.

Свет не столь эффектный, как в тот день, когда они фотографировали флаги на центральной улице. Но для этого времени года день выдал-

ся солнечный, и Гельмут уверенно выбирает ракурсы и выдержку. Приезжают сановники, произносят бодрые речи, а Гельмут отыскивает в середине толпы отличное место и запечатлевает открытие новых вокзальных ворот.

Получившиеся фотографии действительно хороши; и Гельмут, и Гладигау ими довольны. Фасад вокзала, в действительности квадратный и примитивный, на снимках Гельмута кажется даже изящным, впитавшим энергию ликующей, расцвеченной флагами толпы. Начальник вокзала заказывает из них открытки, которые будут продаваться в вокзальном киоске. Гладигау получает процент с продаж, Гельмуту достается скромная прибавка к зарплате и перспектива новых заданий. На его день рождения Гладигау дарит ему складную камеру, а родители — пленку и реактивы, купленные без наценки у Гладигау. Гельмуту отводится собственная полка в темной комнате, в шкафу с фотопринадлежностями. В привокзальном кафе все четверо заказывают мороженое и едят за славное будущее Гельмута дробленые орешки и взбитые сливки, дорожающие каждую неделю.

Общество за столом утомляет непривычного

к разговорам Гельмута, и, заполучив свою порцию, он вообще ограничивается односложными репликами. Поведение Гельмута не удивляет Гладигау, они с учеником часто работают в тишине. Но родители смущены видом и дурными, как им кажется, манерами сына; мать — его неумением вести себя за столом, отец — жадностью до еды и отвисшими щеками.

Гладигау хочет сфотографировать праздничное застолье. Устанавливает камеру, дает указания официанту и располагается по правую руку от Гельмута; мать с отцом сидят по левую. Вешая портрет на свободное место на стене, мутти вдруг понимает, что это первая семейная фотография, на которой Гельмут оказался не между родителями. Гладигау выглядит веселым, папи — немного уставшим и серьезным, а самой себе она кажется робкой. Чуточку смущенной, что ли. Гельмут так и держит ложку в руке, и салфетку из-за воротника не убрал. Трудно сказать наверняка, мешают мягкие круглые щеки, но что-то в лице сына говорит мутти, что он еще не проглотил последний кусочек своего мороженого.

* * *

С начала войны не прошло и двух лет, но она прочно вошла в повседневную жизнь. Люди приучились экономно питаться; расточительство порицается; любые запасы должны идти на общее благо. На семейных портретах, которые вставляет в рамки и упаковывает Гельмут, женщины часто одеты в черное. На свадебных фотографиях жених почти всегда в форме. Приносят новорожденных, чтобы послать снимок отцу на фронт. Приходят солдаты, чтобы оставить карточку на память матери, сестре, возлюбленной.

* * *

Гельмут много ходит по Берлину, исполняя поручения Гладигау. Он по-прежнему ежедневно бывает на вокзале, считает там поезда и следит за расписанием, но еще в свободное время он берет камеру и выбирается в город.

Поздней весной 1941 года дни стоят холодные и чаще всего хмурые. Не лучшая погода для фотографа, но Гельмуту не терпится достичь совершенства. На отложенные из зарплаты деньги

он каждую неделю покупает катушку пленки. У него большой обеденный перерыв, а иногда, если все сделано, Гладигау и вовсе отпускает его на полдня. По воскресеньям Гельмут под руководством Гладигау печатает в темной комнате свои заветные фотографии. Скромные опыты, ряды за рядами, на остатках бумаги, обрывках да обрезках.

Почти на всех снимках изображены люди, много людей. Гельмута притягивает толпа, оживленные улицы, ему нравится схватывать толчею, движение. Щурясь и кивая головой, Гладигау с восхищением разглядывает снимки Гельмута, развешанные на веревках в темной комнате для просушки. Вот он, Берлин, говорит Гладигау. Вот она, жизнь. Фотографии поражают его чувством движения. Откашлявшись, он говорит Гельмуту, что у того глаз настоящего фотографа.

Эта ревнивая похвала сказана от сердца, но через силу. Гладигау вдруг становится душно в пропахшей реактивами темноте. Его помощник, однако, никак не реагирует на лестные слова: молча стоит рядом, хмурится и обводит фотографии критическим взглядом неярких глаз.

Позже, когда Гладигау ушел и с уборкой было

покончено, Гельмут раскладывает просохшие отпечатки на большом столе и еще раз их просматривает. Рядом лежит новый блокнот, начатый шесть недель назад и уже почти полностью исписанный его неразборчивым почерком.

Теперь Гельмут воплощает свой замысел не на вокзале, а в городе: он не просто так фотографирует, а систематизирует, фиксирует, подсчитывает. Безлюдные улицы заносятся в одну колонку; улицы, на которых встретилось от одного до десяти человек, — в другую; от одиннадцати до двадцати — в третью; а если на улице оказывается более двадцати человек, то такую улицу Гельмут фотографирует, а потом считает людей по снимку.

С каждой неделей колонка пустых улиц удлиняется, а колонка улиц оживленных делается короче. С каждой новой вылазкой в городе все сложнее найти и заснять скопления людей, зато теперь на оживленную улицу можно расходовать больше времени и пленки. Фотографии уже не просто документальные свидетельства: композиция, деталь, содержание снимка приобретают особую важность. Гельмут целиком переключается с блокнотов, кажущихся ему теперь зловещими и странными, на фотографии.

Вот он, Берлин, говорит Гельмут, кладя руку на блокнот. Но глаза его прикованы к снимкам. На снимках очереди у магазинов и вездесущие люди в военной форме — идет война. Но сегодня он взглянул на фотографии глазами Гладигау. Обыкновенный большой город. Оживленный и многолюдный. Он с удовольствием смотрит на снимки, как смотрел бы Гладигау: лица, руки, ноги, много голов и много шляп. Блокноты врут, думает он и радуется этой мысли. Он снова чувствует себя в родном городе в безопасности. Это его Берлин, его дом.

* * *

К середине лета Гельмут обзаводится солидным портфолио. Однажды утром, придя на работу, он обнаруживает, что его виды Берлина разложены на широком столе у дальней стены, а над ними стоит улыбающийся Гладигау. Хозяин тщательно разобрал бумажные обрывки, отобрал лучшие снимки, а остальные скомпоновал в хронологическом порядке. Обняв Гельмута за плечи, он ведет его вдоль стола, наглядным образом демонстрируя неуклонно растущее мастерство своего протеже. С каждой неделей все лучше и лучше. В тот день они так и не открывают ателье, прого-

ворив все утро напролет. И Гладигау, и Гельмута переполняет гордость. Особенно приятно Гельмуту становится тогда, когда Гладигау, выбрав лучшую фотографию, просит сделать с нее новый отпечаток специально для витрины.

* * *

Гельмут, воодушевленный похвалой, думает теперь о глубине резкости своих кадров, переднем плане и заднем плане; меньше проверяет фокусировку; полагается больше не на приборы, а на глазомер. Он экспериментирует, пытается, увеличивая выдержку, передать повседневную суету, размытые, вечно спешащие фигуры. В следующие несколько недель Гельмут фотографирует с самых разных ракурсов и точек. К сентябрю остались позади пустяки вроде крыш домов и поваленных фонарных столбов, перерос он и съемку сквозь стекла движущихся трамваев.

Упоительное осеннее утро, Гладигау фотографирует свадьбу. Уходя, вкладывает в руку Гельмуту катушку. Говорит: у тебя есть час-другой. Отсними ее целиком. Стыдно потерять такой день.

Гельмута, как магнитом, тянет к людям: на

рынки, школьные площадки, оживленные торговые улицы. Как привязанный, следует Гельмут за толпой. Сделает один-два кадра и идет дальше; ателье забыто, чудесный свет увлекает его вперед и вперед. Он долго блуждает по глухим, почти безлюдным улицам, потом вдруг слышит чьи-то голоса и идет на звук. Ныряет в переулки между домами и оказывается на пустыре, откуда и доносятся голоса.

Грузовики, вокруг них люди в форме; они кричат, толкаются. Сто, может, сто пятьдесят человек: кто мечется, кто куда-то идет, кто стоит неподвижно. Гельмут прячется за невысокой стеной и начинает фотографировать. Объектив ловит валяющиеся в беспорядке вещи: одежду, кастрюли, коробки, мешки, раскиданные прямо на голой земле. Рядом с джипом какой-то офицер выкрикивает приказы, и от его пронзительного резкого голоса Гельмут за стеной пригибается еще ниже. Вытирает потные ладони о брюки, пальцы не слушаются; ставит камеру на кирпичи и быстро оглядывается.

Он здесь не единственный зритель. На той стороне пустыря перед подъездом стоят люди. Они гораздо ближе его к происходящему, но как

пробраться сквозь толпу? Приказы раздаются громче, заводится мотор. Гельмут тянется за камерой, ему страшно, но больше всего он боится упустить кадры.

Там делят на группы цыган и заталкивают в грузовики. Блестя золотыми зубами, цыгане переругиваются с людьми в форме. Плачущие дети жмутся к матерям и прячутся за их широкие яркие юбки. Девушки кусают за руки солдат, выдергивающих у них из ушей и волос драгоценности. Мужчины отвечают на удар ударом, но снова получают пинки. Женщины отталкивают хватающие их руки и убегают, но недалеко. Вскоре, уже без сознания, они оказываются в грузовике вместе с остальной своей родней.

Гельмут напуган и взвинчен. Руки потеют и дрожат. Он щелкает, взводит рычаг и снова фотографирует — так быстро, как только позволяет камера, и все-таки медленно. Кляня собственные пальцы, немощные и влажные, он меняет пленку, судорожно наводит на резкость.

Видоискатель ловит глаза какого-то цыгана, тот кричит, тычет в его сторону пальцем. Взгляды обращаются к Гельмуту. Он видит испуганные сердитые лица в платках, шляпах, фуражках, об-

ращенные к нему взгляды. Его сердце сжимается. Вспомнив того солдата на вокзале, он закрывает лицо руками. Слышит, как ему кричат: «Стой, вставай!» Но может только развернуться и пуститься наутек.

Камера бьет в грудь, звякает объективом о ребра, ремнем тянет шею, а Гельмут, петляя, несется подальше от сердитых глаз и голосов. Дорога вся разбита. Угодив ногой в канаву, Гельмут оступается и, выставив правое плечо вперед, летит на каменную землю — одна рука молотит по воздуху, другая висит немощно, мертво, грузно. И — камера в вытянутой руке, чтоб не разбить.

Падение стремительно, как порез бритвой: тот же всполох испуга, сменяющийся болью. Он вскакивает на ноги и снова бежит, не смея оглянуться. Обратно по почти безлюдным переулкам, по глухим улочкам, через рыночную площадь. Быстрее в ателье Гладигау, остановиться хоть на секунду, подождать трамвая — страшно.

Под ногами мелькают булыжники, мимо проносятся стены, окна. От страха его рвет, все тело дрожит и сотрясается. Он тужится, кашляет, хватает ртом воздух. Никто не кричит, не гонится, но Гельмуту чудятся тычущие в него пальцы, визжа-

щие, толкающиеся люди, и ужас снова гонит его вперед. Быстрей к родному дому, вокзал позади, теперь переулок, рука мотается из стороны в сторону, при каждом тяжелом шаге камера под пальто колотит в жирный мягкий живот.

Вот и ателье, стучать не нужно, не нужно отзываться. Только камеры, рамки, темная комната, касса. Безопасно, привычно и покойно. Пот, подсыхая, холодит ноги и спину, а на пальто и подбородке хлопьями застывает рвота. До прихода Гладигау Гельмут тихо, не шевелясь, сидит за прилавком. Подошедший хозяин в полутьме ворчит, что у Гельмута с самого обеда висит табличка «Закрыто».

Молча они работают до глубокого вечера; разряжают и чистят камеры, проявляют и печатают пленки. Плечо у Гельмута болит, но руки уже не трясутся. Он проявил свои снимки, но не хочет печатать их при Гладигау. Выпив с ним на пару стакан шнапса, хозяин уходит, а Гельмут остается в ателье, до ночи печатая и перепечатывая снимки.

* * *

Поначалу он может только плакать. Это слезы гнева: ужас сегодняшнего дня сменяется злостью. Злостью на фотографии, на себя, на то, что не удалось заснять увиденное.

Потом он берет себя в руки. Зажигает свет, раскладывает фотографии на полу в темной комнате. Снова наклоняется к ним, представляя, что Гладигау, положив руку ему на плечо, тоже смотрит и комментирует снимки.

Гельмут помнит увиденное, но, глядя на фотографии глазами Гладигау, понимает, что изображение нечеткое. Если судить по этим снимкам, то получается просто, что на каком-то пустыре толкутся какие-то люди. Фотографии не передают тот хаос и ту жестокость, из-за которых тряслись и потели руки, из-за которых он отщелкал почти две кассеты.

Гельмут утешает себя: он не привык фотографировать в таком бешеном темпе. Оживленные улицы, открытие вокзала — все это ему удается потому, что он не спешит, тщательно выбирает место съемки и много раз фотографирует одно и

то же. А еще очевидно, что для подобных снимков черно-белая пленка не подходит. На фотографиях разноцветные юбки цыганок выглядят бурыми тряпками, не летят, не развеваются, как тогда днем. Темная эсэсовская форма сливается с угольно-черными зданиями, и ее владельцев почти не видно. Гельмут знает: было слишком далеко, тут уже не до деталей. Он пробует увеличить изображение, но от большого растра сердитые складки на лице того офицера возле джипа сглаживаются, и становится непонятно, что он на самом деле кричит. Гельмут вспоминает, как плакала толпа, как окликала людей в грузовиках, а те тоже плакали и кричали в ответ. А на фотографии люди неподвижны, безмолвны и спокойны до странности, и тянущаяся из окна грузовика рука кажется просто пятнышком на пленке, он и руку-то в нем узнал, лишь рассмотрев негатив под увеличительным стеклом. По женщине — той, которую ударили и она потеряла сознание, — не скажешь, что она убегает, пытается скрыться, к тому же в кадр не попал кинувшийся за ней солдат — слишком Гельмут спешил сделать снимок. Когда ее волокли к машинам, он, наверное, перезаряжал пленку, а вот снимок, где она лежит в грузовике, вышел настолько плохо, что ничего

не разобрать.

Он ищет и ищет, но кадра с цыганом, который смотрит прямо в объектив, тычет пальцем и кричит, — так напугавшего его кадра — среди фотографий нет. Нет и среди неразрезанных негативов. Ничего не понимая и опять разозлившись, он швыряет мотки пленки на пол, потом поднимает и просматривает в третий, четвертый раз. Снова берет себя в руки. Пленка закончилась, а он и не знал. Перепугался. Побежал, даже снимка не сделал. Трус.

Гельмут запихивает фотографии и негативы в бумажный пакет; плевать, что они сомнутся, поцарапаются, лишь бы скорее домой. Он знает, что снимки нужно показать Гладигау, отчитаться за день, но ему стыдно. Некоторое время он стоит с пакетом в руках и наконец решается. Ошибка при проявке. Он солжет: скажет, что пленка покрылась вуалью. Расплатится за нее из жалованья, а вместо этих фотографий сделает другие, в другой раз.

В темном дворе возле дома Гельмут выбрасывает пакет и его ненавистное содержимое в мусорный бак.

* * *

Армия одерживает победы. Одну за другой: Польша уже позади, курс на юг и дальше на восток. Даешь украинский чернозем, каспийскую нефть, степные просторы!

У Гладигау появляется радиоприемник, и теперь они с Гельмутом проявляют, печатают, промывают пленки под бравурные звуки. В красном свете темной комнаты, не отрывая глаз от работы, Гельмут, как и его хозяин, улыбается, слыша новости, громкие голоса, высокопарные фразы и барабанную дробь. Но в одиночестве никогда не включает радио.

Всю весну и лето Гельмут снимает. Он экспериментирует, исправляет, доводит снимки до совершенства. Радует хозяина, радуется его похвалам, да и сам видит, как на глазах улучшаются фотографии.

Дома он встает из-за стола, едва пустеет тарелка. Родители иногда уходят — в гости к соседям или на собрания, но чаще всего проводят вечера дома: мутти вяжет, папи курит и вслух читает газету или издаваемый партией журнал. Когда

вечереет, Гельмут забирается в кровать и, пока не уснет, сквозь незашторенное окно смотрит, как на город опускается ночь. За закрытой дверью Гельмуту не слышны слова, только резкие, упрямые нотки в отцовском голосе. Он отмеряет время по проходящим поездам, знакомый перестук колес навевает дремоту, и когда мутти заносит еще одно одеяло, он обычно спит. Утром Гельмут встает рано, часто до рассвета. У кухонного окна, спиной к комнате, глотает завтрак. Только бы не встречаться глазами с отцом, не слышать родительских разговоров, не вскидывать в ответном салюте руку, здороваясь с соседями на лестнице.

С Гладигау он чувствует себя в безопасности. Даже когда родители вдруг переходят на шепот, а соседи отвечают на его молчание сердитыми взглядами. Даже когда осень становится совсем холодной, а слово «Сталинград» произносят уже не с гордостью, а со сдавленным, недоуменным страхом. Даже в те долгие, странные месяцы Гельмут радуется уединению с Гладигау и голосам из радиоприемника. Уверенность в победе, уютный, привычный уклад.

Год сменяется другим, и в глухую зимнюю пору все меняет капитуляция.

* * *

Настает весна, и Гельмут, видя, как люди открыто уезжают из города, не удивляется — он с самого начала это предчувствовал. Его поражают масштабы: то не тихая струйка льется, а хлещет поток; на вокзале толпы, и с каждым днем отбывает все больше знакомых. За обедом мутти передает приветы от уехавших друзей, и папи коротко кивает, говорит: правильно сделали, женщины и дети должны быть в безопасном месте, а те, кто остался, пусть мужаются. Из окрестных домов постепенно уезжают все ребятишки, и летом во дворе непривычно тихо. Не дожидаясь, когда и впрямь начнутся бомбежки, едут молодые семьи, и однажды сумрачным осенним утром Гладигау вычитывает в газете, что город покинуло свыше миллиона жителей.

Люди по-разному относятся к отъезду. Фотографируя, Гельмут прислушивается к разговорам на перроне, на пустеющих торговых улицах. Некоторые яростно клянутся в преданности Берлину, и Гельмут с удовольствием внимает их красноречию. Другие боятся за свою жизнь, за будущее детей: эти говорят скупо и тихо, высматривают

собеседников, шепотом сулят ужасы и беды. *Уезжайте,* слышит Гельмут урывками. *Скорее уезжайте из столицы, из Рура тоже, подальше от больших городов.* Когда он проходит мимо, они на мгновение умолкают. *Вся Германия — мишень. И для англичан с американцами тоже.* Гельмут выуживает из их невнятного бормотка названия городов, которые бомбят или вот-вот начнут бомбить. *Ахен, Крефельд, Дуйсбург, Оберхаузен. Рёгенсбург, Дортмунд, Гельзенкирхен, Мюльхайм. Ессен, Вуппертальъ, Йена, Мюнстер. Кельн, Киль, Росток, Кассель.* Прижимая побелевший палец к губам, люди шепчут: в Гамбурге смерть, пожар и бомбежки. Закрывая глаза, выдыхают свои страхи. *Все пропало,* доносится до Гельмута. *Дальше будет еще хуже.* Он не верит им. *Лейпциг или Дрезден.* Они заблуждаются. *Бомбардировщики летят на Берлин.*

* * *

От герра Фридриха, постоянного клиента, Гладигау возвращается поздно. Заходит в темную комнату, где Гельмут смешивает для раствора реактивы, и опускается на высокий табурет. Какое-то время наблюдает за работой своего помощника; Гельмут от его взгляда конфузится и

робеет, проливает раствор на стол, и приходится отмерять все заново. Ему становится легче, когда Гладигау наконец нарушает молчание.

Сыновья герра Фридриха погибли в России в начале этого года. Гладигау знал обоих, в объектив своей камеры наблюдал, как они растут. Теперь из Берлина вместе с внуками уехала приемная дочь Фридриха. Пока они в Мекленбурге, но скоро, наверное, будут в Шварцвальде. В любом случае Фридрих поедет к ним. Гладигау рассказывает все это и как бы между делом говорит, что к зиме надо закрывать ателье. Дела идут плохо. У тех клиентов, что еще остались в Берлине, сейчас другие заботы. Пока Гладигау рассуждает вслух, Гельмут вытирает столы, чтобы приступить к печати. Конечно, как только дела пойдут в гору, Гельмут сможет вернуться на прежнее место, да и разве отец не собирается на время отправить их с матерью куда-нибудь в более безопасное место?

Гельмут отрывается от работы и смотрит прямо в лицо хозяину. От этого взгляда в упор Гладигау теряет дар речи, а оскорбленный, сгорающий от стыда Гельмут не отводит глаз, не в силах поверить, что хозяин счел его трусом. Он ведь не ребенок, не женщина. Он не просит защиты

и не нуждается в ней. Гельмут тоже оскорбляет Гладигау — спрашивает, верен ли тот Führer'у; и, не говоря больше ни слова, при свете красной лампы они печатают отснятое за день и вдыхают запах серы.

* * *

Когда начинается второй воздушный налет, Гельмут спит.

В тот вечер родители куда-то уходят. Мутти забегает поцеловать его на прощание, но куда они идут, они не говорят, а Гельмут не спрашивает. В полуоткрытую дверь спальни виден отец, которому не терпится уйти — одной ногой он уже на лестнице. Едва мать выходит из комнаты, Гельмут, невзирая на ранний час, гасит свет.

Пару часов он дремлет, потом просыпается и лежит, пытаясь расслышать громыхание товарняков и вновь погрузиться в сон. Но взамен улавливает слабый, зарождающийся звук, ему незнакомый. Услышав этот звук — далекий, монотонный, — уже нельзя от него избавиться. Гадая, что это за низкий гул, Гельмут лежит не шевелясь, а в небе над Берлином сотни «Ланкастеров» несут свой смертоносный груз.

Завыла сирена, и через мгновение дом оживает. Матери сгребают в охапку детей, старики натягивают теплые носки. На площадке полно людей. Гельмуту слышно, как они бегут в подвал: резкие голоса, быстрый топот ног. Он знает, что нужно пойти с ними, но ему претят их страх и суета, и он остается в постели. Он вспоминает, как описывали зажигательные бомбы: будто с неба падают рождественские елки, освещая цель для бомбардировщиков. Но в окне пока ничего не видно: сверху — черное небо, снизу — темный Берлин. В дверь стучит старший по дому, но Гельмут слышит, как гремят на лестнице сапоги Flackhelfer'а[6], и не отзывается. Мальчишке всего четырнадцать, а он вовсю помогает зенитчикам на крышах. Теперь колотят в дверь и кричат уже двое, но Гельмут не собирается терпеть приказы четырнадцатилетнего юнца. Он подтыкает в ногах одеяло и, только убедившись, что старший по дому и мальчишка ушли, надевает ботинки и пальто и выбирается на лестницу.

Теперь сквозь сирену проступает гул. Нарастает, переходит в рев. Недолго постояв, Гельмут осторожно, сжимая в кармане камеру, начинает

---

[6] Примечания: 6
Flackhelfer — помощник *(нем.)*.

спускаться по пустой лестнице.

Первые разрывы застают его на третьем этаже. Бомбы падают не очень близко, но взрывной волной хлещет по ногам. Дом содрогается, и Гельмут теряет равновесие. С потолка сыплется мусор и куски штукатурки, и Гельмут мысленно представляет, как во всех квартирах распахиваются на кухнях буфеты, вываливая содержимое на пол, и тысячи горшков и кастрюль лавиной катятся на него по лестнице.

Ужас, боль. Все вокруг теперь мчится так быстро, что Гельмут не поспевает. Он бежит, но не в подвал. Ноги сами выносят его на улицу. В соседних районах занимаются первые пожары, и Гельмут бежит прочь от жары и света. Но не успевает. Не успевает, потому что бомбардировщики совсем рядом. Рев. Прямо над головой. Огромные, они планируют над домами, пугающе низко летят над стриженой непокрытой Гельмутовой головой.

Он бежит от них, петляя по черным, как колодцы, улицам, из груди рвется крик, он ощущает его, но слышит лишь рев огня, бомб и самолетов.

Откуда-то из глубины земли накатывают

взрывные волны, хлещут по бедрам, по позвоночнику. С неба падает черепица, кирпичи, стекла, и Гельмут несется наугад; в ушах, застилая взгляд, сухо трещат зенитки. Он ослеп, но не выдохся. Горло дерет, лицо мокрое, он бежит в темноте, а вокруг дрожат улицы, шатаются здания, и шаги ухают, как бомбы.

Навстречу кто-то бежит, надвигается черной тенью. Ухватив Гельмута за пальто, мужчина сыплет ругательствами, дышит в ухо. Оттаскивает его в сторону, толкает наземь. Бомба. Две руки. Держат крепко. Тащат визжащего, извивающегося Гельмута под землю. Темноту снаружи сменяет такая же оглушительная темнота внутри.

Вместе с незнакомыми людьми он сидит в подвале до конца налета. Все молчат и не двигаются, а он лежит на полу и плачет. Его трясет от перевозбуждения, неудержимо бьет судорогой, от людских взглядов страшно и стыдно.

Когда гул замирает, становится холодно. Мужчина, который приволок Гельмута сюда, говорит, что это хорошо. По крайней мере, до этой части Берлина пожар не дошел. Снова молчание. Возня в темноте. Глаза мокрые.

Гельмут уходит из подвала не попрощавшись. Далеко его занесло, до дома километра четыре-пять. Где он, Гельмут не знает, да и вокруг все изменилось. Кирпичи там, где их не было, вместо стен — провалы. Гельмут ощупью пробирается по первой улице, сворачивает за угол, идет дальше, прокладывая путь между кресел, стекол, оконных рам, пустых разворошенных кроватей. Прыгает с камня на камень, стремясь туда, где должен быть дом. Найти обратную дорогу нелегко. На безлюдных улицах стоит мертвая тишина. Глаза привыкли к темноте, но от тревожного безмолвия кружится голова и тошнота подступает к горлу. Шаги Гельмута громким эхом отражаются от стен домов, и от воспоминаний о минувшей ночи, проведенной в подвале, о тех людях, холодеет внутри.

Начинают показываться люди — карликовые, серые тени на черных стенах домов. Они прибывают и прибывают, запруживая улицы. Люди бегут прочь от разгромленных зданий, потерянно и слепо тычутся в темноте, среди непонятных каменных нагромождений. Небо горит отблесками пожаров, и чем ближе подходит Гельмут к дому, тем на улицах светлее. Звоня в колокольчики, пожарные машины пробираются сквозь толпы

растерянных людей в разорванной и обгоревшей одежде; многие из них ходят по развалинам босиком. Куда бы Гельмут ни свернул, всюду слышен детский плач. Теперь в пальто и пижаме Гельмут истекает потом; щурясь от горячего воздуха и копоти, он думает: в Берлине опять стало много людей. Детей много.

Дом на месте, но охвачен огнем. Час или около того Гельмут наблюдает за работой пожарных и ждет. Ни мутти, ни папи. Покалывают щеки, мочки ушей, горло от жары воспалилось и зудит. Из знакомых — никого.

Он ждет уже бог знает сколько времени, а родителей все нет. Не решаясь подойти и спросить, он стоит как вкопанный, смотрит на бывший свой дом и только отходит в сторону, когда его толкают. Во двор — посмотреть, не горит ли его спальня, — Гельмута не пускают, и тогда он идет в ателье к Гладигау.

Во всех магазинах разбиты витрины, а из зеленной на углу с полными руками бегут люди, и карманы у них оттопыриваются. У Гладигау все вверх дном, электричества нет, поэтому первым делом Гельмут отыскивает свечи и как можно лучше загораживает витрину деревяшками и

кусками картона. Судя по рассыпанному на полу, пропало немного. Из витрины исчезла стационарная камера, но она давно уже не работала, и еще пропали почти все рамки. Ворам не удалось взломать массивную дверь в темную комнату, хоть и били по ней хорошим креслом Гладигау. Кресло разлетелось в щепки, а на двери и вмятины не осталось. Нашарив в кармане ключи и открыв темную комнату, Гельмут из старых журналов и белого лабораторного халата Гладигау сооружает себе постель. Задувает свечи и укладывается на американок из своих подростковых фантазий, без снов засыпая на их смятых бедрах и маленьких грудях. В темной комнате черно и тихо, как в колодце, и назавтра Гельмут просыпается только к обеду.

* * *

К удивлению Гельмута, Гладигау не приходит открывать ателье, как обычно. От одежды воняет дымом, лицо воспалилось. Напившись из крана в темной комнате, Гельмут в плотно застегнутом пальто поверх пижамы выходит на улицу. А там люди несут узлы, толкают полные тележки с пожитками. Здание вокзала повреждено, но пути не задеты. Люди стягиваются на платфор-

мы, ждут поезда, чтобы ехать из города. Гельмут присматривается, прислушивается, но знакомых не видно.

Мокрые дымящиеся остовы домов еще не остыли, дышат на него теплом, из уцелевших стен сочится дым, а его опустевший дом истекает черной влагой. Гельмут плачет. Кругом тоже плачут, но ему все равно стыдно. Слезы бегут из глаз, обжигая воспаленную кожу, он закрывает лицо руками, смотрит сквозь перепачканные пальцы. Мутти нет, папи нет, Гельмут совсем один.

Они не должны застать его плачущим, ведь он храбрый. Гельмут пытается остановить слезы, но они текут, катятся по щекам, горчат на языке. Гельмут ждет, высматривает родителей, бродит вокруг и снова возвращается к ателье, вокзалу, к пустому месту, где был его дом. Среди плывущих мимо лиц ищет мамино лицо; увидев отца, быстро смахивает малодушные слезы. Вытирает глаза рукавом, выпрямляет спину, оборачивается, но лицо исчезло. Сменилось другим, следующим. Седые бороды, усталые глаза, впавшие щеки. Но это все не папи.

* * *

Ближе к вечеру Гельмут снова приходит к дому Гладигау. Здесь здания не пострадали. Респектабельные дома из светлого камня, куда выше домов в его родном районе, выстроены четкими, прямыми рядами. Огромная гладь оконных стекол и белоснежные занавески ошеломляют Гельмута. Там, где он живет, все разбито и разрушено, пропитано дымом, копотью, пылью. А на лестнице у Гладигау сухо и прохладно, поблескивают старые деревянные перила, из слухового окошка льется мягкий свет. Переведя дух, Гельмут стучится в дверь. Не уходит до самого вечера, на тот случай, если Гладигау вернется, но никто не входит и не выходит из дома, не слышно кухонных запахов, ни радио, ни шагов в прихожей, ни детского плача.

В полночь Гельмут идет обратно, одинаково страшась тишины и нового налета, и снова ночует один на полу в темной комнате. Тьма кругом колодезная: что закрыть глаза, что открыть — все едино. В полусне-полуяви Гельмут пробирается по развалинам домов и видит родителей, протягивающих к нему руки. Он рвется навстречу,

делает шаг вперед — стены рушатся, родителей снова нет.

Снится Гельмуту: щелкнул затвор и посыпались линзы. Разбитое стекло, осколки портрета, снимки, схваченные краешком глаза. Отцовы пальцы, мамины глаза и руки; Гельмут тянется к ним, негативы в руках мнутся, покрывая ладони блестящей черной пылью.

Гельмут в изнеможении мечется на полу и вдруг натыкается на дверь. Снова наступило утро; при свете Гельмут успокаивается и засыпает под прилавком брошенного ателье.

* * *

Дни идут безмолвные, холодные. На развороченных трамвайных путях открыт пункт раздачи питания и теплой одежды — новых сапог, пальто. Отстирав под краном в темной комнате копоть и пот с пижамы, Гельмут наводит в ателье порядок и, чтобы уберечься от воров, запирает все ценное в темной комнате. Гроссбухи, кассовый аппарат, книги заказов, уцелевшие рамки. Гельмут закрывает ателье, повесив на двери кусок картона с выведенными углем извинениями. Уголь мокнет и размазывается под осенним дождем.

Той зимой он не фотографирует. Камера, пленки, реактивы, бумага надежно спрятаны в темной комнате. Гельмута согревает мысль об этом единственном оставшемся у него среди потерь достоянии. Тоскливо. Неделя за неделей проходят в ледяном одиночестве. Сирены, бомбы, пожары и голод. Видя, как из завалов вытаскивают трупы, Гельмут убегает прочь. Во сне мысли путаются, и, проснувшись, он думает, что с ним рядом снова будет мутти, привычная жизнь, Гладигау, тепло, зажженная отцова трубка. И каждое утро, закрывая лицо руками, плачет.

Сырое дыхание, влажные щеки и ладони, потоки слез.

Днем все снова обретает смысл. Гельмут проверяет, что изменилось в городе. Улицы перегорожены, не хватает многих домов. Там, где некогда жили люди, теперь кратеры и горы. Гельмут чувствует разницу между «тогда» и «теперь»: облик города меняется еженощно, и эти перемены становятся неотделимой частью каждого нового дня. Гельмут смотрит на жителей, которые чертят мелом на выстоявших стенах названия улиц и магазинов и продолжают ходить по дорогам, невзирая на препятствия. Медленно

пробираются через завалы, подворачивая ноги, поскальзываясь, проваливаясь по колено в ямы. И все-таки идут.

Проложены новые дорожки, прежнее осталось позади. После разгрома булочной хлеб продают прямо с машины.

* * *

Не желая уходить далеко от родных улиц, Гельмут подыскивает для ночлега подвал. Место, похоже, безопасное: в глубине маленького дворика, среди пустующих, разрушенных домов. Возле лестницы, ведущей в подвал, Гельмут устанавливает на кирпичах печку, подобранную на развалинах. Снимает с темной комнаты массивный засов и надежно запирает свое жилище.

По ночам, когда падают бомбы, Гельмут лежит без сна и слушает. Если взрывы раздаются близко, он кричит прямо в этот грохот — как в ту ночь, когда он убегал от самолетов. Крик обжигает горло. Ничего, кроме взрывов, не слышно, воздух нашпигован бомбардировщиками и зенитками. От страха Гельмута бросает в жар, а потом — от пота — в холод; на рассвете он разжигает печку и в тихом утреннем свете засыпает. А если бомбы

взрываются далеко, удары и рев почти убаюкивают Гельмута, подобно товарнякам, под которые он засыпал подростком.

Лучше этот далекий шум, чем тишина. В безмолвные ночи на Гельмута наваливаются сны, те же, что мучили его в темной комнате, только теперь усугубленные голодом и стужей. Разбитые окна затянуты сверкающей коркой льда, и в ней отражаются мутти и отец, положивший руку ей на плечо. Лед тает, видение от теплого дыхания проступает четче — и снова затуманивается. Рассеивается, смазывается от прикосновения пальцев. Исчезает.

Дни без дела и фотографии кажутся пустыми и долгими, а от голода часы тянутся еще дольше. Гельмут пробует спать, но кошмары гонят его из подвала на улицу, а закоченевшие ноги приносят на вокзал. Там теперь новый охранник, и Гельмут постепенно заводит с ним знакомство, беседует о поездах, как когда-то, мальчишкой, беседовал с прежним охранником. Этому постовому Гельмут не по душе. Настырный, рука скрюченная, пальто грязное. Но когда Гельмут показывает на развалины своего дома, охранник проникается жалостью, вдумчивее слушает и пускает Гельму-

та на платформу посмотреть на поезда. Иногда в студеные дни он выносит этому странному парню, торчащему возле путей, кружку жидкого супа. Расспрашивает о родных и понимающе кивает, когда Гельмут повествует о работящем папи, преданной мутти и их послушном единственном сыне. Излагая свою историю, Гельмут смотрит на приходящие и отбывающие поезда, голос его течет ровно, он пьет суп, но избегает смотреть на охранника. А тот, догадываясь, что родители Гельмута не эвакуировались, а погибли, предлагает ему постоянную работу — подметать перрон. Платить ему не платят, зато кормят в вокзальной столовой и выдают пальто с форменной бляхой на нагрудном кармане.

С восточного фронта начинают возвращаться демобилизованные: оборванные, покрытые шрамами, безрукие-безногие калеки. Некоторые побираются на перроне: сидят на дырявых одеялах, невозмутимо выставив напоказ свои увечья. Это и стыдно, и запрещено; Гельмут обязательно сообщает о них охране. Он негодует на них за то, что они позорят погоны. Ватное форменное пальто отлично скрывает неровные плечи, и Гельмут наловчился подметать одной левой рукой, закладывая правую в большой нагрудный карман.

Он работает метлой сосредоточенно, мелкими сильными взмахами, и охранник не нарадуется на свой перрон. Гельмут рад похвалам и трудится на совесть. Вечером, когда вокзал запирают, он неохотно отдает охраннику свое пальто.

* * *

В феврале англичане перестают бомбить Берлин, и за дело берутся американцы. Пара налетов — и на день-два движение поездов замирает, пока не починят рельсы. Но и тогда Гельмут ходит на вокзал и, надев пальто, сидит на перроне. После наполненных криком, студеных, голодных ночей он измучен и растерян. В тишине вокзала, под остатками стеклянной крыши, он то и дело проваливается в сон, ему снятся поезда, набитые оцепеневшими людьми, вереницами уезжающие из Берлина на восток. Эти сны не такие страшные, как ночные кошмары, но и они выбивают Гельмута из колеи; он встает и, пока держат голодные ноги, шагает по пустым платформам.

* * *

Летом сорок четвертого, пока союзники заняты освобождением Франции, бомбежки ненадол-

го прекращаются. В период затишья Гельмут больше работает на вокзале, убирает не только перрон, но и подсобные помещения. Охранник дает ему с собой картошки или овсяной крупы, и, позаимствовав из вокзальной столовой кастрюлю и миску, Гельмут учится готовить. Ночи становятся короче и теплее, кошмары бледнеют, не снятся иногда по целым неделям. Теперь, когда он не так изможден и сил прибавилось, он снова берется за камеру.

На улице теплынь, летом по утрам и вечерам бывает такой свет, что Гельмуту с его глазом фотографа просто не устоять. Косые лучи солнца золотят стены домов и груды мусора, отбрасывают на развалины, выщербленные площади и мостовые длинные причудливые тени. Гельмут встает рано, до рассвета уходит из подвала, каждый день проделывая один и тот же ритуал. Он отпирает темную комнату и, выбрав камеру и взяв строго ограниченное количество пленки, отправляется в город, чтобы успеть заснять огромную небесную ширь и разрушенный Берлин. Часовую башню, одиноко возвышающуюся над церковью Кайзера Вильгельма, и соседние развалины Тиргартена. Скелеты гранд-отелей на Унтер ден Линден. Обломки люстр, поблес-

кивающие среди складок разорванных, грязных гобеленов. Гельмут хочет украсить гобеленами свой подвал, но от весенних дождей они разбухли, напитались влагой и вонью.

Он продает фотобумагу и реактивы Гладигау, а взамен покупает еду и пленку, раскладывая пронумерованные негативы ровными рядами на каменных полках в подвале. Отгораживает за тряпьем, которое служит ему постелью, угол и там вечерами проявляет пленки. Гельмут заносит номера негативов в тот самый кожаный блокнот, в котором отмечал перемены в Берлине. Цифры помещаются в тесные и аккуратные колонки: Гельмут экономит место, экономит бумагу, придерживается простой и понятной системы. Все готово к победе, мирному времени и печати снимков.

Его теперешняя жизнь проходит в уединении, людей нет даже на фотографиях, но он не чувствует себя несчастным. Опустевший Берлин его больше не пугает. Он ходит всюду, фиксируя на своей строго отмеренной пленке большие части города, долгими июльскими днями добредая до самого Потсдама и Бранденбурга. Если к закату не успевает домой, ночует в разбомбленных

зданиях; маршруты прокладывает поближе к пунктам раздачи питания — только бы не голодать. По нескольку дней не появляется на вокзале, но охранник со временем привык и за него не беспокоится. Гельмут не рассказывает ему о фотографиях, однако охранник и сам вскоре подмечает, что Гельмут пропадает в хорошую погоду и возвращается в хмурые дни. И всегда наверстывает работу.

* * *

Гельмут любит свой подземный дом и, хоть и обожает вылазки в город, всегда возвращается туда с удовольствием. Один кадр с каждой пленки обязательно посвящается подвалу, и таким образом вскоре набирается портфолио: пылающая печка, блики на треснутом оконном стекле, уютная, сделанная из тряпья постель. На другой фотографии — веревка выстиранной одежды и под ней, в разломах каменных плит, набежавшие лужи. Гельмут рассматривает негативы на свет, узнает на них пижаму, в которой был той ночью, когда прилетели бомбардировщики и родители пропали. Глаз у него теперь наметан. Он определяет по негативу хороший снимок, различает резкость, композицию, теневые нюансы.

Умеет инвертировать белое в черное, темно-серое в светло-серое. В подступающих иной раз воспоминаниях мутти и папи видны нечетко, изображение смазано по краям. Гельмут думает о Гладигау. Отбирает лучшие снимки, которые когда-нибудь ему покажет.

* * *

Когда дни становятся короче и возобновляются бомбежки, жизнь Гельмута возвращается в прежнее русло. Как и предыдущей зимой — ночи без сна и дни в полудреме на платформе. В темной комнате лежит, дожидаясь весны, оставшаяся пленка. С наступлением зимы и до самого ее исхода Гельмут тоже впадает в спячку.

В последний раз подымается на врага немецкий народ, и Гельмуту наконец улыбается удача. Услышав новость, охранник сжимает его здоровое плечо и шепчет, что все скоро закончится. Гельмут удивленно соглашается. Его сейчас интересует только война.

Обмундирование Гельмуту не выдают, в его распоряжение поступает лишь одна неказистая шинель с нарукавной нашивкой и саперная лопатка. Горстка автоматов достается самым юным

мальчишкам, которых отправляют на уцелевшие высотки. Желторотые снайперы набивают руку на негодных бутылках, на кошках и крысах, обитающих в развалинах домов.

Гельмут достает камеру из темной комнаты и никогда с ней не расстается, снимая все подряд. Он хочет запомнить каждый момент этого счастливейшего периода своей жизни. Надвигается Жуков, а с ним — огромная Советская Армия и монгольские степные орды. Они подступят к Берлину, отрежут город, как отрезали и уничтожали немецкие укрепления от самого Сталинграда, но Гельмут уверен в победе, в грандиозном триумфе, коего станет участником и фотографом.

Время от времени через вокзал проезжает поезд, неизменно набитый под завязку и облепленный беженцами. Через окна и двери пассажиров выталкивают на крышу, а за поездом по платформе бегут еще люди, подпрыгивая, цепляясь за поручни, подоконники, за все, что подвернется; но иные так слабы и ко всему безразличны, что и руки не могут поднять.

Поезд, не останавливаясь, медленно подвигается вперед: так медленно, что кажется, будто стоит на месте, но, приглядевшись, Гельмут ви-

дит, что колеса все-таки крутятся. Обязанности у Гельмута не определенные, каждый день разные. Ежедневно защитники Берлина собираются и делают то, что им прикажут. Перегораживают дороги, наваливают камни, роют ямы. Учатся драться с помощью любых подручных средств. Старики в дорогих шляпах решительно сжимают в руках импровизированное оружие. Они отдают снайперам сбереженные патроны, но те чаще всего к автоматам не подходят.

Если распоряжений никаких нет, Гельмут идет на вокзал посмотреть на поезда с беженцами. Дремлет на мешках, и все года сливаются в один, так что порою он даже начинает прикидывать, не пойти ли попытать счастья на кулечек лакричных леденцов. Если поезда следуют утром, когда на вокзале хорошее освещение, Гельмут фотографирует. Вечером, в сумерках, или днем, когда слишком длинные тени, Гельмут идет рядом с поездом, выставив напоказ нашивку на рукаве, как прежде выставлял больную руку. Он говорит в окна и двери цитатами из речей Führer'a, толкует беженцам о судьбе, доблести и славе Götterdämmerung'a[7]. Кто-то плюет, кто-

[7] Примечания: 7
Götterdämmerung — буквально: сумерки богов *(нем.)*.

то матерится и орет, некоторые соглашаются — все-таки кто-то да соглашается. Большинство не обращают на Гельмута внимания, глядя мимо него через вагонное стекло тусклыми, почерневшими глазами.

Беженцы идут через Берлин и пешком. На ногах запекшая грязь, щеки ввалились от долгого пути. Гельмут снимает их и говорит: «Добро пожаловать домой». Но они, как те поезда, не останавливаются. Ночуют в чревах разрушенных домов, иногда делают передышку на день, от силы на два, но не больше. Этих безжизненных людей гонит вперед опасность с востока. Идет, говорят они, армия, огромная, как континент, грозная, лютая, не ведающая жалости. Говорят о наказании, вроде бы заслуженном. Проходят и рассказывают небылицы о жутком истощении и печах, зловонном дыме и ямах, наполненных телами. Некоторые говорят, что видели это собственными глазами, некоторые с ними спорят. Голоса бубнят монотонно и равнодушно. Невнятные, голодные, слабые.

Берлин, апрель 1945-го

Сегодня они весь день сооружали завалы, и

теперь Гельмут собирает здесь ребят из своей бригады. Геройская баррикада, оплот рейха. Солнце пошло на убыль, и освещение замечательное. Он делает снимок, потом товарищ сменяет его за камерой, и на следующей фотографии Гельмут стоит вместе со всеми. С толстяками и слабыми мальчиками с гнилыми зубами, со стариками и безрукими-безногими калеками. На левой руке у Гельмута нашивка, правая висит немощно и криво, налезая на грудь, снова опавшую за последние голодные месяцы. Люди выглядят усталыми, почти все серьезны. Но трое или четверо, повернувшись к Гельмуту, своему фотографу, улыбаются.

Гельмут непринужденно стоит среди них, ссутулившись, но высоко подняв голову. Город за его спиной разрушен и вскоре будет поделен. Через несколько дней самоубийство ускорит советское вторжение; скромный холмик на месте бывшего здания у Гельмута под ногами станет границей между британской и французской территориями; и в новом Берлине Гельмут не отыщет дома, где прошло его детство. Но на этой фотографии Гельмут делает то, чего ни разу за все детство не сделал на портретах, любовно отпечатываемых Гладигау. Гельмут стоит на вершине своей барри-

кады, которую потом с легкостью подомнут под себя советские танки, — и улыбается.

Лора

Берлин, начало 1945-го

Лора, задремывая, лежит в темной комнате. Недавно ее разбудил шум, немного погодя она уснула, потом проснулась опять. Лежит, окутанная тихой ночью, на окне цветут морозные цветы. Руки и ноги у Лоры теплые, тяжелые. Наверное, думает она, ей просто почудилось: стены, окно, потолок раздвинулись, а за ними открылось пространство грез.

Хлопает дверь, стены снова на месте, выстроились вдоль кровати. Не открывая глаз, Лора прислушивается. Слышит, как сопит младшая сестренка. Шепотом зовет.

— Лизель. Анна-Лиза!

В ответ лишь глубокое дыхание спящей. Лора погружается в сон. Одна минута, две, десять. Она не знает, сколько времени прошло, но шум вдруг доносится снова.

Хлопанье дверей, голоса. Теперь Лора без колебаний распахивает глаза и ждет, когда под

дверью вспыхнет полоска света. В доме по-прежнему темно; внизу кто-то шепчется; чтобы лучше слышать, Лора соскальзывает с постели.

— Что происходит?

— Все будет хорошо. Очень скоро. Вот увидишь.

Фати[8] *приехал.* Он в форме, стоит внизу лестницы. Его обнимает мутти, а в дверном проеме стоит навытяжку солдат, за спиной которого, на дороге, Лора различает грузовик. Холодная ночь льется через порог, скользит по перилам, устраивается у босых Лориных ног. Отец заполняет собой всю прихожую. Он гладит по голове вцепившуюся в его рукава маму и зовет: Аста, *meine Astalie* — а она плачет без слез. Рот раскрыт, губы силятся сдержать негромкий, сдавленный звук.

— Фати!

— Лора. Моя Ханна-Лора. Еще вытянулась.

Лора утыкается лбом ему в плечо, и он смеется, а мутти проводит по ее лицу нервной рукой.

Работают быстро: фати вытряхивает ящики, мутти укладывает сумки, солдат носит их в грузо-

---

[8] Примечания: 8
Фати — папочка, папа *(нем.).*

вик. Лора с Лизель стоят у входной двери. Сонные и неповоротливые: поверх ночных рубашек на них надели платья, а сверху еще пальто. Темень, видно плохо, но родители света не зажигают. Просыпается малыш. Фати берет его на руки, баюкает; мутти, немного постояв и посмотрев на них, уходит наверх будить близнецов.

Держась за Лорину руку, сестра глядит на отца с братишкой.

— Мы назвали его Петером, в честь тебя, фати.
— Я знаю, Лизхен.

Улыбается. Лора тоже глядит на него. Фати как фати, но не такой, как всегда. Не как на фотографиях. Не как в прошлый раз. *На Рождество — не на это, на предыдущее.* Фати переводит взгляд на Лору.

— Пойдем. Я принесу одеяла. Устроим вас в машине поудобней.

Кажется, едут они много часов. Из деревни выбрались в долину. Мутти с Петером на коленях молча сидит впереди рядом с фати. Ни огонька. Тьма и шум мотора.

Лора с сестрой и братьями сидят в кузове на

вещах. Лизель спит, открыв рот, близнецы рассматривают отцовский затылок. Сидят тихо, плечо к плечу, нога к ноге. Покачивают головами в такт движению, таращат сонные, удивленные глаза. Лора шепчет.

— Это фати.

Кивают в ответ.

Останавливаются они посреди сверкающего инеем двора. Какие-то люди, фонари, незнакомая комната с двумя кроватями, пахнущая сыростью и соломой. Когда мутти задувает фонари, на улице уже сереет. В дальней стене комнаты — широкое окно, и Лора видит отца, его плечи; различает на фоне сереющего неба сгорбленный черный силуэт. Лоре холодно в их с Лизель кровати. Отец приносит новое одеяло, укутывает Лору и целует. От него пахнет потом, и колется щетина на подбородке.

— Где мы?
— На ферме. Здесь безопасно.

Его шепот убаюкивает Лору.

— Самое место переждать эти последние недели.

Когда она снова просыпается, в незнакомой комнате светло, а отца уже нет.

* * *

Мертвая пора между войной и миром. Все равно что плыть стоя. Или задерживать дыхание, пока птичка не улетит. Текут недели, настает весна, ветреная и синяя, и дни кажутся Лоре длинными и бесформенными.

Ферма стоит у подножия холма на берегу тихой речушки, затерявшись в зелени долины. Лора знает, что приближается армия. Русские — с одной стороны, американцы — с другой. В Гамбурге у них был особняк с большим садом и служанка. Даже после эвакуации, в деревне, у них был отдельный дом. А здесь они живут вшестером в одной комнате. Утром прислоняют кровати к стене, а на ночь опускают снова.

Глядя на тени от туч, плывущие по холмам, Лора обрывками, как сон, вспоминает полночный приезд отца. *Очень скоро. Вот увидишь.* Проходят месяцы, а ничего не меняется. Занимаясь домашними делами, она уговаривает себя подождать: наша победа не за горами. *Осталось недолго.*

Погода замечательная. Лизель с братьями дни напролет проводят на улице; сначала они играют во дворе, но вскоре, от скуки, забираются все дальше в поля. Мутти беспокоится, если их не видно, мечется по комнате, а когда они наконец приходят, срывается на крик.

Почти каждый день жена фермера приносит еду. Хлеб, яблоки в тесте, кислую капусту, яйца и молоко. Иногда бывает бекон или маленькие, сморщенные осенние яблочки. Стоя в дверном проеме, гостья одаривает улыбками малыша и близнецов.

После обеда Петер спит, мутти и Лизель штопают чулки, а близнецы играют под столом. Тихо играть они не умеют, шепчутся на всю комнату.

В ясные дни Лора различает в далеких складках холмов небольшой городок: грифельные столбики дыма из труб, столбик потемнее — шпиль. С того конца долины доносится грохот орудий. Иногда, если шум сражения слаб и звуки его не проникают в дом, Лора приоткрывает окно и ищет в безоблачном небе самолеты Luftwaffe, представляя, как падают в долину бомбы, принося с собой пожары и смерть. Но слышит одни только птичьи трели.

Когда вечером мутти задувает лампы, Лора отгибает край шторы. А утром видит в щелку полоску синего неба над головой. Каждый день она встает и ложится с мыслью о фати, сильном и гладко выбритом, и о том, когда кончится война. В мирной полутьме зашторенного утра Лора представляет, как преображается долина с наступлением победы. С горы ей открывается парад, шествующий из деревни в деревню, усеянные цветами поля, заполненные людьми склоны; она видит искрящееся солнце в собственных глазах и протянутые к ней руки, слышит слитые в песне голоса.

* * *

Вечереет, и Лора помогает мутти укладывать детей. Замечает в окне фермера, следом за которым идет его сын. Мутти натягивает пальто; Лора тоже направляется к двери, но мутти качает головой.

— Останься здесь. Я через минуту вернусь.

Она выходит, и, закрывая за ней дверь, Лора оставляет щелку, достаточную, чтобы видеть во дворе всех троих. Фермер принес бекон и мешочек овсянки, но хочет еще о чем-то поговорить.

Слов его Лора не слышит, видит только рот, такой же, как у его жены, грубо вылепленный. Он указывает в сторону долины, и мамина рука вспархивает к лицу. Сын фермера отрывает от мутти свой тяжелый, тупой взгляд и сплевывает на землю. Подняв голову, он натыкается взглядом на Лору, и та отскакивает от двери.

— Куда мутти ушла?

Лизель проснулась и стоит у двери. Теплая ото сна, прижимается всем телом к Лоре. Тянется к двери, но Лора перехватывает руку.

— Она сказала, чтобы мы не выходили.
— Почему?

Лизель норовит вырваться, поэтому Лора впивается ей в руку ногтями.

— Ой!
— Не будешь дергаться, ничего тебе не сделаю, глупышка.

Лизель начинает реветь. Близнецы приподнимаются на кровати и смотрят, как сестры возятся возле двери.

— Ну, теперь ты получишь, Лора.
— Не получу. Успокойся, Лизель, я не сильно

тебя ущипнула.

— Мутти будет на тебя ругаться.

— Замолчи, Йохан. Спи давай.

— Не хотим мы спать!

Лора пытается утихомирить Лизель, но та, не глядя на нее, плачет и вырывает руку. Близнецы правы: мутти будет ругаться, и после этого ночь в крошечной комнате будет невыносимой.

— Лизель, ну, пожалуйста. Анна-Лиза! Если ты перестанешь плакать, я тебе кое-что дам.

Взобравшись на кресло, Лора достает сахарницу с верхней полки, куда ее спрятала мутти. Лизель мгновенно перестает плакать и, облизнув палец, запускает его внутрь. Сосет, макает, снова сосет. А Лора тем временем отирает ей щеки, уничтожая следы потасовки. Близнецы молча за всем этим наблюдают, потом Иохан вдруг встает и направляется к сестрам. Следом, волоча по полу одеяла, идет Юри. Они тоже облизывают пальцы и собираются уже обмакнуть их в сахар.

— Нет. Вы двое — нет.

— Почему, Лора?

— Иди ложись, Йохан. И ты, Юри. Пожалуйста.

— А мы расскажем мутти, что ты ущипнула

Лизель.

— Мы расскажем, что ты дала ей сахар.

Вздохнув, Лора подвигает к ним сахарницу, но Лизель выхватывает ее прямо из-под рук близнецов.

— Нет, Лора. Это только мне.

Йохан сердито ее отпихивает, а Юри, отбросив одеяла, становится рядом с братом.

— Не вякай, Лизель.
— Юри, вам нельзя.
— Кто ты такая, чтоб командовать?
— Я вас старше.
— Нам Лора разрешила, а *она* старше *тебя.*

За спиной в дверях стоит мутти.

У Лоры начинает тянуть в животе.

Мутти выкладывает на стол принесенные фермером продукты и, взяв кружку, швыряет ее об пол.

Теперь молчат все, кроме расплакавшегося Петера. Мутти берет его на руки и уносит в кресло у дальней стены. Садится к ним спиной.

— Все в кровать. И ты, Лора. Спите.

Мутти долго сидит в кресле, не гася лампу, даже когда Петер затихает. Лора лежит рядом с Лизель и притворяется, что спит. Наблюдает сквозь ресницы; вот мать улыбается малышу, вот нервно блуждает взглядом по комнате.

Лора вспоминает, как мутти, стоя с фати в прихожей, плакала без слез. Думает. *Уже скоро.* Ожиданию конец.

* * *

Утро, и солнце льется через подоконник в комнату. Мутти сидит в тени у окна за столом и разбирает вещи, какие оставить, какие сжечь.

— Мам, а зачем? Фати приедет? Мы опять переезжаем?

Ответа не последовало. Лора ставит ведро около окна, к свету, и, повернувшись к матери спиной, моет посуду после завтрака. Во дворе возле насоса играют близнецы, но через стекло их голосов не слышно. Лизель сидит на улице под окном, вяжет носки и качает Петера в коляске. Стекло старинное, утолщающееся книзу. От мелькающих сестриных рук рябит в глазах. Позади в карманах и ранцах роется мутти. Выкладывает

на стол книжки, значки, школьную форму. В печке трещат сырые дрова. На улице ветрено, а дети гуляют без пальто. В доме жара.

Лора берет вещи со стола и бросает в печь, а мутти тем временем перебирает фотографии в альбоме.

Особо ценные, дорогие осторожно вынимает из белых наугольничков и раскладывает подле себя на стеганом одеяле. После чего заворачивает их в чистую тряпочку и убирает в ящик, а альбом оставляет на столе. Все утро Лора хлопочет, следит за тем, как горят вещи и бумаги, раскладывает вокруг трубы дрова для просушки.

Поначалу альбом горит плохо, слишком уж он толстый — пламя его не сразу берет. Синяя льняная обложка коричневеет и съеживается, жар, идущий из открытой дверцы, высушивает Лорины глаза. Лизель расплачется, когда не найдет своей школьной формы, близнецы станут спрашивать про книжки. Мутти глядит на опустевший стол, рот ее раскис, в пальцах тлеет сигарета. Затворив заслонку, Лора открывает трубу; страницы занялись, дело сделано.

* * *

Некоторое время спустя мутти вылавливает чайной ложкой из пепла значки и заворачивает в носовой платок. Зовет детей в дом, а Лору просит взять Петера и идти вдоль реки не меньше километра, отыскать место, где сильное течение.

— Не уходи от воды. Держись подальше от дороги и давай быстрее. Я буду ждать тебя.

С Петером на закорках Лора бредет вдоль реки, приговаривая:

— Мы их здесь пересидим. Последние эти денечки.

Скоро придут враги, но Лоре не страшно. Она будет храброй и терпеливой, ведь она верит в *Endsieg*[9]*. Так сказал фати. Все скоро закончится.* Все будет по-новому, и она дождется этого момента. Из-за гор выступят армии; долина наполнится гулом и смертью, а потом настанет победа.

Ссадив Петера на землю, Лора разжимает кулак и бросает значки в реку. Значки тонут, но совсем

---

[9] Примечания: 9
Endsieg — окончательная победа *(нем.).*

рядом с берегом, далеко от стремнины; Петер тянется к ближайшему из них своей влажной, пухлой ручкой. От печного жара значки покорежились, эмаль на них потускнела, но свастика по-прежнему различима. Лора, разувшись и сняв чулки, заходит в воду и вылавливает значки.

Вновь они одиноко бредут по мокрым полям, за спиной в такт шагам покряхтывает Петер. На границе с соседней фермой Лора вытряхивает платочек в заросли куманики. Один или два значка, зацепившись за ветки, отскакивают, и Лора втаптывает их в землю, присыпая комьями и травою. Ополоснув руки, она легонько окунает Петера ножками в воду, и малыш хохочет. Пригревает солнце, холмы баюкают голоса.

Лора вспоминает, что мутти ждет их и, наверное, уже волнуется. И с уснувшим Петером на руках она возвращается к ферме раздольными, безмятежными полями. Шепчет братику:

— Пока победа не настанет, будет тяжело.

Она готовится встретить кровь и пламя.

* * *

Когда приходят американцы, Лора стоит у окна и чистит картошку.

Близнецы, а за ними и Лизель в который раз улизнули со двора, и мутти пошла к воротам звать всех домой. Мать наверняка заметила джип, но все же Лора стучит ей в окно, оставляя на стекле грязные картофельные потеки. Мутти не оборачивается. В немом оцепенении она наблюдает, как джип медленно катит по пастбищу к их двору.

Американцы останавливаются, чтобы открыть верхние ворота, а мутти заходит в дом. Говорит Лоре:

— Работай, работай.

Вытерев руки, поправляет волосы, достает из кармана помаду, надевает шляпу и пальто.

Лора присматривается к матери, но та не выдает своего испуга. Мутти выходит, и Лора возвращается к работе. Из бурой воды вылавливает грязные картофелины, а почищенные опускает в чистую воду. Руки порозовели, кровь шумит в

ушах. Сейчас она знает только запах сырой земли и свои холодные пальцы. В горле ком.

Мать встречает солдат во дворе. Они выходят из джипа, заводят разговор, но мотор не глушат. Мутти напряжена. Один солдат листает бумаги и внимательно слушает. Второй, прислонившись к автомобилю, задает вопросы. Написав что-то, первый солдат протягивает мутти бумагу. Та, чтобы лучше разглядеть, подносит листок к лицу. Лора замирает с ножом в руке. Люди за окном молчат, мотор по-прежнему работает. Мутти переворачивает листок и читает на оборотной стороне, а американец в нетерпении постукивает о землю носком ботинка. Мутти начинает что-то говорить. Проводит рукой по лбу, потом указывает на дом. Тот американец, что стоит у джипа, оглядевшись по сторонам, замечает в окне Лору. Другой поднимает вверх четыре пальца, но мутти, покачав головой, поднимает пять. Эта цифра тоже заносится в папку. Оба американца, а за ними мутти, подписывают бумаги. Один экземпляр достается мутти. Она крепко сжимает конверт с бумагами и стоит не шелохнувшись до тех пор, пока джип не скрывается из вида.

Дети приходят домой поздно, но сегодня мутти

их не ругает. Они, как обычно, ужинают за одним столом. От радости, что удалось избежать заслуженного наказания, Лизель хихикает, а близнецы толкаются под столом. Мутти ни словом не обмолвилась об американцах. Это их с Лорой секрет.

Лежа с закрытыми глазами в одной с Лизель кровати, Лора слышит, как мутти забирается на большую кровать, к Петеру и близнецам, и гасит лампу. Американцы лучше, чем русские. Русские бессовестные. Они грабят, поджигают дома и обижают женщин. А американцы приезжают с бумагами и даже не заглядывают в дом.

Лора открывает глаза, думает. Бои могут начаться прямо этой ночью. Бомбят же всегда по ночам.

В памяти всплывают значки в куманике. Надо было забросить их подальше в воду, схоронить под камнями на дне реки.

Лора лежит, вслушиваясь в тишину, но орудий не слышно. Слышно только, как мама дышит. И только лишь когда ее дыхание становится ровным и глубоким, Лора тоже разрешает себе уснуть.

* * *

Мутти сказывается больной и спит, повернувшись к стене. Притихшие голодные дети молча наблюдают, как Лора ищет деньги в маминых карманах. Братья остаются дома, а Лора с Лизель и Петером выходят со двора и короткой тропинкой идут к фермеру за едой.

Жена фермера, забрав у Лоры деньги, оставляет их ждать у дверей. Пока ее нет, Лизель суется внутрь и шепотом рассказывает сестре про громадную печь и железную ванну, висящую на стене. Лора смотрит на возвращающуюся из сарая фермершу. Перед глазами встает их деревенский дом; потом семейный особняк в Гамбурге, где они жили, пока город не стали бомбить. Обои в спальнях, горячая вода из крана. У фермера на кухне уютно, говорит Лизель, лук висит и копченые окорока, а перед духовкой сидят пять свежеиспеченных буханок.

— Ваша мать еще здесь?

— Да, конечно.

— Тогда будьте добры, передайте, что мой муж хочет с ней поговорить.

— Конечно.

— Лора, о чем она говорила?

Лора отдает уставшей Лизель корзину с яйцами, а Петера забирает себе.

— Ни о чем. Не урони их, Лизхен.

— Она думала, что мутти уехала.

— Да нет же. Аккуратней с яйцами, держи корзинку повыше, не то грохнешь об землю.

Мутти в халате стоит у дверей. Глаза прищурены, волосы слиплись и потускнели. Она забирает у Лоры корзину с яйцами, а дети тем временем прошмыгивают во двор.

— Мальчики были голодные.
— Они утром ели хлеб.
— Но это все, что оставалось.

Мутти снова ложится в постель и закуривает последнюю сэкономленную сигарету. На одеяле лежат уцелевшие фотографии фати. Петер спит, Лора сидит за столом и плачет.

— Долго мы тут еще пробудем?

Ей вспоминаются деревенские женщины: под зимним дождем стоят они у магазинов в очередях, похожих на похоронную процессию, а с

юбок черными струйками стекает краска. В комнате жарко, воздух сухой, тяжелый от болезни и сигаретного дыма. В Гамбурге фати, бывало, усаживался с Лорой на крыльце и шевелил пальцами ног в толстых шерстяных носках. Он всегда носил подтяжки. Близнецы ползали за ним по саду и, глядя на свое отражение в черных высоких сапогах, заливались смехом. *Скоро война закончится.* Лора закрывает глаза и мысленно проносится над долиной, зовет войска, зовет сражение. Видит траву по обочинам landstrasse[10], колышущиеся на ветру метелки злаков. Где-то рядом поет птица. Лора слышит за окном ее высокий, чистый голос.

У мутти жар, виски взмокли. Приподняв одеяло, мать пускает Лору к себе в теплую постель. Фотографии сыплются на пол.

Устроившись поудобнее, Лора понемногу успокаивается. Мамины слезы щекочут ей кожу, мокрая щека прижимается к уху. Мутти шевелит губами, шепчет что-то, чего Лора не может разобрать. Лора натягивает одеяло повыше, накрывает обнимающие ее руки. Мама худая,

---

[10] Примечания: 10
Landstrasse — проселочная дорога *(нем.)*.

почти как на свадебных фотографиях, разметавшихся по полу возле кровати. Пока мать спит, Лора рассматривает снимки. Мутти, фати и ома[11] в Гамбурге на фоне озера. Стоят у перил на Юнгфернштиг. *Я тогда еще не родилась.* Лица знакомые и незнакомые одновременно. Все трое улыбаются, придерживая шляпы, а ветер раздувает их пальто.

* * *

На рассвете мутти, пообещав принести к завтраку свежего хлеба, уходит в город, но возвращается только после полудня. Лора с Лизель и Петером выходят встречать ее за ворота. В сумке у мамы ничего нет, пальто нараспашку, развевается по ветру. На руках у Лоры кричит Петер, просится к мутти, но она его не берет. Волосы упали маме на лицо, и Лора не видит ее глаз. Солнце слепит глаза. Мутти сообщает дочерям новость. Война окончена. Наш Führer умер.

Мать утешает плачущую Лизель:

— Лизхен, вспомни, как он сражался за нас. Какой он был храбрый.

---

[11] Примечания: 11
Ома — бабушка *(нем.).*

Лизель кивает, обеими руками утирая лицо. Лора стыдится своих пылающих щек. Значит, сражения в долине не будет. Жертв и страданий тоже. Ей стыдно за свое неожиданно вспыхнувшее внутри чувство облегчения. Она вдыхает полной грудью, чтобы побороть свою трусость, чтобы запомнить навеки. Запомнить это поле, и как они стоят друг против друга, как Петер протягивает ручки к мутти, а она поднимает его вверх, к небу, и он смеется.

* * *

Наутро мутти снова идет в город и снова возвращается без еды. Ложится и не встает с постели. Дети от голода не находят себе места. Лора отсылает их на улицу, но они играют неохотно и быстро возвращаются в дом. Ближе к вечеру Лора опять ищет в маминых карманах деньги и, прихватив Петера и Юри, отправляется за едой, теперь уже на соседнюю ферму. Они покупают там хлеба, квашеной капусты и по яйцу на каждого; яйца Лора рассовывает по карманам. Петер сидит у нее на плечах и, чтобы не упасть, держится за ее уши. Юри, напевая, идет впереди в сумерках, рядом течет река. Лора смотрит на брата. Затылок у него, как у фати, — точная копия,

только в миниатюре, даже вихор на макушке такой же. Он оборачивается и, дождавшись сестру, пристраивается рядом.

— Когда американцы уйдут?
— Не знаю, Юри. Скоро.

Она запевает новую песню, и Юри, глядя прямо перед собой, шагает по высокой прибрежной траве в такт мелодии. Лора смотрится в темную воду. Она похожа на великана с головой-глыбой. Заснувший Петер сполз вниз, теперь его щека касается ее уха.

У нижних ворот их поджидает сын фермера. В полутьме его лицо едва различимо. Лора отсылает Юри с Петером к верхним воротам. И пока они не отходят на почтительное расстояние, фермерский сын с угрюмым видом стучит ногой по забору. Затем подступает к Лоре.

— Американцы хотят посадить вашу мать в тюрьму.
— Вовсе нет. Они уже приезжали. Даже в дом не зашли.
— Она весь город обегала, просила хоть кого-нибудь взять вас к себе, да только никто не согласился.

— Врешь! Деревенщина! Ты ничего не знаешь.

— Вы здесь никому не нужны. И мы вас прогоним, увидишь. Как только вашу несчастную мать-нацистку упекут в тюрьму.

Лора что есть силы толкает его, но тот не шелохнется. Тоже толкает Лору, и она падает на бок. В кармане разбиваются два яйца. На какое-то мгновение оба замирают на месте, но потом он делает шаг вперед и протягивает руку, чтобы помочь Лоре подняться. Вдруг раздается громкий шлепок, и парень, чертыхаясь, отскакивает в сторону. Что-то плюхается на траву возле Лоры. Тут еще раз что-то проносится над ее головой и шмякается парню об ногу, вызвав новый поток ругательств. В полутьме на выгоне Лора различает две фигуры — Йохана и Юри. Йохан целится в третий раз.

— Не трогай нашу сестру!

Фермерский сын утирает рукавом окровавленное ухо. Вскочив, Лора бежит через ворота к близнецам. Йохан кидает еще камень и бежит вслед за ней по выгону к Петеру, который сидит у верхних ворот и, похныкивая, сосет краюшку хлеба, которую дал ему Юри. Одной рукой Лора подхватывает Петера, другой — буханку. Осталь-

ной хлеб забирает Юри, а Йохан несет капусту.

— За что он толкнул тебя, Лора?

— Откуда я знаю, Юри, он просто глупый мальчишка.

Спотыкаясь на колдобинах, они бредут в темноте. Ноге холодно от просочившихся через платье яиц.

— Я разбила яйца, несколько штук, когда падала. Мы скажем мутти, что я оступилась в темноте, ясно?

— А почему мы не расскажем ей про фермерского мальчишку?

— Потому что так надо, Йохан.

Они уже почти дошли, поэтому пререкаются вполголоса. Юри тянет брата за рукав, и они бегут вперед Лоры во двор. Усадив Петера у насоса, Лора, прежде чем идти в дом, пытается смыть с платья грязь.

* * *

— Мне нужно идти, Лора.

Отослав детей на улицу, мутти натягивает пальто. Достает из-под кровати заранее уложен-

ную небольшую сумку.

— Ты отвезешь детей в Гамбург. Вот адрес бабушки. Розенштрассе. Когда увидишь, ты обязательно вспомнишь.

Она нарисовала карту.

— Дом 28 по Миттельвег в сторону моста. Знаешь, где остановка? Как сойдешь налево, потом первый поворот направо. Там увидишь большой белый дом и крыльцо, выложенное плиткой. Ведь всего два года прошло. Если что забудешь — спросишь у проводника.

Крестиком помечает на листе место, где живет ома.

— Вот деньги и драгоценности. Купишь на них билет на поезд. При первой же возможности. Понятно?

Снимает обручальное кольцо.

— Трать сначала деньги. Писать мне нельзя, по крайней мере, сейчас. Но я напишу тебе в Гамбург. При первой же возможности.

Лора кивает, хотя ей непонятно, о чем мама говорит.

— Мы должны крепиться.

Они стоят друг перед другом, а между ними, на широком столе, белеет клочок бумаги.

— Тебя забирают в тюрьму?
— Не волнуйся.
— Я не волнуюсь.
— Это лагерь.
— Ага.
— Это не тюрьма. Тюрьмы — для преступников.
— Ага.
— Все теперь по-другому.

Мутти целует спящего на большой кровати Петера; от нее приятно пахнет мылом; целует Лору; и выходит, а в открытую дверь врывается с улицы солнечное тепло.

Около часа, пока Петер спит, Лора сидит одна. Считает деньги, разглядывает бумажный обрывок на столе. Все теперь по-другому, думает она, и приходится считать, на сколько яиц хватит денег, на сколько буханок хлеба. Прикидывает, долго ли добираться до Гамбурга. От деревни до школы — двадцать минут, а это примерно четыре километра. А от рынка до соседнего города — сорок

минут. *Девять километров.* Но на больших поездах быстрее. Лора пытается вспомнить, как они ехали из Гамбурга на юг. Тогда она была младше и теперь уже не помнит. *День, два дня. Может, и три.* Девочка дает проснувшемуся Петеру воды и краюшку хлеба. Пора готовить детям ужин: скоро стемнеет, они прибегут голодные. Петер снова плачет, и она дает ему облизать со своих пальцев сахар.

* * *

Близнецы бабушку не помнят. При свете свечей Лора показывает им фотографии, которые не сожгла мутти: вот ома с чашкой кофе на веранде; а вот, совсем еще молодая, с дедушкой, который погиб на предыдущей войне. Рассказывает о доме, в котором все комнаты выходят в длинные, прохладные коридоры, о полах из темного дерева. Долго так она шепчет в ночи.

О лагере они не спрашивают, кажется, им все равно, один только Петер плачет. Лора укачивает его в темноте и думает, что, возможно, так и должно быть. *Мы проиграли. Это не тюрьмы, а американские лагеря. Для таких, как мутти, не совершивших преступления.*

Интересно, что теперь делает отец, когда войны больше нет. На груди у Лоры посапывает Петер, а она заново перебирает фотографии, хочет, пока не заснула, посмотреть на фати. Но попадающиеся снимки скорее сбивают с толку, чем успокаивают. Все эти снимки давнишние, снятые задолго до войны. Человек на фотографиях совсем не похож на папу; скорее, на старшего брата; неизвестный молодой мужчина в гражданском платье. Лора устала, глаза слипаются, и снова дает о себе знать голод.

Младшие спят. Лоре снится, что приехали американцы и ищут их в кустах у речки и в печной золе. Они отбирают у нее Петера, запихивают в багажник своего джипа и уносятся прочь по холмам.

* * *

К дому быстрым шагом приближается фермер, на этот раз с женой. Дети высыпают на порог. Фермерша начинает первая.

— Вам есть куда идти?
— Пусть убираются.
— Мы поедем в Гамбург.
— В Гамбург?

— К нашей бабушке. Мутти предупредила ее, что мы едем.

— Пусть убираются.

— Так она в курсе?

— Мутти ей написала.

— Почта сейчас не ходит, детка.

— Она нас ждет.

— Как вы туда доберетесь?

— На поезде.

— Хотят ехать в Гамбург, вот пускай и едут.

— Но поезда тоже не ходят, Зепп. Ни почты, ни поездов нету, детка.

— Ты что, хочешь, чтоб они тут остались?

— Мы уже начали собирать вещи.

Дети остаются присматривать за Петером. А Лора, выйдя на шоссе, добирается с проезжим фермером до города. Он высаживает ее у вокзала, но предупреждает: поезда не ходят.

— Как доехать до Гамбурга?

Мужчина в окошке отвечает, что требуется разрешение американских властей; да и последний официальный транспорт был более двух недель назад. Лора проходит через турникет на платформу. Там ни души. Она присаживается на корточки и, обратившись к северу, смотрит вдоль

путей, на длинный изгиб станции, на убегающие прочь из города рельсы. Что там вдали? Может быть, другая долина, может быть, большой город. Между шпал уже успела прорасти трава.

В вокзальное окно виден танк. Возле него, закинув автоматы за спину, стоят солдаты, курят на солнышке, смеются. У Лоры болит голова. Не хочется ей просить разрешения. Мутти сказала, чтобы они ехали в Гамбург. Про американцев она ничего не говорила.

На стене висит карта Германии, и Лора ведет по ней пальцем от Ингольштадта к Нюрнбергу, через Кассель и Геттинген до Ганновера, а там и Гамбург. Старается запомнить названия этих городов и еще некоторых, что лежат на пути. Отходит от карты и, глядя в потолок, твердит их про себя. Ингольштадт, Нюрнберг, из Франкфурта в Кассель и Геттинген, потом в Ганновер. И наконец Гамбург.

Лора идет за продуктами, но магазины закрыты: дневной запас уже иссяк. Выбравшись на landstrasse, она пускается в долгий обратный путь.

* * *

На следующее утро Лора снова в городе. Она выходит рано, чтобы поспеть в булочную, пока не разобрали хлеб; молча отстояв с другими женщинами в очереди, покупает все, что только можно. Потом идет на соседние фермы; чтобы не встретиться с солдатами, выходит из деревни по тропинке за мельницей; перед тем как постучать в дверь, прячет сумки с едой под живой изгородью. Мяса с салом раздобыть не удается, зато у нее в руках две половинки, даже больше, хлеба, четыре яйца и кувшин молока, мешочек муки и еще по кошелке моркови и яблок.

Дома она собирает каждому сумку, а вещи Петера складывает в коляску. Каждому по одеялу, плюс носки с чулками, обувь, белье, смена одежды и по три носовых платка. Идти они будут в ботинках и летних пальто, а на случай дождя есть непромокаемые плащи. Шахматы Лора рассыпает в две сумки, выбирает куклу для Лизель и книжку для себя. Связку фотографий из ящика прячет к себе. Деньги, карту и драгоценности, которые дала мутти, заворачивает в носовые платки и зашивает в подол передника.

К полудню прибегают проголодавшиеся дети, и Лора раздает им сумки. Те в восторге, скачут с рюкзаками и чемоданами по двору, прыгают по кроватям, рвутся в поход. Сумки получились тяжелые. Лора вынимает из них обувь и привязывает по бокам коляски. За обедом ее осеняет, что нужно взять ножи, тарелки и кружки. Уложив в чистую наволочку фаянсовую посуду и столовые приборы, Лора привязывает узел к ручке коляски.

— Что мы скажем американцам, если они нас остановят?

— Что мы идем в Гамбург.

— А кто у нас в Гамбурге?

— Мутти и ома!

Дети сидят на большой кровати, а Лора их экзаменует. Радостно в один голос они выкрикивают ответы, хрустя приготовленными в дорогу яблоками.

— А про лагеря мы им скажем?

— Нет.

— Почему?

— Потому что американцы посадят нас в тюрьму.

Лизель хмурится, завязывает косички под подбородком.

— А мы разве не с мутти будем, Лора?
— Мутти в лагере, глупышка.

Йохан пихает ее в бок, а Юри смеется.

— У них есть специальные тюрьмы для детей, жуткое место.
— Лора, я не хочу в тюрьму.
— Будешь умницей — никакой тюрьмы не будет.

* * *

Пальто слишком жаркие, сумки слишком тяжелые. По бокам коляски пляшут туфли, на каждом камне подскакивает посуда в наволочке. С непривычки Лоре плохо, к лицу липнут волосы. Она идет с детьми через поля. Путь лежит через долину. Время позднее, и до ночи много не пройти, но Лоре хочется оставить ферму как можно дальше. Убежать от американцев, речки и значков в кустах.

Петеру не нравятся шум и тряска. Цепляясь ручонками за борта коляски, он сердито смотрит на Лору. Личико его морщится. Лора делает оста-

новку. Вынимает зареванного Петера из коляски, перепаковывает сумки. *Тронулись.*

Теперь Лора и Лизель по очереди несут Петера, а тот что-то без умолку лепечет. Мальчики везут доверху нагруженную сумками коляску. Лора запевает песню, Лизель подхватывает. Сквозь марево приплывают голоса шагающих впереди братьев. Миновав другую ферму с целым шлейфом пристроек, они садятся отдохнуть в тени стоящего невдалеке амбара. Лора успокаивает детей, пообещав, что кто-нибудь их обязательно подвезет, и путь продолжается.

Лора наблюдает за братьями, которые, хихикая и отдуваясь, карабкаются вверх по холму. Наверху они устраивают привал. Задний склон, Лора знает, еще круче и длиннее. Они с Лизель едва добрались до середины подъема, а близнецы уже спускаются вниз. Подтолкнув коляску, припускают с холма бегом. Коляска прыгает на камнях, посуда гремит. Лора кричит: «Тише вы!» Но куда там. Передав Петера Лизель, она устремляется к вершине холма. Слышно, как бьются друг об дружку тарелки. Лора снова кричит. Юри на ходу, не отставая от брата, оборачивается и машет рукой. Одна из висящих по бокам коляски туфля

попадает в колесо, и коляску заносит вправо. Юри теряет равновесие. У него подгибаются ноги, и, чтобы не упасть, он хватается за Йохана. А Йохан не выпускает коляску из рук. И под тяжестью ребят коляска падает и все ее содержимое рассыпается по склону.

Лизель, которая к тому времени добралась до вершины, увидев, как братья растянулись на дороге, заливается смехом. Петер хихикает и хлопает ее по щекам. Лора бросается к близнецам. Коляска лежит на боку, колеса крутятся. Юри растянул ногу и плачет. Йохан подбирает вещи. Сумка с продуктами порвана, еда валяется на камнях, в пыли.

Лора поднимает коляску, вытаскивает туфлю из спиц: кожа лопнула, колесо погнулось. От досады она швыряет этой туфлей в близнецов, но туфля падает не долетев. Поднимает ее снова и бьет мальчишек по рукам. От жары она вся взмокла. Юри опять расплакался, и Йохан, которого Лора колотит уже по ногам, тоже начинает вопить. «Замолчите!» — кричит она на них, и Юри, бросившись в дорожную пыль, рыдает и зовет мутти. Лора снимает пальто. Только бы не расплакаться самой.

Лизель баюкает Петера, щеки ее покраснели, глаза увлажнились. Лора передником вытирает лицо и отыскивает сумку Юри. Разрывает одну майку на полоски и, аккуратно развязав шнурок, стаскивает с его ноги ботинок. Лодыжка распухла, но не слишком сильно. После того как Лора туго ее перевязывает, Юри встает и, хромая, пробует пройтись. Говорит, что вроде бы может идти дальше, на что Лора отвечает: «Не надо». Они вернутся к амбару и заночуют там. Юри присаживается рядом. Она притягивает его к себе, и он утыкается лицом ей в ладони.

* * *

Лора шагает по landstrasse и несет Юри на спине. В рассветной прохладе они доедают яблоки, Юри громко чавкает над Лориным ухом. Щеки у нее холодные и влажные от ночного холода. Под пальто и плащами спалось плохо, к тому же они никак не могли привыкнуть к звукам ночи. Лора понимает, что пешком они сегодня много не пройдут. Завидев впереди повозку, она оставляет детей ждать, а сама бежит за ней, попросить, чтобы их подвезли.

Старик отказывается от платы, сердито указы-

вает жене на Лору.

— Она предлагает нам свои деньги!

Его молодая жена, которая восседает на сундуках и корзинах, смеется над Лорой.

— Вы с севера, так ведь?

Лора вежливо улыбается. Женщина тоже улыбается, но глаза у нее колючие.

— Я по говору слышу. Где ваши родители? Твой фати воюет?

Лора кивает и, пока подходят дети, старательно избегает ее изучающего взгляда. Поравнявшись с повозкой, Иохан салютует старику, и его жена снова заливается смехом. Смех теперь стал грубее и резче. Лора вздрагивает, а молодая женщина оборачивается к мужу.

— Это дети нацистов с севера.

Муж пожимает плечами. Сконфуженный этой насмешкой, Иохан нахмурился. Он вопрошающе смотрит на Лору, но та не замечает его взгляда. Укладывая сумки в повозку, она чувствует, что женщина не сводит с нее глаз.

— И где тогда ваша мать?

Лора начинает рассказ про Гамбург, но переключает внимание на плачущего Петера в коляске, потому что знает — женщина все равно не поверит.

— Да, но все вы не поместитесь. Придется вам подсаживаться по очереди, как это делаем мы.

Пристальные взгляды этой молодой женщины смущают Лору, к щекам подбирается жар. Отодвинув большой узел с одеждой, она освобождает место для Юри и осторожно помогает ему забраться в повозку, не задев лодыжку.

Старик, глядя вдаль, шагает рядом с быком, а его молодая жена восседает к ним спиной на куче скарба.

Вместе с Юри в повозке едут Лизель и Петер. Лора с Иоханом идут пешком, толкая перед собой коляску. Из-за покореженного колеса она вихляет из стороны в сторону в такт копытам. Через час-другой Йохан устает и начинает подавать Лоре знаки, но ей не хочется останавливать повозку и пересаживать детей. Разговоров лучше избегать.

Долина делается шире и ровнее, начинаются поля, усеянные фермерскими домиками. У придорожного колодца Лора зачерпывает уцелевшей

кружкой воду. Дети жадно выпивают все до дна, и Йохан бежит обратно, чтобы запасти воды впрок. Обратно он идет быстро и прикрывает кружку ладонью. Догнав повозку, передает воду брату.

После полудня старик отпускает быка пастись у дороги. Женщина достает из карманов хлеб и вареные яйца и наблюдает, как Лора кормит детей.

— Вы еду украли?

Лора, у которой вспыхнули уши, качает головой. Она размягчает в остатках воды хлеб для Петера. Дети, съев на троих целую буханку, пучками травы оттирают грязь с моркови. Половина запасов уже уничтожена.

Ближе к вечеру им начинают встречаться на пути люди. Лора смотрит на них с тележки, проезжая мимо.

У некоторых есть ручные тележки, доверху нагруженные пожитками, но большинство тащут свои тюки на себе. Многие выходят на дорогу с полей. Люди эти не заговаривают друг с другом; они идут, уставившись под ноги, молча уступают дорогу, когда проходит бык с повозкой. На коленях у Лоры спит Йохан, на груди — Петер. Лизель несет на спине Юри с его больной лодыжкой. По

обочинам дороги все чаще встречаются дома.

За городом женщина останавливает быка, чтобы напоить его у ручья. Уступив место Лизель и Юри, Лора с еще сонным Йоханом снова идут пешком. На перекрестке женщина тормозит повозку.

— Слезайте. Здесь есть пункт раздачи еды и место, где можно переночевать. Нам еще сегодня ехать, так что пойдете в город пешком.

Она наблюдает, как Лора снимает с повозки чемоданы и передает их братьям.

— Одеяла у вас есть?

Лора кивает. Женщина открывает их чемоданы и выбрасывает оттуда на землю два одеяла. Затем вытряхивает на одеяла содержимое чемоданов и приказывает Лизель сесть на корточки. Она хочет показать Лоре, как завязать на плечах одеяло, чтобы получился тюк.

— Так намного легче нести. А пойдет дождь — накроетесь плащами.

Говоря это, женщина улыбается, но Лоре кажется, что она все время над ними смеется. Пустые чемоданы старик закидывает в повозку, а его

жена взбирается следом с сумкой Лизель в руках. Дети наблюдают за ними, а Лора тем временем сооружает второй тюк на своих плечах.

— Думаю, нам лучше никому не рассказывать о мутти и фати.

— Никому-никому?

— Даже тем, кто не американцы?

— Да.

— Почему?

— Так будет надежнее, Йохан.

В город тянутся люди с узлами и тележками. Позади них в лучах заката волочатся по дороге длинные тени. Лора рада, что уехала эта женщина с колючими глазами. Она ищет новые доводы, почему не надо говорить о мутти и фати, но дети ее больше не расспрашивают. Юри хромает, Петер зевает на руках у Лизель, Йохан бежит впереди. Доверившись их молчанию, Лора наконец успокаивается.

* * *

Лора сбилась с пути. Спрашивать у прохожих она не хочет, боится расспросов, но еще больше боится заблудиться. За три дня пути еда кончилась. На четвертый день они идут без завтрака.

Еще задолго до полудня их голодное молчание побуждает Лору пойти и стучаться в двери.

Она спрашивает у женщины, у которой покупает хлеб и молоко, какая дорога ведет на север. Продавщица, увидев крупные деньги, на сдачу дает кусок бекона размером с кулачок. Лора не спорит.

— Далеко вам на север?

— Не очень.

— Куда? В Нюрнберг? Франкфурт? В Берлин?

— Это рядом с Нюрнбергом. Не очень далеко.

— Ну, вообще-то, далековато. Вы на повозке едете?

— Нет.

— Пешком идете?

Лора кивает.

— Тогда вам не в ту сторону. Эта дорога приведет вас к Штутгарту. А там и к французам, если еще дальше отправитесь.

Лора снова кивает.

— Вон видите то поле, за ним — другое, пойдете вдоль ручья и выйдете к железной дороге. Там, далеко, она пересекается с другой дорогой, которая идет на север. Тогда вы снова будете на пути к Нюрнбергу, только не забывайте давать

малышу молоко.

Лора делит еду на всех, и запасы вмиг исчезают. Долго бредут они по полям с коляской. К вечеру добираются до железной дороги, и опять хочется есть. Но домов поблизости не видно.

* * *

Лора не может уснуть. Рядом сопят дети, свернулись калачиком под плащами. Холодная, бесконечная ночь. Так плохо спать на жесткой земле. Петер расплакался. Дети ворочаются, просыпаются. Закутанный в пальто и одеяла, поднимается Йохан, у него зуб на зуб не попадает. Он тоже плачет.

Не дожидаясь рассвета, они пускаются в путь.

* * *

Пока добрели до города, дети выдохлись. Они едва передвигают ноги, и Лора оставляет их на пустынном вокзале, пообещав в скором времени принести еды. От коляски ноют плечи, болит живот. Петер плачет вот уже несколько часов, и она рада отдохнуть в тишине. Утро выдалось жаркое и, когда она добралась до центра города,

в горле совсем пересохло.

Попив из фонтана на главной площади, Лора становится в тени дерева и высматривает, где бы купить еду. Ни один магазин не работает, но метрах в двадцати от нее, под другим деревом, собралась группка людей. Блики на брусчатке слепят глаза, мешают Лоре смотреть. Люди на время замирают, а потом отходят в сторону, уступая место другим. Тяжелая угнетающая тишина, как горячий воздух, неотвратимо влечет Лору через сияющую площадь. Слева, у самого дерева, стоят две пожилые дамы, и Лора проскальзывает между ними.

К дереву прибита длинная доска, а на ней наклеены большие, расплывчатые фотографии. Люди молча выстроились в шаге от них, прямо перед собой Лора видит какую-то кучу мусора, а может, пепла. Что-то похожее на туфли, она наклоняется ближе. Под каждой фотографией — название места. Одно из них, кажется, немецкое, два других — нет. Все незнакомые. Клей на фотографиях еще не просох, бумага сморщилась, изображение нечеткое. Лора украдкой смотрит вокруг, ошеломленная, задыхающаяся среди безмолвной толпы. Делает шаг вперед, разглаживает

ладонями влажные складки. В толпе проносится шепоток.

На фотографиях — скелеты. Теперь Лора хорошо это видит, отнимает руки, прячет в рукава измазанные клеем ладони. Сотни скелетов; мешанина ног, рук и черепов. Часть лежит в открытом вагоне, часть — на голой земле. Затаив дыхание, Лора отводит глаза, смотрит на соседнюю фотографию; волосы, голая кожа, грудь. Она отступает назад и вливается в толпу.

Рядами лежат голые люди. Кожа — как тонкая бумага, натянутая на кости. Мертвые люди, без одежды, сваленные в кучи.

Старик рядом с Лорой откашливается. Толпа оживает, и Лора, зажатая со всех сторон, под натиском толпы двигается дальше. Ее окружают горячие спины, руки, плечи, запах пропахшей дымом шерстяной одежды.

Позади Лоры идут те пожилые дамы. Они легонько подталкивают ее вперед, ведут вдоль фотографий к выходу из толпы. Последний снимок более четкий: мужчина лежит на заборе из проволоки. На нем пижама, рубаха распахнута, и Лора видит ребра. Брюки, все в складках, за-

вязаны узлом на тощем животе, а выпирающие лодыжки на иссохших ногах похожи на огромные кулаки. Глаза у мужчины — два черных круга. Рот открыт, зубов нет, щеки ввалились.

Женщины идут не останавливаясь, мягко оттесняя Лору от фотографий, от дерева. Держат ее за локти, каждая со своей стороны, и толкают вперед, к дороге, подальше от главной площади. За спиной воцаряется тишина, затягивается проделанная ими брешь. Лора оглядывается. Никто на них не смотрит. Люди вновь сосредоточили свое безмолвное внимание на доске с фотографиями.

Та женщина, что идет справа, прижимает ко рту платок и не говорит ни слова. Другая упрямо ведет Лору по дороге. Она тоже исхудалая. Наконец отпустив Лору, ласково треплет ее по плечу рукой.

— Ступай домой, детка. Да поживее. Здесь тебе нечего смотреть.

Лора идет не оглядываясь. Ей жарко, дурно, она не ела со вчерашнего дня, а сейчас уже обед. Она сидит на обочине, а в голове пульсирует мысль: надо купить хлеба, вернуться к детям и идти дальше. *Еда, нужна еда.* Утыкается лбом в

колени, зажмуривается. Перед глазами встают те фотографии на дереве. Наверное, у тех людей не было еды, и они умерли от голода. Она не помнит названий, которые были написаны под снимками, она не знает даже названия городка, где сейчас находится. Не открывая глаз и запрокинув голову, снова вспоминает маршрут на север. Солнце обжигает лицо, а она пытается вспомнить, открыты или закрыты были глаза у того мужчины на последней фотографии. И все повторяет про себя: из Ингольштадта в Нюрнберг, затем Франкфурт, Кассель и Гегтинген, за ними Ганновер, а там и Гамбург. Это фото было сделано где-то в Германии.

— Попей вот этого.

Склонившись над Лорой, молодая женщина протягивает ей кружку молока.

— Когда ты в последний раз ела? Попей, детка.

Лора тянется к кружке и пьет. Женщина вкладывает ей в руку горбушку хлеба и, забрав пустую чашку, уходит в дом. Лора ест, глотая большие куски, не открывая глаз сидит, пока не стихает боль в животе. Думает, как там дети, неизвестно ведь, сколько прошло времени с тех пор, как она

ушла, и стучится к женщине.

— Мне нужно еще еды. Для моих братьев и сестер. Один из них еще младенец.

— У меня больше нет.

— Пожалуйста, нам нечего есть и негде ночевать.

Женщина выглядит испуганной. Лоре кажется, что она хочет закрыть дверь.

— Мы можем заплатить.

Лора достает монету, женщина колеблется и, залившись горячим румянцем, наконец произносит:

– У тебя есть что-нибудь другое? Не деньги.

Лора проковыривает в носовом платке под фартуком дырку и протягивает в горсти мамины украшения. Осмотрев драгоценности, женщина начинает ковырять их своими обкусанными пальцами. Ощупывает мамину брошь, жемчужные сережки, наконец выбирает кольцо.

— Я могу купить на него еды.

У Лоры внутри все сжимается.

— Может, лучше сережки?

Женщина качает головой. Прищурившись, смотрит на Лору.

— Если вы со мною поделитесь едой, я пущу вас на ночь.

* * *

Лора возвращается с детьми, а женщина их уже ждет. Стоит на пороге, улыбается, за юбками прячется маленький сын.

Она вынимает из печки чан с водой и дает им чистые тряпки, чтобы вытереться, просит прощения, что нет ни кусочка мыла. Лора трет близнецам шеи и расчесывает волосы Лизель. Женщина берет Петера на руки и купает со своим сыном. Когда на улице темнеет, она, отпросившись, берет коляску и говорит, что вернется примерно через час.

— У нас здесь комендантский час, знаете? Из дома никуда не ходите.

Близнецы все еще сердятся на Лору за то, что она так надолго оставила их одних. Смотрят злыми глазами, а Лизель, подойдя ближе и дергая себя за косички, шепчет:

— Почему мы не можем пойти к мутти и жить с нею в лагере?

Хозяйский сынишка глядит на них безмятежно и застенчиво. Лора, испугавшись, что он их услышал, набрасывается на Лизель. Оттаскивает сестру к окну и шипит:

— Не заикайся об этом. Сама знаешь почему. Еще раз такое повторится, получишь от меня, ясно?

Лизель морщит личико, и Петер, когда Лора берет его на руки, начинает кричать.

Возвращается женщина, еда спрятана в коляске. Лоре кажется, что ее слишком уж мало, под матрацем вся умещается. У нее сводит живот.

— Мамино кольцо было золотое.

Женщина пожимает плечами. И, помедлив, говорит, что ей жаль, но так получилось. Она готовит ужин и ест вместе с детьми, ее сын, пережевывая пищу, молча смотрит на Лизель с близнецами. Когда он доедает, женщина переливает ему оставшийся суп из своей миски, а когда сын съедает и это, сажает его на колени. Тихонько напевает себе под нос, глядя на прильнувшую

к руке головку.

Лора устала. Она закрывает глаза и ест медленнее, держит пищу на языке, перед тем как проглотить. Ей хочется спросить о фотографиях на дереве. Если эта женщина знает, где взять еды, то, наверное, она знает и о том, что случилось с теми людьми. Но едва Лора раскрывает рот, женщина, улыбнувшись, прикладывает палец к губам и показывает на спящего сына.

Пока Лора убирает со стола, женщина расстилает на кухонном полу одеяла и, забрав сына, уходит. Ее долго нет, и Лора решает, что уже поздно, и предлагает детям лечь спать.

Лора складывает на кухонном столе жалкую кучку еды. Оставляет полбуханки хлеба на утро, оставляет мешочек с мукой для хозяйки. Подумав, она решает еще отдать ей немного мяса. Женщина ведь была так добра к ним, не задавала вопросов, поделилась с ней молоком, которое, наверное, берегла для сына. Оставшиеся продукты Лора раскладывает по трем узлам и, пока дети спят, делит их за столом на порции. Если рассчитать все строго, продуктов хватит на три дня.

Она задувает свечу и засыпает прямо за столом.

Ей снова снятся американцы. Она видит, как солдаты съедают весь хлеб, остальное бросают в джип. На этот раз Петера они не трогают, но ей нечем его кормить. Он худенький, аж светится у нее на руках. Она осторожно кладет его на землю, рядом с другими детьми. Все они почему-то голые. Кости хрупкие, как птичьи крылья.

* * *

Дети бредут устало и покорно. Лоре приходится решать, в какую сторону им идти с утра, куда сворачивать на развилке, где ночевать, когда есть. Пока Лора думает, дети стоят и молча ждут. Идут вперед, когда Лора им скажет, останавливаются тоже, когда она скажет. Один только Петер плачет и смеется, когда ему вздумается.

Где только им не приходится спать. И в амбарах, и в пристройках, и на сеновалах. Когда с разрешения хозяев, а когда и так. Лора пытается следить за чистотой: оттирает травой грязь с ботинок, стирает без мыла одежду в холодной воде, лечит мозоли, подкладывает листья в ботинки, заглушает боль бодрыми песнями. Всякий раз, когда они останавливаются, Лора перебирает вещи: по-новому распределяет вес, одежду и все

остальное. В пути то и дело щупает карман на фартуке, проверяет, целы ли деньги, на месте ли мамины драгоценности.

* * *

Уже вечер. Весь день близнецы расспрашивали Лору о войне. Правда, что она кончилась? Нас правда победили? Почему? Лора пробует объяснить, но ее недомолвки лишь порождают новые вопросы, и вконец измученной Лоре приходится угомонить детей. Лизель плачет, братья тоже устали, Йохан хмурится, а Юри зевает.

— Лора, у нас есть еще еда? Мы голодные.
— Есть хлеб, но это на утро.
— Ну пожалуйста!
— Нет.

Лизель спрашивает, где сейчас фати, и Лора ей говорит, что фати едет в Гамбург. Когда они туда доберутся, он будет уже у ома. Лора лжет, не задумываясь, и сама себе поражается. Мальчики ложатся, сворачиваются под одеялами, но Лизель теперь не до сна. Слезы у нее уже высохли, и она повеселела. Теперь осаждает Лору вопросами о фати.

— Ложись, Лизель.
— Лора!
— Лизель, я устала. Я не шучу.

Сестра снова плачет, но Лора не обращает на нее внимания. Лизель скоро засыпает, накрывшись с головой одеялом; мальчики, прижавшись друг к другу, закутались в пальто; Петер затих в коляске.

Лора просыпается, потому что ей снится мутти. Обручальное кольцо лежит на дне речки, и мать не желает на нее смотреть. Она плачет, надевает пальто и уходит, хлопая дверью. Лора зарывается в жесткие складки плаща, но глаза не слушаются ее, и сон не идет, в животе все оцепенело. Она не может дать ответ на все вопросы, но и молчать тоже больше не может.

* * *

Днем Лизель тошнит три или четыре раза. Всякий раз они останавливаются передохнуть и напоить ее водой. Вперед они двигаются медленно. Минуют какую-то деревню. Церковный шпиль еще виднеется за Лориным плечом. А Лизель становится совсем плохо. Она дрожит и, несмотря на припекающее солнце, жалуется,

что холодно. Впереди лес. Лора решает сделать привал.

У опушки близнецы находят полянку. Дети расстилают свои плащи и выбирают место для костра, Лора укутывает Лизель в одеяла, и та забывается сном. Близнецы приносят дрова на растопку, но никак не могут развести огонь. Лора раздает всем оставшиеся с завтрака яблоки. Сегодня их ужин — сырая картошка. Лизель просыпается в сумерках и начинает плакать, что не хочет оставаться на ночь в лесу. Петер тоже плачет и выплевывает куски картошки, разжеванные для него Лорой. Йохан наблюдает за ней в полутьме.

— Мы можем вернуться в ту деревню.

— И остановиться в гостинице?

— А мы попросим. Постучимся с дверь и попросим ночлега.

— У тебя в фартуке есть деньги, Лора.

— Они нам нужны на еду.

— Но ведь ты говорила, что мутти оставила нам деньги на билеты на поезд. А раз мы идем пешком, то должны же остаться деньги.

— Это же час пути! Идти назад — глупо.

— Пожалуйста, Лора.

В синих вечерних сумерках шуршит их шепот. Вековые деревья безмолвно высятся над их головами. Йохан и Юри помогают Лоре сворачивать плащи и складывать вещи в коляску.

Деревенские улочки пусты. Каждая из них ведет к своему дому. В этой компании слишком много ртов. Какой-то старик угощает их кислым молоком и выменивает у них картошку на яйца. На главной площади, возле церкви, Лизель снова разревелась. Юри приносит ей воды из колодца, а Йохан обнаруживает, что церковь открыта.

Внутри просторно и сумрачно, пахнет сыростью и пылью. Пока Лора выкладывает сумки, ребята ищут место, где можно получше устроиться.

— Тут везде только жесткие скамейки.
— К тому же они совсем узкие.

Лора катит коляску вдоль скамей, останавливается перед алтарем. На полке в темных потеках воска догорают две или три свечи. Над ними возвышается облаченная в одеяния статуя. Разостлав с Лизель на полу плащи, близнецы приносят под голову подушечки со скамей. Лизель, зевая, садится с Петером у подножия статуи. Они не

разговаривают, но от любого движения под высоким каменным куполом разносится гулкое эхо. Лора переливает половину молока в кружку для Петера и протягивает бутылку Лизель. Ей самой и близнецам достается по сырому яйцу. Мальчики хихикают, на их мокрых подбородках блестит яичный белок.

В коляске Петер не засыпает, и Лоре приходится уложить его с собой на подушечку. Лизель спит, близнецы шушукаются, а Лора заново перекладывает сумки. Сворачивает и аккуратно связывает вещи, раскладывает их рядом с собой, на утро. Задувает свечи и ложится спать.

Ночью Лизель снова тошнит, и Лоре приходится чистить ее перепачканную блузку. Лизель говорит, что ей уже намного лучше, Лора гладит сестренку по голове, говорит: «Ты у нас храбрая». Лизель еще ни разу не просилась к мутти, и Лора благодарна за это сестре. Уж Лора-то знает, как это нелегко. Все пятеро спят до позднего утра. А проснувшись, обнаруживают пропажу — нет Петеровой коляски, а вместе с ней и сменной обуви.

* * *

Следующие несколько дней проходят в дороге. Время от времени они кого-нибудь встречают, но Лора предпочитает держаться от людей подальше. Они больше не останавливают повозок, часто отдыхают, обходят города стороной. Лора покупает масло, чтобы смазывать всем потрескавшиеся губы. Они копают на полях репу и по пути покупают у местных жителей хлеб. Лорин мешочек с монетами становится все легче.

Без коляски они уже не могут столько нести. Лора выменивает сестрину куклу на пустую бутылку с крышкой. Шахматы и ее книгу никто не покупает, поэтому приходится их просто выбросить. И хотя на улице попрежнему жарко, они надевают на себя много одежды. За Лорино пальто они однажды ночуют в настоящей постели, за вторую юбку Лизель моется наутро в горячей воде. Оставшиеся вещи помещаются в сумку и узел, которые они несут по очереди.

Через неделю они уже в Нюрнберге.

* * *

Когда они приходят на школьный двор, там уже полным-полно людей. Старик на входе в спортзал выдает Лоре два соломенных матраса, и они устраиваются посредине. Лора предпочла бы лечь у стены, а еще лучше — в углу, но все эти места заняты. Здесь полно разного люда: матери с детьми, пожилые дамы. Правда, мужчин сюда не пускают, хоть некоторые и просились. На улице уже стемнело, и на большом окне горят две лампы. Поверх матрасов Лора стелет одеяла, на них — пальто. Отрезает каждому ломтик хлеба, близнецы приносят с улицы из бочки воды. Лора советует им жевать медленно и пить маленькими глотками. Дети притихли.

Пока они едят, приходят новые люди, и зал постепенно заполняется. Матрасов не хватает, так что люди устраиваются прямо на своих пальто и сумках. Лора кладет Петера в серединочку, близнецы ложатся рядом, а сама она с Лизель пристраивается с краешка. Лора разувает близнецов, но носки снять не разрешает. Она надежно прячет их ботинки. Мальчишки никак не успокоятся, все ворочаются и ерзают под одеялами.

Хотя спать Лоре не хочется, она тоже ложится и кладет под голову сумку, чтобы ее сторожить.

Люди продолжают прибывать даже тогда, когда уже погасили лампы. Черными тенями они пробираются в темноте. Почти все время Лора просто лежит с закрытыми глазами и надеется, что хотя бы дети уснули. Матрас пахнет кошками, но зато спасает от холода.

Среди ночи разревелся Петер и разбудил Лору. Юри передает его Лоре и придвигается поближе к Йохану, в теплую серединку. Петер хочет есть, Лора тоже. Она слышит, как зашевелились вокруг люди и, нашарив в кармане Лизель остаток буханки, разжевывает кусок для Петера. Он сразу же перестает плакать, и Лора сидит с ним, пока он уплетает за обе щеки. Актовый зал полон спящими. Лоре хочется пить, но в темноте почти ничего не видно, и она решает ждать до утра.

Петер съел хлеб и снова хнычет. Теребит себя кулачонками по воспаленным щекам и губам. Лора кладет его на матрас и, чтобы успокоить, трет ему пятки и животик. У женщины, что лежит рядом, открыты глаза. Лора видит, как они влажно блестят в темноте. Она снова ложится и теснее прижимает к себе Петера под одеялом.

Мальчик наконец засыпает. А женщина все смотрит на Лору и шепчет ей в темноте.

— У меня больше нет дома. Только камни по земле. Каждую ночь я ночую с незнакомыми людьми.

Лора кивает и закрывает глаза.

— Он нас предал. Трус. Он послал наших мужчин на смерть, а потом бросил нас.

Кругом поднимается возмущенный шепот. Лора зажмуривается и не отвечает. Она надеется, что женщина не сочтет ее невежливой и скоро уснет, перестанет на нее глядеть. Какое-то время все лежат тихо. Слышно только, как женщина вздыхает. Лора зарывается в теплые пальто и одеяла. Она устала и не хочет сейчас ни о чем думать. Своим бормотанием женщина снова будит ее, но спросонья Лора не может ничего разобрать. Какой-то другой голос, с другой стороны, просит несчастную замолчать.

* * *

Они стоят в очереди, время от времени сменяя друг друга. Время течет невыносимо медленно в этой гудящей толпе. Они сидят на стене, что

через дорогу от магазина, и караулят сумки. Когда церковный колокол отзванивает новую четверть часа, меняются местами. Близнецы, когда не стоят в очереди, бросают в реку камни и подбивают друг дружку пробежаться по стене. Стоящая за Лорой женщина дает Петеру пару изюминок из своего пайка, а он протягивает руку — еще. Лора, смутившись, хватает его за руку и благодарит женщину, та улыбается в ответ.

Только к полудню они оказываются внутри магазина.

— Ваш нюрнбергский талон?

Лора достает из-под фартука монету.

— Деньги мы не берем. Только талоны.
— Но мы простояли все утро.

Лизель не в состоянии сдержаться, и Лора толкает ее в спину. Женщина с изюмом выступает вперед.

— Дайте детям еды. Их целых пять. Малыш вообще грудной.
— У них нет талонов, фрау Гольц.
— Взгляните, какие они худенькие.

Близнецы протискиваются в магазин и стано-

вятся рядом с Лорой перед прилавком. Старик у двери ворчит себе под нос:

— Так чего вы не поделитесь с ними своим пайком?

— У меня, знаете ли, свои дети есть.

Лавочник повышает голос.

— У меня здесь не черный рынок. Только по нюрнбергским талонам.

— Хотя бы разрешите им подождать. Может, у вас что останется и вы сможете им это отдать.

— И что скажут на это американцы, как вы думаете, а, фрау Гольц?

— Я думаю, что не надо им об этом рассказывать, герр Ройдинк.

Перед тем как уйти, фрау Гольц дает им ломтик хлеба из своего пайка. Ворчливый старик протягивает Лоре яйцо. Лора не знает, достанется им что-нибудь от лавочника или нет. Они молча стоят у прилавка, и люди, получая свои пайки, стараются не встречаться с ними взглядом. Лора делит хлеб на всех: каждому на один зуб. По мере того, как солнце уходит за дома, улица погружается в тень. Петер плачет, и Лора ходит с ним взад и вперед по тротуару, пока он не засыпает. Близ-

нецы устали, ходят как неприкаянные и молчат: то постоят у окна, то садятся на узлы.

Очередь кончается. Пока лавочник вытирает прилавок и подметает пол, Лора не сводит с него глаз. Интересно, нужно ли позвать сюда Лизель с Петером. Осталась по крайней мере одна буханка и немного масла. И еще чуть-чуть сахара. Она подходит к прилавку.

— Я уложу вам все, что осталось, но никому ни слова. Понятно?

Лора кивает. Она отправляет близнецов к Лизель на улицу, а сама готовит узел для еды. Стоя за прилавком спиной к двери, лавочник заворачивает две буханки, масло, одно яйцо. Вдруг дверь распахивается. Лавочник оборачивается, а сам загораживает собой сверток.

— Чем могу служить?

Прежде чем ответить, молодой мужчина подходит сначала вплотную к прилавку и кончиками пальцев опирается на деревянную столешницу.

— Если у вас что-нибудь осталось, я буду вам очень признателен.

— Ваш талон?

— Я не из Нюрнберга. Я просто подумал, вдруг у вас что-нибудь осталось.

Лавочник возвращается к своему делу, показав на Лору.

— Вот эта юная леди на сегодня моя последняя покупательница.

Мужчина смотрит на Лору. От него исходит кислый запах. Из черных рукавов торчат длинные и тонкие запястья.

— Там мои братья и сестра.

Лора указывает в окно. Дети выстроились вдоль стены и жадно смотрят. Улыбнувшись, мужчина кивает и выходит из магазина.

* * *

Лора просит воды, а старуха, сжалившись, пускает их переночевать. Раскладушку и стеганое одеяло Лора отдает Лизель и Петеру. Себе и близнецам устраивает постель на полу — из сумок и одеял. Делится со старухой запасами съестного и помогает приготовить жидкую кашу. Ужинают все на крохотной кухне, за покосившимся столом. Есть приходится стоя, потому что стульев

нет. В доме холодно и сыро, поэтому спят не раздеваясь.

Посреди ночи старуха будит Лору. В руке у нее горит свеча, которую она держит через рукав, чтобы не обжечься воском.

— Я не могу это просто так. Заплатите сейчас, пожалуйста.

Лора глядит в выцветшие глаза, на желтые набрякшие веки.

— У вас есть чем заплатить? Русские убили моих сыновей. У меня ничего не осталось.

Старуха тянет Лору за воротник, воск капает на половицы. Губы растянуты и плотно сжаты. На редких ресницах закипают злые слезы. Лора ощупью, под одеялом, достает из фартука две монеты. Разглядев деньги, старуха фыркает.

— А еще? Чайная ложка, например? Серебро?

Ждет. Но Лора смотрит сквозь нее в черноту комнаты. В кулаке зажат край фартука, в нем мамины драгоценности. Больше она ничего не даст. Старуха задувает свечу и уходит.

С утра Петер надрывается от крика, рвет на

себе одежду. Не идет на руки и вообще не дает прикасаться. Лизель сидит рядом с ним на раскладушке и почесывает бока и ноги. Лодыжки отекли. Задрав рубашонку, она показывает Лоре красную, зудящую кожу на груди. В доме все так же холодно. Лора выносит Петера на солнце, стаскивает с него одежду. Он кричит, захлебываясь слезами. Старуха уже в саду.

— Вши. Придется сжечь одежду. И натереть его керосином. Так их убьет. Наверное. Надо их убить.

Она тычет Петера в шею, дергает себя за подбородок, не в силах успокоить руки.

— У меня есть чуток керосина. Натрешь им малыша и девочку. А вещи я сожгу.

Приносит керосин и лохань, ищет костлявыми пальцами у них в головах. Лору бросает в дрожь, когда она обломанными ногтями карябает макушку Петера.

— У тебя и мальчиков ничего нет. Но одежду вам все равно надо пропитать. И всем вам помыться, всем.

— Да. Спасибо.

— Керосин у меня не дармовой.

И прижимает бутыль к себе. Лора готова заплакать. Петер кричит и извивается у Лизель на руках.

— Извини, но я не могу отдать тебе его просто так. У тебя что-нибудь есть?

Лора отворачивается и поднимает фартук. Проковыряв дырку в носовом платке, достает мамину серебряную цепочку.

— Но она стоит дороже, чем керосин.

Старуха отвечает, что дать ничего не может, может только предложить остаться у нее еще на одну ночь.

Они раздеваются перед домом, там, где с улицы их загораживают деревья. Старуха поддевает палкой одежду Лизель и Петера и, отнеся в дом, бросает ее в печь. Оставшиеся вещи Лора замачивает в лохани с керосином. Чтобы не разреветься, кусает губы. Лизель, присев на корточки, держит Петера. Мальчики притихли. Лора натирает всем руки, ноги, грудь и волосы керосином. Петер визжит, кожа красная. От керосина у Лоры щиплет потрескавшиеся пальцы, трещинки вокруг рта и носа.

Близнецы старательно полощут одежду, но без мыла керосин не смывается. Старуха носит из кухни ведра с горячей водой. Потом приносит ножницы. Кидает их Лоре под ноги в траву и говорит, отводя взгляд:

— Состриги девочке волосы, и малышу тоже. Под корень.

— Но ведь вы сказали, что они умрут. От керосина.

Старуха — на ее шее уже висит мамина цепочка — пожимает плечами. Тогда Лора тоже отводит глаза, и та уходит в дом. Лизель подбирает ножницы и режет себе косы. Садится перед Лорой, пообещав, что плакать не будет. У стены стоят близнецы, смотрят, как тупые ножницы подбираются все ближе и ближе к сестриной голове.

У Петера локоны длинные, мягонькие. Лезвия ножниц кажутся слишком огромными для него, к тому же он все время вертит головой. Как Лора хотела бы сохранить эти локоны! Послать их мутти. Только не знает Лора, где сейчас их мама. Плача, она сгребает в кучу волосы брата и сестры и сжигает их в печи. Дом старухи наполняется горьким запахом. Она во дворе втирает остатки керосина в «ежик» на сестриной голове.

Близнецы сушат на солнце свои штанишки и рубашки с майками. Лора натягивает непросушенные вещи и идет в деревню, чтобы раздобыть еду и одежду для Лизель и Петера. Неизвестно, надолго ли теперь хватит драгоценностей мутти, если никто не захочет брать деньги. Лору терзают злость и страх.

Навстречу по дороге катится повозка, фермер приподнимает шляпу. Позади него, на баулах, едут седоки. А на краю повозки, свесив ноги за борт, сидит тот молодой человек из лавки, в черном костюме. Среди тряпья и узлов с одеждой подпрыгивают огромные на тощих ногах сапоги. Встретившись глазами с Лорой, узнав ее, он подается назад, загораживает лицо руками. Лора, скованная ужасом, тоже отводит взгляд.

Лора оборачивается вслед повозке. Молодой человек сидит и смотрит на нее. Приподнимает руку и едва заметно ей машет. Помахав в ответ, Лора прибавляет шаг. И краснеет за свое мокрое, воняющее керосином платье.

* * *

На следующий вечер молодого человека замечает Юри: тот стоит позади них в очереди за

бесплатным супом.

— Он был тогда в том магазине, да?
— Да. Не кричи.
— А почему хозяин лавки отдал еду нам?
— Потому что мы пришли первыми.

Мужчина их тоже узнал. Лора просит добавки для Петера и чувствует, что тот человек на нее смотрит. Они отходят к краю площади и садятся есть. Суп — одна вода, но на дне все же плавают кусочки мяса. Выловив из дымящейся жидкости два-три кусочка, она остужает их, чтобы разжевать для Петера. От горячего сводит желудок. Они зачерпывают жир руками и поливают хлеб. Мужчина сидит посреди площади, прислонившись спиной к одному из мешков с песком, которые окружают статую, и посматривает на них, отхлебывая суп прямо из миски. Он ест быстро, жадно. Лора чувствует его взгляд. Она пытается смазать Петеру жиром воспаленные уголки рта, но тот постоянно слизывает капли.

Юри отрезает себе еще кусок хлеба, но Лора его не одергивает. Она отрезает кусок и себе. Юри поднимается и, держа перед собой ломоть хлеба с накапанным на него жиром, идет через площадь. Протягивает хлеб тому мужчине. Лора

видит, как тот берет хлеб и тут же запихивает его в рот. Мгновение Юри наблюдает, потом бегом бежит к Лоре. Быстро приседает, будто прячется, и шепчет:

— Он его взял.

Юри смотрит на Лору, протягивая ей пустую, сальную ладонь. В удивленных глазах блестят слезы.

— Он мне ничего не сказал.

А сам утирает глаза рукавом.

— Ну и пусть.

Оставшийся хлеб Лора делит поровну. Юри свою порцию отдает Йохану. Она смотрит в сторону фонтана, но молодой человек уже на другом конце площади. Вскоре он вовсе скрывается из виду.

* * *

Долгая прямая дорога. Липкая желто-коричневая глина. По обе стороны дороги простираются набухшие от воды поля. Дорога проходит вдоль невысокого хребта, и вид открывается на много километров: впереди — бесконечный путь, по-

зади — тот мужчина. Он идет за ними с рассвета — не отставая и не поднимая головы. Лора несет Петера и узел, детей пустила вперед: первыми идут близнецы, а посередине — Лизель с сумкой. Почти все утро мальчики о чем-то шушукались, но сейчас молчат. Уже час моросит дождь, капли падают на лицо, на руки, просачиваются в чулки. Лора заворачивает Петера в плащ, чтобы он не замерз. И каждый раз, когда она вытирает платком ему лицо, он улыбается. По Лориным подсчетам, они идут уже часа три. Через час-другой пора будет сделать привал. Она отмечает дерево на горизонте, загадав дойти до него еще до обеда. Еды нет.

Лора улавливает невнятный шум. Он идет то ли слева, то ли справа. Толком не разобрать. У Лоры в сапогах тепло и сыро, и Петер снова улыбается, когда она обтирает ему лицо. И давно возник этот звук? Она оглядывается, но кроме мужчины, на дороге никого нет. Перед глазами только дерево, их цель, и тяжеленная сумка, привязанная к худенькой Лизель. Пока все идет по плану. Так они без труда могут идти еще час или два: дерево, близнецы, Лизель, улыбающийся Петер и Лора и мужчина позади них. И шум.

Теперь Лора начинает кое-что различать. Плоскую черную тень слева, которая движется параллельно горизонту, примерно посередине поля. Наверное, это джип. Колес за склоном не видно. Автомобиль пока еще далеко. Метров пятьсот. А может, и меньше. Лора вытирает Петеру лицо, но тот спит и на этот раз ей не улыбается. Она оглядывается на мужчину, но он держится на прежнем расстоянии — ни ближе, ни дальше. Она переводит взгляд на дерево, веху их голодного обеда, но оно, кажется, все так же далеко. Джип, поднимая пыль, стремительно мчится по сонным окрестностям. Петер спит.

Наверное, надо бежать. Лора не знает, где они сейчас находятся. Чьи эти поля. Может, они вообще уже не в Германии. *Надо бежать.*

— Сворачиваем на поле.

Она дергает узел и пытается его снять, берет Петера в другую руку, чтобы не трясти ребенка. Тот не просыпается. Размотавшиеся на ногах одеяла мокнут под дождем. Лора хватает свесившиеся концы и заталкивает под плащ.

— На поле. Вон на то.

Петер все спит. Дети смотрят, как сестра возит-

ся с одеялами, и не могут поверить, что после долгих часов пути они наконец остановились.

Лора смотрит назад, на мужчину. Тот, заметив джип, тоже прибавил шаг, поднял голову. Лицо под черной шляпой словно белое пятно. Поднял руку, будто указывая на что-то в небе, но смотрит вперед, на них, и то идет шагом, то переходит на бег.

Спящий Петер повис у Лоры на шее. Она больше не ощущает сквозь плащ его тепла. Как будто она держит на руках мешок.

— Йохан, возьми узел, мы должны бежать.
— Сейчас?

Краем глаза Лора видит джип и понимает, что бежать поздно. Лоре уже все равно, что с тем человеком. Она промешкала, и опасность теперь слишком близко.

— Да, давайте.

Она подталкивает Лизель к кювету. Йохан хватается за узел, но с места не трогается. Юри на попе съезжает с поросшего травой склона. Лизель протягивает руки за Петером, но тут возле нее тормозит джип. Двигатель тарахтит в холодном

сыром воздухе.

Лора оборачивается на человека в черном. Он всего в ста метрах от них. Он пытается их нагнать, то и дело переходя с шага на бег.

Солдат всего двое. Тот, что сидит у окна, обращается к ней. Кажется по-немецки. Но она все равно его не понимает. Лора не сводит с мужчины глаз. Он почти их нагнал, а руку так и не опускает. Он что-то говорит, но слов она не различает. *Ему нужно кричать, если он хочет, чтобы мы его услышали.*

Солдат снова к ней обращается. Он американец, но говорит по-немецки, с сильным акцентом.

— Куда вы идете?

Другой солдат шепчет ему что-то на ухо. Мужчина уже совсем близко. Лора видит грязь на отворотах брюк.

Желтое на черном. Лицо его мокрое, такое же, как у Лоры, как у Петера.

— Где ваши родители?
— Я его не знаю.

Показывает Лора на подходящего к джипу

мужчину.

— Что?
— Она говорит об этом другом.
— Я не знаю его.

Лора знает, что они ее не понимают, но теперь, по крайней мере, они оба повернулись и смотрят на мужчину.

У него длинная и тонкая шея, костлявое лицо. Щербатый рот. Челюсть беспрерывно двигается. Он говорит спокойно, уверенно, и кадык на шее ходит ходуном. Подойдя к ним поближе, он замедляет шаг и осторожно опускает руку.

— У вас есть документы?

Спрашивает уже второй солдат. У этого произношение получше. Мужчина теперь почти у самого джипа. Он замедляет шаг, но не останавливается. Он что-то говорит, с трудом переводя дыхание.

— Мы их потеряли.
— Мы идем к бабушке.

Сказав это, Йохан опускает узел на землю. Лора наблюдает за реакцией солдата.

— Тут недалеко. Мы почти пришли. Она ждет нас.

Мужчина подходит и становится рядом с Лорой слишком близко. Лора отшатывается. У нее на руках Петер егозит. Мужчина дотрагивается до дверцы автомобиля. Ногти белые, широкие, пальцы мокрые.

— У меня есть документы, вот они, документы, взгляните. Подвезите нас, пожалуйста, если у вас найдется свободное место. Мы почти пришли. Нас там ждут.

Он переминается с ноги на ногу, месит желтую глину, не прекращая свой неторопливый настойчивый монолог, шарит по карманам темного костюма. Лора не может сейчас смотреть на солдата, потому что следит, не отрываясь, за мужчиной. Прижимая Петера к груди, она прикрывает собой остальных детей, заслоняя их от человека в черном.

— У меня есть документы. В какую сторону вы едете? Если бы вы вдруг подвезли нас до Фульды, вы бы нас очень выручили. Сейчас я их найду. Другие бумаги мы потеряли, вы ведь знаете, как оно бывает, но мои документы при мне. Вот они.

Мужчина протягивает свернутый квадратик набухшей от сырости серой бумаги — удостоверение личности.

Засучив рукава, протягивает его солдатам; кладет на капот бледные голые руки; бубнит и бубнит, пока те совещаются.

— Чем дальше, тем лучше. Знаете, мы идем уже очень долго. Так что если у вас найдется свободное место, дети устали, вы же видите, конечно, совсем ослабли.

Он улыбается и кивает Лоре. Смотрит дружелюбно. Глаза у него неяркие. За ее спиной дети сбились теснее.

— Откуда вы все идете?

На этот раз солдат спрашивает у мужчины, и тот тычет длинной тощей рукой в сырые бумаги.

— Из Бухенвальда. Понимаете? Нас отправили в Бухенвальд, и мы пробыли там до самого освобождения, понимаете?

— Да, но откуда вы шли сегодня, вчера, позавчера?

— Всю эту неделю мы шли из Нюрнберга.

— Любые передвижения строго запрещены.

Разве вы этого не знали?

— Нет, мы не знали. Простите нас.

— Бабушка у вас где?

— В Гамбурге.

Йохан опять тут как тут.

— И в Гамбурге есть, и есть в Хеммене. Мы идем в Фульду, а оттуда до Хеммена рукой подать, как говорит моя сестра.

— Вы все братья и сестры?

— Да.

— А где ваши родители?

— Умерли.

Мужчина тычет в удостоверение, которое держит солдат.

— Вы ведь понимаете? Да? Вот почему мы идем к ома.

Ложь льется с губ потоком. У Лоры бешено колотится сердце; дети молча на нее смотрят. Солдаты держат совет. Мужчина теперь не смотрит на Лору. Он наконец замолчал, но никак не может успокоиться, ему, кажется, не хватает воздуха. Дождь припустил сильнее, грохочет по брезентовому верху джипа. Йохан греет руки о горячий мокрый капот.

Солдаты возвращают серый клочок бумаги. Один выходит и складывает брезентовый верх. Жестом приглашает их в машину, мужчина снова начинает бубнить.

— Спасибо, вы так любезны. Мы, знаете ли, так устали. Ну, давайте же, дети, вперед!

Солдат помогает Лоре выбраться из канавы, кивком подзывает Юри с поля. Лора знает, как хочется детям поехать на джипе. Мужчина из Нюрнберга стал на цыпочки и, замерев, ждет, пока дети усядутся в машину. Он пытается поймать Лорин взгляд. *Он знает, куда идти.* Ведь Фульда находится на пути в Кассель и Геттинген, за ними уже Ганновер, а там и Гамбург. Она ему не доверяет. Ей не хочется притворяться, будто этот мужчина ее брат. Ложь умножает ложь. Трудно не сбиться с пути. Дождь припустил сильнее. Дети очень устали. *При американцах он ничего не сможет нам сделать.*

Усадив Лизель в машину, Лора передает ей Петера. После Юри и Йохана залезает под брезент сама. Мужчина кладет в машину их сумку и узел и устраивается на полу. Солдат поднимает брезент, и вот они уже сидят в темноте, укрытые от дождя, и снова движутся вперед.

* * *

В темноте первым шагает мужчина, дети идут за ним. Лора несет в онемевших руках Петера. Шаги звонко стучат по шоссе. Они идут час с небольшим; сворачивают с широкого шоссе на дорогу поуже, поухабистей. Лорины ботинки высохли и жмут ноги. На обед они ели американский шоколад, и теперь у нее болит живот и подгибаются колени. *Если мы остановимся, он, наверное, уйдет без нас.* При мысли о том, что сейчас он растворится в темноте, она не чувствует облегчения, напротив, ей становится тревожно. *Он смотрел у американцев карту. Он знает, куда идти.* Лоре хочется лечь.

— Нам нужно отдохнуть.

Мужчина резко оборачивается. Кажется, он совсем о них забыл. Останавливается, коротко смотрит на Лору, затем сворачивает в поле. Дети послушно идут за ним. Столпившись вокруг, они какое-то время молча наблюдают, как мужчина закутывается в пиджак и укладывается спать в кустах. Лора баюкает спящего Петера. Лизель садится на землю и плачет. Она хочет есть. Лора на нее прикрикивает. Близнецы спрашивают,

долго ли еще до Гамбурга; последний ли раз они ночуют на улице? Лора и их уговаривает лечь, чувствуя, как над губой и на голове выступил пот, как болят лопатки. Нужно спать.

Пока близнецы расстилают плащи, она шепотом в который раз рассказывает им о бабушкином доме. О том, как в саду растет грецкий орех, как красуется на входе ажурная кованая решетка черного цвета. Кровь приливает к голове, застилая глаза черной горячей пеленой. Она не помнит, как звали бабушкиных служанок, помнит только пироги, которые они пекли. Лора просит Лизель тоже что-нибудь рассказать, но та молчит, только гладит рукой свои остриженные волосы. Мужчина тихо лежит в кустах, но Лора чувствует, что он не спит и прислушивается к их разговору.

Петер, оказавшись на земле, заходится плачем и никак не может успокоиться. Руки у Лоры будто налиты свинцом, запястья и пальцы горят; пусть плачет. Проснувшись среди ночи, она видит, что Лизель сидит рядом и качает Петера. И она снова проваливается в сон, всем телом ощущая холодную и бугристую землю, безжалостно впивающуюся под ребра.

* * *

Светает. Лора жмурится от показавшегося белого солнца и видит над собой склонившегося мужчину; под ободом черной шляпы лица почти не видно. Говорит, что уходит за едой. Болит голова. Не поднимая век, Лора отвечает, что у них нет денег. Лизель стрельнула в нее глазами, но промолчала. Мужчина говорит, что тогда ему потребуется Петер. Лора, путаясь в одеялах, встает, забирает Петера у Лизель и снова ложится. Обиженный и голодный Петер плачет и брыкается. Лора смотрит, как мужчина отходит, и ложится спать; сердце стучит тяжело и бьется о грудную клетку.

Когда она просыпается, ни Петера, ни близнецов нет. Чуть поодаль сидит Лизель и глядит на дорогу.

— Это Йохан придумал. Они взяли Петера и побежали догонять этого мужчину.

Лора, пошатываясь, встает. Дорога пуста, высоко в небе сияет солнце. Ветер холодит мокрую от пота спину; резко пульсирует в висках кровь. Лора замахивается было на Лизель, но та ее от-

талкивает и упавшую начинает больно колотить каблуками по голени.

— Для Петера всегда дают еды.

— Он его украдет.

— Почему ты не дала ему маминых украшений?

— А вдруг бы он не вернулся? Украл их? А теперь он унесет Петера.

— С ним Йохан и Юри, они не дадут.

— Что они смогут сделать?

Лора сквозь слезы кричит на сестру. Лизель тоже плачет. Лора смотрит на дорогу, но от слабости скоро снова ложится. В ушах шумит, перед глазами все плывет.

Просыпается. Их по-прежнему нет. Лизель смотрит на дорогу; Лора дрожит и потеет под одеялами.

* * *

Ближе к вечеру Йохан протягивает ей завернутую в чистую тряпочку кашу, и она ест. Они раздобыли американские мясные консервы, хлеб и жирное молоко в кувшинах. Наевшийся Петер сидит возле Лоры и улыбается. Щечки красные и

сухие, никак не проходят. Мужчина колотит по банке с консервами камнем, пытается открыть. Близнецы зовут его Томасом. Томас говорит, что недалеко отсюда есть хорошее место для ночевки.

* * *

Если закрыть на сеновале ставни, то станет достаточно темно, чтобы спать. Петер хнычет в соломе, и Лизель дает ему вместо соски скатанный из хлеба шарик. В щели дощатой крыши пробиваются острые лучи света, тускнеющие с наступлением сумерек.

Под одним одеялом спят близнецы, под другим — Лизель, Петер и Лора; Лоре плохо, у нее болят глаза. Томас сидит поодаль у стены. Прислонился головой к балке, но не спит. Лора изо всех сил старается не уснуть, следит за ним. Но сарай плывет и меркнет в наступающей темноте, и Лора засыпает.

Ночью в своем углу Томас жжет спички. От резанувшей глаза вспышки Лора просыпается. Балка, а рядом черная тень. Дрожащее в ладонях пламя, напряженная линия шеи и плеч. Смотрит в одну точку. После третьей вспышки поднима-

ется Юри и начинает звать мутти. Томас тушит спичку и укладывается. Воцаряется тишина. Лора опять засыпает, но тут Томас зажигает новую спичку. Эта история продолжается, пока в прорехах крыши не начинает светлеть небо. Лора поднимается, а Томас ложится спать.

* * *

Солнце припекает голову и руки. Боль не прошла, но притупилась, и Лора выходит наружу, заняться делами.

Лизель боится снимать чулки. Оказывается, это очень больно. Волдыри на ногах воспалились, а кровь запеклась. Лизель кричит, и Лора советует ей опустить ноги в ручей, чтобы чулки было легче снимать. Лора бережно омывает холодной водой воспаленные ступни и распухшие сестрины пальцы. Лизель ложится на спину и греет свои пятки на солнышке. Говорит, так быстрее заживет. Лору это смешит.

Петер спит в траве у ручья, а Лора медленно входит в воду. Вода приятно холодит сухую кожу; Лора снимает одежду, тщательно полоскает ее, стараясь прогнать оттуда болезнь. Еще немного кружится голова, ощущается легкая слабость. Все

время хочется есть. Лора оглядывается на сарай, на растущие возле него деревья. Видит, как вокруг сарая носятся братья. Томас собирает дрова на костер. Он стоит среди деревьев к ней спиной. Лора, обнаженная, выходит из воды, надевает платье и быстро застегивается. Потом развешивает на кустах нижнее белье и возвращается к ручью, чтобы постирать все остальное. Подходит Лизель, присаживается к воде рядом с ней.

— Томас говорит, что о Гамбурге говорить опасно.

— Когда он такое сказал?

— Вчера, когда ты спала.

— Что он знает о Гамбурге?

— Я сказала ему, что в Гамбурге наши мутти и фати, а он сказал, что лучше никому о Гамбурге не говорить, потому что у нас нет разрешения на переход границы.

— Какой границы?

— На британскую территорию. Гамбург там. Мы сейчас находимся на территории американцев. А еще есть русская зона и французская.

— Да знаю я, дурочка. Ты ведь не рассказала ему о лагере?

— Нет! Я сказала, что мутти в Гамбурге. Я не дурочка, Лора.

— Три тщательней. Смотри, Лизель. Глянь, сколько еще грязи.

— И все равно это враньё. Мутти всегда учила, что врать плохо.

— Все теперь по-другому, Лизель, вот так вот. Все изменилось.

Боль снова жжет глаза.

— Но Томас немец. Мы даже немцам должны врать?

— Мы его не знаем. Просто мы не должны разговаривать с теми, кого мы не знаем.

— Я его знаю. По-моему, он хороший. Он все время нам помогает. Принес нам еды, когда ты болела, и нашел этот сарай. А еще он говорит, что поможет нам перейти границу. Сказал, что одним нам идти опасно.

— Да что он знает? Разве мутти послала бы нас в Гамбург, если бы это было опасно? Глупости! Неси сюда свои чулки. Мы их тоже постираем.

Лизель неуклюже ковыляет на берег, выворачивая ступни так, чтобы не тревожить ранки.

— Томас говорит, что русские нас ненавидят. Нас все наши враги ненавидят, и никто нам теперь не верит, поэтому Германии больше не

будет, а будут только чужие территории. Лора, это правда?

— Лизель, я тебя все равно больше не слушаю, так что можешь успокоиться.

От бликов на воде режет глаза.

— А еще он сказал, что всех накажут. Особенно мужчин. И фати накажут?

— Что ты ему рассказала о фати?

— Ничего.

— Анна-Лиза!

— Я сказала, что он в Гамбурге, с ома. Как ты велела.

— А еще что?

Лора щиплет Лизель так, что у нее на руке синеет кожа.

— Ой! Лора! Я ничего такого ему не сказала. Он спросил меня, где мутти и фати, и я ему сказала про Гамбург. Сказала, что мы идем туда к бабушке, как ты и велела. И все.

Лора отпускает ее руку, вытирает заливающий глаза пот.

— Они ничего плохого фати не сделают, ведь правда?

— Нет. Конечно, нет. Фати в безопасности. Все, хватит. Не будем больше об этом говорить.

Каждая берет по чулку, отмывает от крови и кладет сушиться.

* * *

Томасу удается уговорить их не идти дальше, пока Лора не выздоровеет. Ребятня радуется двухдневному отдыху и вовсю купается в ручье, но Лоре неспокойно, она все время следит за Томасом. Гадает, что ему известно о наказании. Ждет расспросов о мутти, ома, Гамбурге, о фати, но он ни о чем ее не спрашивает. Когда Томас встречается с ней взглядом, он кивает, слегка улыбается, но Лора никак не может понять выражения его глаз.

На третье утро, едва рассвело, Лора, убедившись, что Томас спит, достает из сумки фотографии фати и уходит из сарая к деревьям. Там выкапывает руками ямку поглубже и, похоронив снимки, хорошенько утрамбовывает глину, как следует присыпая сверху веточками и листьями. Потом, чтобы запутать следы, пробегается среди деревьев, а перед тем как вернуться в сарай, тщательно моет в ручье руки.

Томас как спал, так и спит в углу, спиной к стене. Лора ложится рядом с сестрой и братьями и укутывается в одеяло. Фотографий теперь уж точно никто не отыщет, и все-таки она не может сомкнуть глаз.

* * *

Полчаса назад, как только показалась река, дети и Томас свернули с дороги. Шли они по-прежнему к реке, но не напрямик, как раньше. Они подходили к ней наискосок. Двигаясь вдоль реки, они все не решаются переправиться на тот берег. Трава стоит высокая, а земля под ногами сплошь изрыта; бредешь, как будто уже в воде.

Впереди, где-то через полкилометра, должен быть мост. Но из воды торчат только ничем не перекрытые каменные опоры: мост был взорван, а обломки унесло течением. На дальнем берегу поблескивает наполненная водой воронка, дорога вся разбита. От танков в раскисших берегах остались глубокие борозды, теперь засохшие на солнце.

Молча идут они вдоль реки, держась в стороне от заграждений, затопленных вровень с рекой. Речные заграждения разрушены, земля здесь

превратилась в болото. Вода просачивается в дырки на ботинках. Томас несет сумку, Лизель — Петера, у Лоры на спине привязан узел. За ней идут Йохан и Юри. Лора слышит, как хлюпают их ботинки, ступая на землю в такт друг другу и в такт ее шагам.

Дорога, по которой они идут, перед мостом резко поднимается вверх. Братья бегом взбираются на вершину и останавливаются там, где дорога обрывается. Из раскуроченных взрывом плит торчат покореженные металлические пруты. Плюхнувшись на живот и свесив головы, мальчишки аукаются с речной гладью. Смех эхом разлетается среди каменных опор. Томас останавливается. Делает шаг назад и берет Петера у проходящей мимо Лизель. Лизель семенит рядом, пытаясь не отставать.

— Взорвали этот мост — значит, взорвали и другие. На день-два пути мостов нет, я думаю.

Лора забирает у Томаса Петера, а близнецы скатываются обратно.

— Может, переплывем ее, а, Томас? Там дно видно.

— Она не глубокая.

— Дно видно?

Томас спускается к воде посмотреть. Чтобы дать отдохнуть спине, Лора садится на корточки, а Петера сажает перед собой. Река широкая. Метров сорок.

— Я не хочу ее переплывать, Лора.
— Да, Лизель, я знаю.
— Она не глубокая. Ну скажи ей, Лора. Мы сверху видели дно.
— А я все равно не хочу.

Томас кричит, чтоб они спускались. Дно и вправду видно, но глубина не меньше полутора метров. Вброд не перейти. Возле опор, из-за широких насыпей, мельче. Томас жестом зовет Лору к воде.

— Плыть придется только между опорами, а возле них уже мелко.
— Слишком глубоко.
— Но мы будем плыть с передышками.
— Лора, я не хочу.
— От отмели до отмели — всего четыре метра.
— Всего четыре, чепуха.
— Помолчи, Йохан.

Томас подступает к Лоре. Та выпрямляется.

— Мы намочим вещи.

— Сейчас жарко. Высушим их на том берегу, разведем костер, переночуем.

– Сумки слишком тяжелые.

Снова Лора садится на корточки, перекладывает тяжелый узел на плечах. Томас идет вдоль берега в поисках выброшенных водой досок. Мальчики — за ним.

— Бери только большие, Юри, в два раза больше этой. Сколько мы еще отмахаем, пока найдем новый мост. И тот может оказаться не лучше нашего. Потеряем день, два дня; а то и больше.

— А если подождать лодку?

— Какую лодку? Лодку мы будем ждать еще дольше.

Лизель огорченно топает ногой.

— Ну хорошо, а как мы перенесем Петера?

— Его понесу я. Привяжем его ко мне, и я с ним поплыву. Все очень просто.

— Нет.

Томас связывает дощечки так, чтобы получилась рама. Один край скрепляет носовым платком, другой — рубашкой, третий — Йохановой майкой. Вытаскивает из сумки чулок

Лизель и закрепляет последний угол. На раму он кладет сумку и несет к реке. Сумка на воде отлично держится. Правда, провисает посередине, перевешивает на один бок, но не тонет. Томас привязывает к раме второй чулок.

— Вот так я буду ее за собой тянуть, видишь? Сначала переправим сумку, а потом я вернусь за узлом.

Лора не поворачивает головы. Смотрит на другой берег, на убегающую вдаль дорогу.

— На это уйдет полчаса. Мы высушим вещи и вечером можем еще немного пройти.

Лора вцепляется в концы одеяла, которым привязана к ней ее ноша.

— Или останемся там на ночлег.
— Петера понесу я, а не вы.
— Отлично.

Сняв ботинки, Томас связывает шнурки. Перебрасывает ботинки через шею, застегивает пиджак и входит в воду, ведя за собой свой плот. На глубине по пояс он, зажав чулок зубами, начинает плыть, вместе с сумкой направляясь к первой опоре. Там он выходит из воды и вытас-

кивает на насыпь сумку. Обернувшись, машет рукой. Струя воды дугой выливается из рукава, и близнецы смеются и машут в ответ. Они устремляются к воде, но Лора их одергивает.

— Да подождите! Я доплыву до того берега, а потом вернусь и помогу вам.

Томас спускается по насыпи к воде и плывет дальше, к следующей опоре. Присев у кромки воды, мальчики наблюдают за Томасом и связывают свои шнурки так, как это делал он. Взяв Лизель за руку, Лора просит ее тоже разуться.

Томас уже на середине реки. Плывет не останавливаясь. Он больше не оборачивается, и Лора рассеянно гадает, вернется ли он за ними. Она вспоминает, что в сумке еда и одежда. Последняя банка мясных консервов! Денег нет, ценностей тоже. Ну и пусть. Невелика потеря. Томас выходит на берег, таща за собой сумку. Но он не оборачивается и рукой больше не машет. Поднимается по дороге и исчезает из виду. Мальчики вскакивают на ноги и смотрят на Лору. Та пожимает плечами, продолжая подсчитывать в уме. Банка консервов, полбуханки хлеба, три одеяла и пальто Лизель. У них остаются плащи, два одеяла, пальто близнецов, куртка Петера, мамина брошка, деньги. А

еды не остается.

Тут на дороге опять показывается Томас. Он спускается к реке. У него в руках рама, но уже без сумки. Пиджак он тоже оставил там. Его грудь ярким пятном белеет на фоне бурого речного берега. Помахав им, он снова пускается вплавь, делает передышку только у средней опоры. Перед собой он толкает раму, и еще в воде, хотя они не сразу могут его расслышать, начинает что-то говорить. В мутной воде сверкает его тело, лопатки похожи на острые крылья.

— Там недалеко есть подходящее место для костра. В общем, я развесил вещи и одеяла по кустам. Они быстро высохнут. Не очень-то сильно они и промокли. К тому же там много дров.

Он позеленел, ему стало трудно дышать. Переводя дух, он садится на берегу, а Лора и Лизель тем временем туго завязывают плащ и узел. Близнецы, уже навесив на шею связанные ботинки, быстренько стаскивают с себя рубашки и прячут под майки. Выбрав одеяло потоньше, Лора разрывает его надвое. Прижимает Петера спиной к своей груди, и Лизель обвязывает их обоих одеялом. Встает и Томас.

— Нужно привязать его к спине, тогда он будет над водой, когда ты поплывешь.

— Я буду плыть на спине.

Лора обвязывается вторым куском одеяла и затягивает узел у Петера на животе. Пока они спускаются к воде, Петер, у которого связаны руки, брыкается в одеяле и недовольно хнычет. Близнецы укладывают узел на раму. Томас проверяет крепления и показывает им, как надо плыть с рамой посередине. Он предлагает помощь Лоре с Петером, но Лора считает, что он должен помочь Лизель.

Первыми идут близнецы: с узлом в руках они заходят по пояс в воду, потом — старательно и серьезно — плывут к первой опоре. Юри выбирается на отмель и машет им рукой. Йохан смеется в воде. Лора тоже им машет, Томас аплодирует. Мальчики отправляются к следующей опоре.

Лизель разрешает Томасу взять себя за руку, и они заходят в воду. Лизель то и дело оглядывается на Лору, но все-таки идет, идет, пока вода не доходит ей до пояса.

— Лора, она холодная!

— Ничего страшного.

Визжа и брызгаясь, Лизель окунается в воду и плывет. Рядом с ней плывет Томас. Вскоре она плывет уже спокойно и, добравшись до опоры, машет Лоре; Лора видит на ее лице улыбку.

А близнецы все плывут, останавливаясь у каждой опоры. Вот уже больше половины пути позади. От холода мальчишки нахохлились, но несмотря на это они толкают плот дальше, продвигаются вперед, снова и снова бросаясь в воду. Наконец Лора, привязав к поясу ботинки, входит в воду. Томас, не выходя из воды, помогает Лизель выбраться на отмель у второй опоры.

— Стой! Подожди. Я вернусь за тобой, когда всех переправлю.

Не обращая на Томаса внимания, Лора заходит все глубже. На животе возится Петер, недовольный своим заточением в одеяле. Упершись мягкой макушкой ей в подбородок, он пытается на нее посмотреть. Часто дышит. Лора придерживает его руками, опасаясь, что он, хоть и туго привязан, выскользнет из одеяла. Острые камешки на дне реки сменяются мягким, шелковистым и теплым илом. Ноги погружаются в него по щиколотки. Вода тяжело волнуется вокруг ног, а Лора заходит в воду все дальше и все реши-

тельнее.

На глубине вода намного холоднее. От нее ноют щиколотки и судорогой сводит живот. Под напором течения подгибаются колени. Вот ножки Петера касаются воды, и он плачет и рвется из одеяла. На солнце искрятся ледяные брызги. К ним уже плывет Томас. Он оставил Лизель у второй опоры и кричит, чтобы Лора шла на берег. Она поворачивается к нему спиной и ложится на воду, не отпуская Петера и работая только ногами.

Холод не дает глубоко вдохнуть. Ботинки на поясе уже полны воды и тянут вниз. Чтобы удержаться на поверхности, Лора начинает грести руками, но поздно — вместе с Петером они уходят под воду.

Когда они вновь оказываются на поверхности, он кричит как резаный у нее на груди и изо всех сил пытается высвободить руки. Лора чувствует на языке вкус речного песка. До дна далеко. Шловка Петера снова скрывается под водой. Она работает ногами, кашляет, тщетно пытается удержать равновесие и снова погружается под воду. Сквозь толщу воды, ледяным обручем стянувшей горло, доносится плач Петера. В отчаянно барах-

тающиеся ноги тяжело толкаются ботинки. Вот голова Петера снова показалась над водой, но сам он вместе в Лорой по-прежнему в холодной реке. В рот хлещет вода. Они опять тонут.

И тут под них подныривает Томас; его руки хватают Лору за плечи выталкивают ее и Петера по пояс из воды. Лору тошнит, хочется плакать. Томас вытаскивает ее на насыпь. Бедняжка совсем продрогла. Поставив ее на ноги, Томас развязывает одеяла. Он совсем не сердится, как думала Лора. Петер немного успокоился, с рева перешел на плач. Как только ему освобождают руки, он тянется к Лоре и утыкается лицом в ее шею. Лизель стоит у соседней опоры и, обхватив ее каменный ствол руками, смотрит на них; с дальнего берега смотрят близнецы. Томас кричит им, чтобы разводили костер, а Лизели — чтобы дождалась их. Та дрожит, молча кивает.

Томас отрывает Петера от Лориной груди, и он, снова завизжав, яростно молотит кулачками и ножками в воздухе. Тогда Томас водружает его Лоре на плечи, повыше, чтобы малыш мог держаться руками за сестрину шею. Отжав мокрые одеяла, Томас стягивает их у детей на плечах так туго, что Петер кричит. Но Лора не протестует.

Проверив надежность узлов, Томас вешает себе на шею Лорины ботинки, входит в воду и протягивает Лоре руку.

— Готова?

Лора поначалу колеблется; смотрит на руку; на бледную, почти прозрачную кожу; между запястьем и локтем видит татуировку. Какие-то цифры. Едва заметные. Кажется, будто под кожу просочилась вода и смазала краску. Томас берет ее за руку, и Лора послушно опускается в воду. Петер хватается за шею, но на этот раз сидит тихо. Томас сопровождает их до следующей опоры, слышит, как в ухо ему сопит Петер. Это ободряет Томаса. Лизель помогает сестре взобраться на насыпь, и пока они несколько минут молча отдыхают, Томас остается в воде. Дальше плывут все вместе. Добравшись до последней опоры, машут ожидающему на берегу Юри.

— Мы разожгли костер!

Юри указывает за холм. Перед самым берегом Петер опять принимается плакать, но теперь уже просто от холода. Они выходят из воды. У Лизель на губах синяя каемка, а Лора уже не чувствует камней под ногами. Никто не может развязать

Петера, даже у Юри руки еще не отошли от холода. Они поднимаются по дороге. На откосе по ту сторону холма развешаны на кустах их вещи и одеяла, а посередине, у костра, сидит Йохан. Он открыл острым камнем единственную банку с консервами и нарезал хлеб, бережно разложив куски на плоских камнях вокруг огня.

— Хлеб намок в сумке.

* * *

Лора просыпается от голосов. Мальчики шепчутся по другую сторону костра. Возле нее спит Лизель с Петером, от догорающего костра исходит жар. Она лежит неподвижно и прислушивается к разговору, отлично различая братьев по голосам. У Юри шепоток писклявый, тихий; у Йохана погромче; а третий голос, низкий и ровный, принадлежит Томасу.

— До этого я был на востоке. Пока они еще воевали.

— Кто? Амики или русские?

— Русские. Я был в лесу к востоку отсюда, а лес кишел русскими солдатами.

Томас указывает куда-то за горизонт, на фоне

синего ночного неба виднеется зубчатый силуэт его рукава.

— И ты в них стрелял?

— Нет, у меня не было оружия.

— Когда я стану солдатом, у меня будет оружие.

— А ты с ними дрался?

— У них было оружие, поэтому мне приходилось прятаться.

— Они тебя нашли?

— Нет. Они столько всего воровали, эти русские. Грабили деревни. А потом большинство вещей опять выбрасывали. Костюм, что на мне, я подобрал в том лесу.

— А после?

— Ночью, когда они перестали стрелять, я убежал обратно на американскую территорию.

— Чего ж ты убежал? Надо было стащить у русских оружие, пока они спали.

— От русских лучше держаться подальше. Как бы то ни было, когда я вернулся к американцам, мне сказали, что война закончилась. Я давно уже этого ожидал. Несколько недель. Как только пришли русские, все сразу стало понятно.

«Ложитесь спать», — говорит Лора близнецам.

И братья затихают, а Томас ворочается, устраиваясь под одеялом. Лора с закрытыми глазами лежит и прислушивается к его возне. Спустя несколько минут Томас садится, подкидывает в костер дрова, раздувает потухающее пламя. Потом перебирается к стволу дерева в метре-другом от Лоры.

Лора пробуждается от пения птиц. Небо пока еще темное, и костер давно потух. Возле дерева проснулся Томас.

Лора снова открывает глаза, ее волосы влажны от росы, а Петер весь дрожит. Над самым горизонтом показалась полоска света. Посмотрев под дерево, Лора видит, что Томас спит. Распластался на земле, из рукава торчит бледная и тонкая рука. На ней видна татуировка, от локтя к запястью тянутся рельефно проступающие вены. Лора бесшумно выкатывается из плаща на холодную землю, поближе к простертой руке. Ближе нельзя, иначе она его разбудит. С этого расстояния можно разглядеть темные, процарапанные на бледной коже цифры. Зеленовато-синие линии, кое-где нежно-розовые. Недавно зажившие раны покрыты крохотными чешуйками сухой кожи. Лора разглядывает Томаса, затаив дыхание, бо-

ясь, что, если она пошевелится, он проснется. Но он спит, только от разгорающейся зари движутся под веками глаза.

Снова закутавшись в плащ, Лора ложится на спину и прижимает Петера к себе. Небо у самого горизонта золотое, а выше — синее. Над полями стелется молочная дымка.

* * *

В деревнях им говорили: через границу без документов никого не пускают. Вдоль границ снуют джипы, английские и американские. У кого нет документов, отсылают обратно. А если документы не те, отправляют прямиком в тюрьму. Томас спрашивает, что значит «не те» документы, но никто не знает; говорят только, что видели все своими глазами.

Томас разводит на обочине дороги костер и закапывает раздобытую Лорой картошку в угли. Все молча в ожидании смотрят на пламя. Еще рано, небо едва сереет; впереди долгий день пути. Лора, обжигаясь, чистит для Петера горячую картофелину. Томас, а следом за ним и близнецы, едят свои порции вместе с черной кожурой, пачкая лица сажей. У Лизель опять кровоточат

десны, и она отказывается есть. Трет их, показывает Лоре пальцы, все в красном, и плачет. Лора бросает в нее запеченной картофелиной, ешь, а не то в ближайшей деревне попрошу соли и насыплю тебе на десны. У самой Лоры на нижней губе вскочила язвочка, и теперь, сердито слушая сестрино нытье, она то и дело трогает ее языком.

* * *

Внутри баржи темно. Шум мотора заглушается сухим хрустом угля под ногами. На случай проверки лодочник выдает им старые мешки, чтобы было под чем спрятаться. Он нервничает, боится, что Петер станет плакать. Похоже, он вот-вот передумает. Томас спокойно, но настойчиво его уговаривает, сует в руку мамину брошку. Отводя глаза, лодочник не без колебания наконец соглашается. Он заталкивает всех в трюм. А на плечах остается черная угольная пыль — следы от его рук.

В трюме тесно. По бокам и у передней стены громоздятся кучи угля. Дети и Томас пробираются вдоль бортов туда, где их будет не видно из люка. Первой ползет Лора, уголь больно впивается ей в коленки. Испуганная грохотом и темнотой

Лизель вцепляется Лоре в рукав.

Близнецы пристраиваются у нагроможденного груза, рядом садится Лизель. Лора лежит рядом с Томасом, положив Петера себе на живот. При закрытом люке темень наступает, как в колодце. Хоть глаз коли. Лора вглядывается в темноту, открывает глаза шире, но все равно ничего не видно. Тогда она переключается на звук, пытается расслышать его сквозь грохот. Вот шуршат по углю братья, хрипло кашляет Лизель. Петер поплакал и теперь лежит тихо — успокаивающий груз на Лориной груди. Рядом с ее рукой лежит рука Томаса, и при вдохе жесткий шерстяной рукав его пиджака касается ее кожи. Она поворачивает к нему лицо, но видит черноту. Щекой чувствует его теплое дыхание. Влажное и чуть кисловатое. Лора слегка придвигает голову, и дыхание прерывается. Она тоже замирает. Томас снова начинает дышать.

Лодочник упрямо твердит, что не может рисковать, и просит их сойти. Снова и снова просит прощения, разворачивает носовой платок с маминой брошью. Говорит, что, по крайней мере, до границы им сейчас ближе, всего полчаса ходу. Он суетится, говорит без остановки; отрезает им

испеченного женой домашнего хлеба, отсыпает угля на костер.

Дети, сонные из-за долгого сидения в темноте, щурятся на вечернем солнце и отряхают с коленей и рук черную пыль. Петер плачет и кашляет, и они прощаются с лодочником. Лора несет Петера впереди, яростно чеканя шаг. День ушел, надвигается тьма. А вместе с ней опять тревога. Томас, ссутулившийся и грязный, бредет в сумерках, понурив голову: она старается на него не смотреть, не хочет вспоминать, как лежала рядом с ним близко-близко. Скоро пора искать ночлег, но до тех пор Лоре хочется еще хоть немного приблизиться к родному дому. Она держится реки, как наказывал лодочник, строго на север.

* * *

— Наша мать у американцев.

Томас кивает. Дети плетутся, сзади. Через ботинки Лора чувствует камни на дороге.

— В лагере. Американском.
— Понятно.
— Это не тюрьма, где преступники.
— Да.

— Пожалуйста, не говори никому, на всякий случай.

Томас еще раз кивает. Они проходят две деревни. Там им дают молоко для Петера и теплой воды, чтобы вымыться. Лора находит для Лизель яркую тряпку на голову, а Томас бреется. Они идут дальше. Томас с Лорой идут впереди.

— Я был в тюрьме.
— Сколько?
— Очень долго.
— А мутти тоже будут держать долго?
— Не знаю. Я не знаю, как в американских тюрьмах.
— Она в лагере.

В третьей деревне они делают передышку, пьют у колодца. У Йохана рвется башмак: подошва шлепает при ходьбе. Лора перевязывает башмак тряпицей. И они идут дальше.

— Ты был в тюрьме у русских?
— Нет, я был в немецкой тюрьме. Меня возили по разным тюрьмам. И заставляли нас там работать.
— В нашей тюрьме?
— Да, пока не пришли американцы.

Снова печет солнце. Какое-то время они шагают молча, задумавшись о сказанном. По спине под тюком струится пот. Томас идет в пиджаке и в шляпе. Лицо его взмокло.

— Ты преступник?

Томас сдвигает набок шляпу, не отвечает.

— Что ты сделал?

Его челюсти раздвигаются в неком подобии улыбки.

— Перед тем как угодил в тюрьму?

Лора пожимает плечами. Ей больше не хочется этого знать. Она оборачивается на бредущих позади детей; она знает, что сказала слишком много.

— Я воровал. Деньги. И имена.

Лора шагает с Томасом бок о бок, молчит и надеется, что он больше ничего не скажет.

— А где ваш отец?

Лора резко отстает. Томас продолжает идти, не оборачиваясь, но тоже замедляет шаг. Детские шаги все ближе, все слышнее, Лора уже различает лепет малыша. Она пристраивается за Томасом

и, глядя ему вслед, идет, соблюдая дистанцию между ним и своей семьей.

* * *

— Когда я тебя позову, ты должна молчать, я сам все скажу. Я ваш брат. Ваши папа с мамой умерли. Наши папа с мамой. Просто соглашайся. На этот раз можно сказать, что мы направляемся в Гамбург, но говорить лучше буду я. Притворись, что не понимаешь, если тебя о чем-нибудь спросят. Я сам им отвечу. Запомни, я ваш брат.

Томас отправляется к пограничному пункту. Они стоят и наблюдают, как он говорит, жестикулирует, переминается с ноги на ногу. Закатав рукава, он протягивает документы. Солдаты их разглядывают, а он все говорит, жестикулирует и пожимает плечами. Получив обратно документы, он возвращается ни с чем. Не глядя на Лору, виновато качает головой. Тогда он уводит их обратно по той дороге, по которой они пришли. И как только контрольная будка скрывается из виду, они сразу берут в сторону и держатся вдоль границы.

Идут по опушке леса весь вечер без остановки. А с восходом луны сворачивают в лес. Похоже,

привал делать Томас не собирается. Его черный пиджак растворяется в густой темноте, и Лора его почти не видит. Она бросается за ним, зовет, но дети слишком устали и не могут бежать вместе с ней. Она изо всех сил напрягает зрение, чтобы во тьме на что-нибудь не налететь, останавливается, снова зовет Томаса. Прислушивается, но под ногами только хруст веток да шорох листьев.

Томас наконец откликается, и они находят друг друга.

Вернувшись к детям, они ищут место для ночлега. Засыпая, Петер тихо плачет, и Лора убаюкивает его.

* * *

Утром они выходят к железной дороге и решают идти по ней. За весь день ни души. Только к вечеру они набредают на маленькую железнодорожную станцию. Станция разрушена. В воронках живут кролики; кругом руины; однако пути восстановлены.

На платформе толпятся мужчины. Такие же тощие, как Томас. Лора наблюдает, как он с ними разговаривает. У них щербатые рты и впалые

щеки; руки и ноги с опухшими запястьями и щиколотками кажутся неестественно длинными. Некоторые предлагают ждать поезда. Другие говорят, что надо попробовать перейти границу. Кое-кто из них уже пытался. В большинстве случаев заворачивают обратно, но бывает, что кому-то везет. Говорят, если идти по дорогам, то стрелять не будут. Тут Петер просыпается и начинает плакать, и Лора идет обратно к детям, помогает Йохану заново подвязать ботинки.

Томас, взволнованный, поспешно возвращается.

— Мы зашли на русскую территорию, пересекли границу. Скорее всего, в лесу. Ночью, наверное.

Он крепко сжимает Лорину руку.

— Нужно идти обратно в тот лес. Идти прямо сейчас, не делая привала. Отоспимся, когда рассветет, а ночью снова пойдем.

— Но как же нам идти, мы шли целый день. Давай переночуем здесь, Томас. Прошу тебя. Я не хочу снова спать под открытым небом.

Томас отводит ее от детей, уговаривает шепотом. Его лицо так близко, что поля шляпы упираются ей в макушку, но глаза смотрят в

сторону. На стоящих на платформе мужчин, на деревья.

— Ночью безопаснее, гораздо безопаснее.

— Может быть, подождем поезда?

— Нам необходимо пробраться через лес на британскую территорию. Подальше от солдат.

— Но эти люди сказали, что они стреляют, только если сойти с дороги.

— Они имели в виду, если ты побежишь с дороги прямо на границе. А нам лучше держаться подальше от солдат, вообще от русских.

— А что, если русские везде?

— Не везде. Просто нужно быть осторожными.

— Я думаю, нам лучше подождать поезда, Томас.

— У вас нет документов. Документы есть только у меня, и тех недостаточно. А в лесу можно спрятаться. На дороге спрятаться негде.

Томас оборачивается к людям на платформе. Лора смотрит на его ресницы, на пульсирующую под кожей жилку.

— Это русские?

— Нет, в основном немцы.

— А почему они такие?

— Они были в тюрьме.

Кожа вокруг глаз у него тонкая, почти прозрачная.

— В той же, что и ты?
— Нет, они были в тюрьме для солдат.

Скользнув взглядом по ее лицу, он снова смотрит на лес.

— Ни слова об этом, понимаешь?

Лора кивает.

— Скоро совсем стемнеет.

Отпускает руку. Лора сзывает детей, перевязывает узел на спине повыше. Возвращаясь по рельсам в лес, они проходят мимо станции. Мужчины, улегшись рядком на платформе под остатками крыши, спят. Только посвистывают да постанывают во сне. Лора глядит на них поверх темного силуэта Томаса. Особенно привлек ее внимание мужчина, лежащий ближе всего с краю, — с большим бугристым черепом и дряблой кожей. Станционная крыша загораживает его от лунного света, поэтому не видно, закрыты или открыты у него глаза.

Они уже далеко зашли в лес, когда Томас наконец разрешил лечь. В полусне Лоре чудится, что

деревья — это людские скелеты. Корни — ноги, наполовину засыпанные землей, ветви — пальцы, которые, того и гляди, вцепятся в волосы. Сквозь черную листву Лора видит луну, чувствует, как в уши сбегают слезы. Кладет Петера на грудь, греет о его теплую спинку замерзшие ладони. Он шевелится, но продолжает спать, и Лора тоже засыпает.

Подъезжает поезд, чтобы перевезти их через границу. Билеты лежат в ранцах, столько раз сложенные, что все разлохматились. Лора протягивает их кондуктору, а тот заводит их в вагон и заставляет лечь. Люди, которые заходят после них, ложатся на верхние полки. Лоре жутко от этого зрелища.

* * *

Томас поднимает их еще до рассвета и ведет дальше, пока совсем не светает, Где-то там, впереди, за деревьями, британская территория. Томас в этом не сомневается и, расстилая для них плащи, ободряюще говорит, что осталось немного. Он нашел лощинку, заросшую кустарником: в ней можно переждать до ночи. Томас рассаживает каждого по отдельности, укрывает ветками.

Потом выбирается наверх, чтобы проверить, хорошо ли они спрятаны; снимает с головы Лизель красную тряпку, которая маячит сквозь листву.

Томас просит сидеть очень тихо, целый день. А еще нужно набраться сил перед ночным переходом. Лора прислушивается к шепоту Томаса, угадывая в кустах его едва заметные движения. Ей не видны Лизель и близнецы, отделенные от нее густой растительностью. Березы покрыты светло-зелеными листочками, дрожащими на ветру. Земля в лесу укрыта мшистым ковром, мягким и сыроватым. Петер крепко спит на Лорином плече. У него припухшие, желто-серые веки, на висках просвечивают голубые жилки. Лора проводит пальцем по его высокой скуле, гладит по голове, ощущая ладонью туго натянутую и сухую кожу. Закрыв глаза, пытается вспомнить, когда она его кормила в последний раз. В кронах деревьев поют птицы. Тишина и прохлада. От влажной земли промокла юбка. Сквозь деревья сочится запах горячей еды.

Лизель с близнецами шепотом обсуждают, что бы это могло быть. Сходятся на мясе. Лора велит им угомониться и спать, а у самой подводит живот и от обильной слюны ломит челюсть. Йохан

переползает к ней по кустам, вцепляется в платье голодными пальцами.

Томас тоже уловил запах. Он подается вперед, просовывает сквозь листья голову и пытается уловить, откуда доносится запах: когда налетевший порыв ветра уносит дух пищи, он немного пятится назад и опять его поджидает. Встает и выбирается из лощины. Пробираясь мимо Лоры, шепчет, чтобы они оставались на месте, сидели смирно. И ждали. Она с надеждой думает: еда сейчас куда важнее, чем граница. Слушает его шаги, треск веток под ногами. Перекладывает Петера на другое плечо и вслед за Томасом идет к еде.

За ней по пятам идут Лизель и близнецы. Томаса нигде нет. Она останавливается и озирается по сторонам.

Перед ними открытое пространство, а вдали дом, окруженный деревьями. Людей не видно, но из трубы поднимается дым. До дома метров, наверное, сто. Длинными рядами высится трава, а садовые кусты усеяны маленькими зелеными ягодками. Черной тенью Томас осторожно подбирается через лес к дому.

— Вон он!

Йохан указывает туда рукой, в утренней тишине далеко разносится его голос. Лора сердито шипит, пытается поймать его за руку. Но тот уже мчится через лес. На солнце грязно-белым пятном вспыхивает сквозь листву его рубашка.

Лизель с Юри и Лора садятся на мох, кровь пульсирует в голове. Томас рассердится. В холодных листьях застыли минуты. Над головой распевают птицы. Петер спит на коленях. Рядом с ней ложится Лизель. Лора погружается в дрему.

Над открытым пространством раздается крик Йохана, потом Томаса. Юри вскакивает на ноги. Лора слышит лязганье металла и топот ботинок; кто-то бежит, ломая ветки. Лизель поднимает голову, сонно поводит глазами. Сквозь кусты Лора видит бегущего к ним через поле Йохана. Слышит, как толчками, будто икота, вырывается из его груди дыхание. Выстрел, третий, четвертый.

Лора видит, как взмывают в воздух птицы, но звука не слышит. Ныряет вниз, ударяется подбородком о корень, хрустнув зубами. На глаза наворачиваются слезы, земля, сырые листья пронзают все тело холодом, и к ней возвращается звук. Юри зовет брата. Свистят пули. Лора дергает его на себя, на землю.

— Он упал, Лора.

Юри хотел подняться. Она не пускает, держит его за волосы, взглядом ищет Лизель. В глаза лезут ветки, Юри рвется из рук.

— Где он?

В высокой траве Лора видит рубашку Йохана, трепещущий серый клочок. За спиной прижалась к земле Лизель. Слышно, как она дышит, глубоко и часто. Снова выстрел. Из-за деревьев показываются два русских солдата. По-пластунски быстро ползут в траве к Йохановой рубашке.

— Йохан!

Истошно вопит Юри прямо возле уха Лоры. Солдаты припадают к земле; два быстрых щелчка, в листве проносится пуля. Листья дрожат, Лизель рядом с Лорой хватает ртом землю. Коротко вскрикивает Петер. Все стихает.

Русские солдаты опять ползут вперед. Первый, добравшись до Йохановой рубашки, что-то кричит. Второй ползет следом. Первый подталкивает к нему рубашку. Серый трепещущий клочок исчезает в высокой траве. Кричат уже оба солдата, резкими прерывающимися голосами. Обняв Юри

с Петером, Лора ждет выстрелов.

Среди криков раздаются шаги и хруст веток, вновь появляется запах пищи. Томас тянет их за собой.

— Живо. Нужно *уносить ноги. Живо.*

Тянет Лору за руку, больно натягивая кожу. Она повисает на нем всей своей тяжестью. Он хватает Юри, поднимает его на ноги и толкает обратно в чащу, подальше от открытого пространства.

— Давай. *Уносим ноги.* Живо.

Глаза налились, лицо злое. Шея набухла и стала похожа на веревку. Они бегут в лес.

Еда еще не остыла. Первым ест Томас, набивая рот хлебом, заталкивая пригоршнями тушенку. Когда он открывает рот, сказать, чтобы они смотрели в оба, куски пищи вываливаются на подбородок. Он пихает их обратно, громко чавкая, глотая поспешно, через силу. Передает котелок Лоре, а сам становится на страже. Лора зачерпывает тушенку прямо из котелка, Лизель ест и плачет. Юри ломает буханку и запихивает в рот огромными кусками. Лора разминает горячую тушенку с хлебным мякишем и сует в рот Петеру. Тот просыпается и начинает тщательно жевать.

Чтобы он наконец это проглотил, Лора подносит к его губам новую порцию. Остатками хлеба Лизель с Юри вычищают стенки котелка. Томас забрасывает его в кусты, и они снова бегут.

* * *

Звериные следы ведут их через заросли высокого папоротника. Они бегут, низко пригибаясь к земле, иногда ползут. Петера вырвало, но он не плачет. Лора крепко прижимает его к своему боку, старается не поранить, продираясь сквозь подлесок.

Лора бежит вслед за Томасом, то и дело оглядываясь, где там Юри и Лизель. И Йохан. Папоротник смахивает с лица и шеи слезы, размазывает по волосам.

Песчаная канава, колючая проволока, чуть вдалеке металлический столб. По предположению Томаса, они уже на британской территории. Он тяжело дышит открытым ртом, шея над воротом блестит от пота. Лора плачет не переставая. У нее сдавило горло, легкие съежились и воспалились. Ей все не удается как следует вдохнуть.

Томас говорит, что надо идти дальше, что они

пока не в безопасности. Может, подождем, когда Иохан нас нагонит, спрашивает Юри. Томас взглядывает на него. Юри подступает к Лоре, но она хочет, чтобы это сказал Томас. С подбородка капают слезы, но на руках Петер, и никак их не утереть. Голова его тяжело свешивается с ее локтя, рот во сне открыт. Сев, Лора перекладывает брата на грудь и ждет, пока Томас это скажет. Лизель, скорчившись, трет десны. Томас, не отводя от Юри взгляда, говорит ему правду.

— Его убили.

Лора опрокидывается вместе с Петером на камни и плачет. Юри стоит неподвижно, будто вдруг уменьшившись.

Томас разражается криком.

— Он не туда побежал. Он должен был оставаться в лесу. Сидеть в овраге. Все должны были сидеть, как я вам сказал.

Лизель прячет подбородок в колени. Лора чувствует, что Юри на нее смотрит, но не может остановить слезы. В зарослях поют птицы, летают высоко над головой. Она плачет под бледным небом, а на груди безмятежно спит Петер.

Томас говорит, что, если они сейчас не поднимутся, он уйдет один. Он пускается в путь по пыльной дороге. Юри поднимается за ним первым.

* * *

Сладко пахнет сеном. Лоре жарко, она проснулась и лежит, вслушиваясь в темноте в каждый звук, и всех пересчитывает в уме. *Одного не хватает.* Она уже не плачет, но и заснуть не может. Кровать мягкая, горло сухое, а брат мертвый, лежит далеко-далёко.

Томас медленно, бесшумно поворачивается, осторожно ползет к приставной лестнице. Лора спрашивает, куда он собрался. Лизель с Юри поднимают головы. Томас снова зарывается в сено.

* * *

Томас и Лора идут в деревню просить еды. Лизель с Юри остались в гараже, им строго-настрого наказано сидеть в сене и не выходить. Томас отказывается идти в Гамбург. Лора семенит рядом и уговаривает его.

— Ты должен пойти с нами. Я не знаю, что мне

делать.

— Границ больше не будет. Теперь вы сами сможете дойти до Гамбурга.

— Пожалуйста, не бросай нас.

Томас качает головой, с губ со свистом, сквозь стиснутые зубы, вырывается дыхание. Он шагает слишком быстро. Чтобы поспеть за ним, Лора бежит в припрыжку, и потревоженный Петер у нее за спиной начинает реветь. Перекрывая его плач, Лора кричит в безучастное лицо Томаса.

— Но там нет ни мутти, ни фати.

— Я знаю, ты говорила. Ваша мать в лагере.

— Я не знаю, что мне делать.

— Иди в Гамбург. Разыщи ома.

— Но, Томас, я сказала детям, что там будет фати.

— Знаю.

— Томас!

Наверху, на landstrasse, стоит Юри, машет им рукой и кричит. Томас и Лора переходят на шепот.

— Что я скажу, когда мы найдем ома, а фати с ней не окажется?

— Здесь я тебе не помощник.

Томас останавливается и, взяв свою часть еды, распихивает ее по карманам. Лора в панике.

— Ты можешь жить с нами. С нашей ома. У нее большой дом.

Томас смеется, но Лора понимает, что ему совсем не весело.

— Ома поможет тебе найти жилье и работу.

Он качает головой. Схватившись ручонками за живот, Петер заходится плачем. Томас вынимает из кармана хлеб и отламывает для него кусочек.

— Сейчас главное донести еду. Я тебе помогу.

Томас замирает на месте. На них со всех ног летит Юри. С разбегу врезается головой в живот Томасу, хватается за рубашку. От неожиданности Томас вскидывает руки, напрягает мускулы. Отстранившись, идет дальше. Юри вцепляется Томасу в руку и идет сбоку, не выпуская руки. Лора смотрит, как братнина ладонь обхватывает длинные белые пальцы Томаса. Постепенно, на ходу, Томас высвобождает руку.

* * *

На станции толпится народ. Старики сидят на узлах, дети плачут. Воздух спертый и жаркий. Женщины носят сумки и грудных младенцев, пристают к солдатам с расспросами. Томас встает в длинную очередь перед билетным окошечком. Лора боится упустить его из вида. Она садится с детьми на площади и смотрит на него. Лизель спит, Петер кашляет во сне, на небе собираются тучи. Томас сидит на корточках, вытирая пот с лица. Когда очередь наконец сдвигается, Юри подбегает постоять вместе с Томасом и тоже присаживается на корточки, водит пальцем по трещинам на мостовой. Лора смотрит на них издали. Может, они шепчутся? Но разглядеть невозможно. Далеко.

Билетное окошечко захлопывается прежде, чем наступает очередь Томаса с Юри. Солдаты пробуют разогнать толпу, снова и снова гнусаво повторяя одни и те же фразы: передвижение без специального разрешения запрещено, о следующем транспорте будет объявлено дополнительно. Томас отводит детей в сторону, тащит вдоль станционной стены, гонит вниз по дороге.

Лизель спрашивает, удастся ли купить билеты на следующий поезд, Томас не отвечает.

Позади них к станции подходит поезд. Томас их торопит, гонит по дороге, вдоль стены. За углом стена идет под уклон и становится ниже. Томас подсаживает их одного за другим. Чуть поодаль через стену лезут люди, а еще больше народу бежит с площади. Томас перебрасывает узлы и карабкается вслед за ними, неуклюже перепрыгивая на ту сторону. Юри уже пробрался через забор к рельсам.

Они бегут по шпалам обратно на станцию. Платформа переполнена людьми, рвущимися вперед. Люди истошно кричат, зовут друг друга, проталкиваются поближе к поезду. Дети прыгают с платформы, забираются под колеса, матери вытаскивают их обратно. В маячащих над головами стиснутых кулаках зажаты билеты с документами. Солдаты приказывают выстроиться в колонны перед дверями, но толпа не слушается.

Томас обходит поезд с обратной стороны и идет вдоль него, пробуя окна, пока одно из них не поддается.

— Все как раньше. Братья и сестры, все как

раньше.

Подхватывает Юри под мышки и вталкивает в вагон. Нога Юри угодила Томасу в челюсть. Люди в вагоне ругаются, выпихивают Юри и появившуюся вслед за ним Лизель из поезда. На той стороне дороги из кустов появляются еще люди и тоже устремляются к вагонам. Один мужчина держит в руке кирпич, рука обмотана тряпкой. Он разбивает окно и, пробравшись внутрь, распахивает дверь. На него кидаются пассажиры, завязывается драка.

Лизель протягивает руки за Петером. Люди в вагоне прижали их к стеклу, орут, чтоб вылезали обратно. Через окно Лора видит Юри. Сморщившись, он орет в ответ, закрывает уши ладонями. К ним приближается тот человек с кирпичом, уже под конвоем вооруженного солдата.

Томас берет у Лоры Петера.

— Спокойно, все как раньше.

Передав Петера Лизель, поворачивается к солдату; идет к нему с открытыми руками; и говорит, говорит. Стаскивает шляпу, прижимает к груди. Над ушами мокрые, слипшиеся завитки волос. Солдат слушает, напряженно щурится, а Томас

все твердит одно и то же. Сквозь сырой воздух Лора различает ритм его слов, но не сами слова. Человек с кирпичом смотрит на Томаса, потом переводит взгляд на Лору. Из руки течет кровь: повыше намотанной на кулаке тряпки виден порез. Лора отводит глаза.

Томас открывает бумажник и вынимает документы — ветхие и потертые. Отдает их солдату, тот читает. Размякшие бумажки свешиваются с его ладони. Человек с кирпичом что-то произносит, топнув сапогом возле Томасовых ног. Не обращая на него внимания, Томас подступает на шаг к солдату. И непрерывно говорит, и тычет в документы, которые держит солдат; подтянув рукава, показывает белые запястья. Солдат о чем-то спрашивает. Томас кивает. Человек с кирпичом плюет в него. Плевок белым пятном ложится на Томасов темный воротник.

Солдат начинает ругаться, грозит автоматом. Человек с кирпичом, подняв руки, отходит в сторону. Солдат снова кричит. Отдает Томасу документы и, достав из кармана платок, сует ему в руку.

Томас быстро возвращается к Лоре, на ходу стирая плевок, пряча бумажник обратно в карман.

Улыбается и поднимает Лору к окну. Но люди в вагоне никак не могут угомониться, кричат сердито. Томас шепчет:

— Все хорошо, все хорошо. Все замечательно, вы можете ехать.

Лора хочет вырваться, но Томас подталкивает ее еще выше.

— Нет, Томас, пожалуйста, нет. И ты с нами, и ты с нами.

Она умоляет его, брыкается. Он проталкивает ее в вагон. Юри визжит, через Лору тянется руками к Томасу.

— Ты должен ехать! Братья и сестры! Ты тоже должен ехать!

Он вцепляется в жакет Томаса; но Томас загораживается руками. Щурит глаза, хмурится от яростного мальчишеского натиска. Юри визжит до тех пор, пока Томас не залезает в вагон.

* * *

Час за часом они сидят на полу вагона в проходе, у двери. Прямо под ними, поскрипывая, медленно катятся по рельсам колеса. На оста-

новках никто не сходит. С крыш спрыгивают солдаты и выстраиваются вдоль путей. Они ведут себя спокойнее, чем американцы. У них форма темнее и движения сдержаннее, но все-таки они не спускают рук с автоматов и готовы пристрелить каждого, кто вздумает бежать. Лора рада, что они едут. Напротив сидит Томас и избегает ее взгляда.

С наступлением темноты Юри забирается Томасу на колени и кладет голову на грудь. Томас сидит с закрытыми глазами, но Лора знает, что он не спит. Ее начинает клонить в сон. К плечу притулилась Лизель, на узле в ногах спит Петер.

Лора просыпается оттого, что занемели ноги и бедра пронизывает резкая боль. Томас во сне поменял позу, но Юри по-прежнему спит у него на коленях. Лора стаскивает ботинки и щиплет себя за ступни, стараясь не задевать волдыри и ранки. Поезд качается и дребезжит. Ноги начинает покалывать, но боль не стихает. Дождавшись, когда покалывание почти проходит, Лора отправляется прогуляться по поезду. Перешагивая через спящих, цепляясь за стены и пошатываясь, она пробирается по ускользающему из-под ног коридору и через тамбур попадает в соседний

вагон. Она останавливается у открытого окна и подставляет лицо ветру, слушает, как внизу в темноте визжат колеса. В тело больно впивается оконная рама. За окном проносятся поля, леса, все благоухает.

Из соседнего купе доносятся голоса. Лора стоит у окна и прислушивается, не поворачивая головы.

— На первый взгляд можно подумать, будто все эти снимки сделаны в одном месте.

— Но в газетах пишут, что лагерей было много, наверное, сотни.

— Я не говорю, что таких лагерей не существовало. В конце концов, в каждой стране есть своя система тюрем. Я просто хочу сказать, что людей там не убивали.

— А трупы на снимках?

— Постановочная съемка. Снимки всегда нечеткие, так ведь? Либо темные, либо зернистые. Лишь бы ничего не было видно. А люди на этих фотографиях — актеры. Это американцы сварганили, может, и русские им помогали, кто знает.

— С чего ты взял?

— Ну, во-первых, Фанинк, а потом еще Мон. Торштен и его брат тоже слышали.

— Это было написано в газетах?

— Послушай, я видел фотографии. Повсюду одни и те же люди. Одна и та же сцена снята с разных ракурсов. Любой дурак заметит.

Краешком глаза Лора видит в углу двух парней. Немногим старше ее. Лица гладкие и худые, глаза блестят. Сидят на узлах у двери купе и курят. Свечной огарок на полу между ними трепещет на сквозняке. У одного нет руки. Рукав приколот к плечу и подергивается. Заметив Лорин взгляд, он машет пустой складкой одежды.

— Граната.

Улыбается ей. У Лоры вспыхивают щеки, хорошо, что кругом темень.

— Я тоже видела эти снимки.

— Подумаешь, кто их не видел. И люди все сплошь были худые и лежали на земле, да?

— Мне показалось, что они мертвые.

— Это актеры, американцы. А в некоторых случаях — куклы, манекены. Те, которые больше всего похожи на мертвых.

Его приятель задувает свечу.

— Я ложусь спать.

На Лору он не обращает внимания. Парень с

одной рукой подмигивает ей в темноте. У него в зубах тлеет сигарета, ее огонек освещает Лорину щеку. Она закрывает окно и идет обратно по коридору. Открывает дверь тамбура, и от скрежета колес закладывает уши.

* * *

Они просыпаются оттого, что поезд стоит. Солдаты открывают двери, барабанят в окна, приказывают всем выйти и ждать на платформе. Томас подхватывает узлы, снимает Юри с подножки. На станции темно, все огромное здание освещается лишь несколькими тусклыми лампами. Внутри шумно. Детский плач, крики, хлопанье вагонных дверей. У стен толкутся сердитые мужчины. От них неприятно пахнет.

Следующий поезд будет только на рассвете. Юри не выпускает из рук край Томасова пиджака. Лизель лежит на узлах, одной рукой прикрывая глаза, другой — волосы. На руках плачет Петер. Лора спрашивает у людей вокруг, нет ли у кого еды, но все молчат, отворачиваются.

Кулачки у Петера стали иссиня-красные. Лора трет их, дует на пальцы. Взглянув вверх, она видит, что крыши над ними нет, только рваная

дыра да темное небо.

* * *

Они едут поездом или идут пешком. Бредут от одного города до другого. Наконец им улыбается удача, и на очередной станции они находят поезд и бесплатную кухню. Пока дети едят жидкую похлебку, Томас долго беседует с каким-то солдатом. Перед самым отправлением солдат стучит им в окно и протягивает яйцо. Томас благодарит его и через открытое окно жмет руку. Отдает яйцо Лоре.

— Это Петеру. Совсем он худой.

* * *

Встретившийся на дороге фермер подвозит до Эльбы. Они стоят и смотрят на воду, до дома остается один день пути. Вдоль берегов тянутся фруктовые сады, но плоды еще не поспели. Томас говорит, что берется переправить их в Гамбург. Сажает Юри на плечи и, пообещав мигом обернуться, уходит искать транспорт. Лора с Лизель и Петером стоят в очереди за едой возле Красного Креста. Ждут Томаса и Юри под городскими

часами. В дверях ребятишки торгуют кислыми яблоками и маленькими жесткими грушами. К их животам привязаны мешки с товаром. Завидев военную форму, они тут же смываются.

Покормив сухим хлебом Петера, Лора отдает его на руки сестре. Лора нервничает, но не двигается с места до тех пор, пока не появляется Томас с голодным Юри. У них добрые вести — будет лодка.

* * *

На горизонте виден Гамбург. Его черный силуэт проступает на вечернем небе. Сумерки стоят прохладные и сырые: дневная жара сменяется туманом. Вода плещется о борт лодки. Пассажиры молчат. Они смотрят на надвигающийся город. Лора связывает узлы вместе. Ей не по себе от большой гавани и острозубого города, вздымающегося на том берегу. В его домах темно, на реке нет других лодок. Кругом тишина. Только мерный плеск воды. Лора закрывает глаза и мысленно рисует план действий.

Она представляет, как поедет на трамвае к ома. Видит усыпанные листвой воскресные улицы и белые дома; себя, в хороших туфлях сидящую в залитом солнцем, но прохладном доме. Эти

картины плохо сочетаются с темным городом, приютившимся на берегу. Рядом присаживается Томас. Он смотрит на Лору, и в полутьме она чувствует его улыбку и видит складки на щеке.

— Готова?

Солнце ныряет за горизонт, а они стоят под ратушей со своими узлами. Никто и не думает подавать им трамвай.

– Скорее всего, здесь комендантский час. Нам нельзя так поздно ходить по улицам.

Шаги Томаса гулко разносятся по пустой торговой площади.

— Далеко туда идти?

Но Лора никак не может вспомнить. Она просит потерпеть еще несколько минут. Томас хмурится, и Юри берет его за руку.

— Мне не нравятся эти дома.

Улицы ведут от реки к главной площади, к темным разрушенным зданиям. Чтобы не видеть обугленных стен, Лора смотрит на Петера.

— А сколько туда ехать на трамвае?
— Где-то полчаса.

— Идти слишком далеко, Лора. Сегодня уже поздно.

— А куда мы пойдем?

— Найдем что-нибудь. Пустое здание, например.

— Только не здесь, Томас.

— Нет-нет, сначала мы выберемся из центра. Я что-нибудь для нас найду.

Они идут по берегу озера на север. В воде плавает бревно, от него пахнет плесенью.

Они лежат в пустом доме. То, что некогда было полом, теперь служит им крышей, отделяющей их от ночи. В балках устраиваются на ночлег птицы, с кирпичей сочится вода. Они устраиваются в углу, подальше от разрушенных стен. Когда дети уснули, Томас спрашивает Лору шепотом:

— А что, если в дом вашей ома попала бомба?

— Вряд ли. Может быть. Не знаю.

Лора лежит совсем близко от него, не касаясь, но чувствуя малейшее движение. Закрывает глаза и видит на месте дома развалины. Ни ома, ни фати.

Юри плачет во сне, и Лора берет его руку, прижимает к щеке. Вокруг на холодном полу

громоздятся молчаливые развалины. Рубашка Йохана теряется среди бесчисленных рук и ног.

* * *

Утром солнце снова светит вовсю и высушивает грязь, а они собирают вещи и прячут их среди камней. Томас приносит суп, в котором плавают куски колбасного фарша. Этот вкус напоминает мясо, напоминает о слезах тогда, в лесу. Юри опять начинает плакать, а Лора прячет лицо на груди малыша. *Если умер Йохан, значит, и бабушка могла умереть.* Петер заходится ревом и молотит ее по щекам. Томас что-то шепчет Юри, Лизель сидит молча и ест, и Лора рада, что никто на нее не смотрит.

— Лора найдет вашу ома.

— И фати.

— Возможно, на это уйдет какое-то время, Лизель, поэтому мы все должны набраться терпения.

— И долго ждать?

— Ну, несколько дней. Может быть. Не знаю. Дороги ведь перекрыты, а они могли перебраться в другой дом, так что посмотрим.

У Томаса багровеет тонкая шея, он на вид такой

нескладный. Лора улыбается, но он этого не видит. Они условились встретиться на закате под черным церковным шпилем, и вот он с Лизель и Юри выбирается из развалин на улицу.

Как и прежде, шумный город полон людьми. Люди гуляют, разговаривают и будто не обращают внимания на разруху, на обугленные здания вокруг. Прохожие по-прежнему носят шляпы и галантно приподнимают их, когда здороваются. По разрушенным улицам снуют машины, замедляя ход перед завалами. Из труб разгромленных многоэтажек поднимается дым. Из развалин доносится запах горячей пищи, хоть и трудно представить, где там могут разместиться кухни.

Лора идет, замирая при виде руин и внезапно открывающихся пустырей. Петер плачет все утро — низким и ужасным голосом. Люди смотрят мимо, будто боятся взглянуть ей в глаза. Лора всматривается в лица в очередях, видит все тот же голод и отводит взгляд.

Она добирается до Ольштера и, пока это возможно, идет вдоль озера, но из-за перекрытых дорог уходит все дальше от воды. Когда вода совсем пропадает из виду, Лора теряется; не может понять, где тут улица. Спрашивает дорогу, и

женщина указывает ей направление, откуда она только что пришла, впрочем, и сама женщина ничего толком не знает. Лора спрашивает у других прохожих, и вскоре здания вокруг становятся все более знакомыми. Улицы широкие, деревья стройные и высокие, на старых ветвях молодая поросль. *Ома обязательно жива.* Лора несколько раз проходит вверх и вниз по улице, и ей кажется, что она нашла то самое место.

Фотографии все сожжены или закопаны, поэтому приходится вспоминать по памяти. Ореховый сад; гостиная с вазами и тяжелыми, набитыми волосом креслами. Лора замерла посреди дороги и пристально вглядывается. Одни деревья искорежены, другие стоят нетронутые, но ни одно не похоже на то, что рисует ее мысленный взор. Она снова пускается в путь, стараясь выйти к воде.

На улице ссыпан картофель. Мужчина кладет Лоре в фартук немного картофелин и шикает — уходи! Она выпрашивает еще сухого молока и прямо в пригоршне смешивает его с водой из колонки. Пока она вот так поит Петера, он смотрит ей в лицо. Белая масса стекает по его щекам и подбородку, но кое-что попадает на язык. Петер успокаивается и засыпает, и Лора сидит с ним в

лучах предзакатного солнца. Смотрит на широкую озерную гладь и шепчет:

— Летом мы плыли домой на пароме, а фати всегда ждал нас на той стороне.

Она хорошо помнит лодку, пристань и автомобиль, но отцовское лицо припоминается смутно. Лора говорит Петеру, что дома стоят на своих местах, уверяет его, что ома должна быть где-то рядом. Глядя на спящего на коленях брата, маленького и бледного, она ощущает уверенность, легкость в голове — и все-таки тревогу. Скоро солнце сядет, нужно идти, искать своих, но в голове вертятся мысли о бабушке. *Если ома жива, она спросит о Йохане.* А дети будут ныть, где фати. *А еще ома спросит, кто такой Томас.*

Все стало по-другому. Ей снова придется лгать. Слишком много всего случилось, не объяснишь.

От воды начинает тянуть холодом, и Петер просыпается. Лора встает, крепко прижимая его к себе. Находит взглядом чернеющий в небе церковный шпиль и идет прочь от озера. Петер молчит, смотрит на сестру своими темными глазами, ставшими такими большими на исхудалом лице.

* * *

Лора просыпается из-за шума в темноте. Мужской голос что-то шепчет по-английски. По-немецки воркует женщина. Потом шорох гравия, голоса стихают, слышно только дыхание.

Томас тоже проснулся. Лора ерзает под одеялами, прижимается спиной к холодным щербатым кирпичам. Она не желает слышать, что творится там, под обломками стен. Чтобы отвлечься, считает балки на потолке, но перед глазами настойчиво встают разные картины. Рядом ворочается Лизель. Лора едва сдерживается, чтобы не закрыть ей уши.

Снова шепот, и, наконец, шаги удаляются.

Чуть позже Лору будит другой шум: сдавленное дыхание и всхлипы. Она пытается отвлечься, не слышать, уснуть. На этот раз звуки более отчетливые. Теперь они доносятся из-под одеял, а не снаружи. Лора вслушивается. Это плачет Томас, натянув на голову пиджак и закрывшись руками, чтоб не вырвалось ни звука. В перерывах между всхлипами он судорожно хватает ртом воздух. Его тень мечется на дальней стене. Лора не хочет

ни видеть, ни слышать этого. Она бы заплакала, да его слезы сильнее. Злая и разбуженная, она лежит без сна, пока сквозь трещины не просачиваются лучи солнца.

Утром Томас укрепляет их убежище: сооружает ограду из поломанных стульев и ворованной проволоки. Берет с пепелища уголь и пишет табличку, которую Юри вешает на их баррикаду: ЧАСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ. Томас шепчет Лоре:

— Если они снова придут, я их прогоню.

Лора решает простить ему его слезы.

* * *

— Ханна-Лора! Ханна-Лора Дрезлер!

Ее зовет молодая женщина на той стороне дороги. Лора затаила дыхание, неотрывно смотрит на трамвайные пути под ногами. Женщина машет снова. На ней мешковатое черное пальто и тяжелые ботинки.

— Ты меня не помнишь? Я Вибке. Вибке Надель. Служанка твоей бабушки. Это было не так давно, ты должна помнить!

Вибке Надель переходит улицу и берет Лору

за руку.

— Какая ты худенькая! Вы с мамой приехали обратно с юга? Где твоя очаровательная мамуля?

Женщина держит Лорину руку, а сама говорит, плачет и смеется. Лора вспоминает кухню в бабушкином доме и Вибке. Как они с ней лущили горох на черной лестнице. Давно, близнецы были совсем крохи, а Петера и вовсе не было. *Значит, вот она какая.* Лора всматривается в улыбающееся веснушчатое лицо. *В доме пыль, зато сердце у Вибке преданное.* Это бабушка так говорила.

— Она будет счастлива вас увидеть.
— Ома?
— Да-да. Мы были в укрытии, по соседству.

Вибке почти бегом тянет ее через дорогу.

— На дом упала бомба, но он не сгорел. Идем. Бабушка твоя дома. Она будет счастлива.

Все те же черные железные ворота, та же вечнозеленая, сочная живая изгородь, только дом не узнать.

Недостает верхних этажей и части первого. Над ним высится одна-единственная дымовая труба, у основания которой все еще сохранились

каминные изразцы. Оставшиеся стекла все в трещинах, и стены закоптились, но Лора узнает переднюю. Солнце освещает то, что раньше было от него скрыто: узоры на потрескавшихся изразцах, широкие, темные половицы.

Вибке оставляет Лору за дверью. Дверь эта когда-то была внутренней и теперь порядком пострадала от непогоды. Вибке входит, напевая, и зовет бабушку. Ей отвечает старческий голос, сначала спокойный, а потом перешедший в крик. Лора подтягивает чулки и видит на пороге бабушку, которая протягивает к ней руку. Ома дотрагивается до ее волос.

— Ханна-Лора, детка. Откуда ты здесь?
— Из Баварии, ома.
— Где моя Аста? Ханна-Лора, где твоя мутти?

В комнате только один стул, но женщины просят Лору на него сесть. По стенам на гвоздях развешана одежда. Есть плита, кровать и пустой шкаф. Голосам тесно в таком маленьком помещении. Лора никак не поймет, что за комната это была до бомбежки. Вибке закрывает дверь и отодвигает занавески, чтобы шел воздух. Говорит, протягивая Лоре хлеб с ломтиком яблока:

— Сегодня у нас есть фрукты. Поешь.

На протяжении ее трапезы они сидят на крохотном пятачке на полу. Молча ждут, пока Лора ест. Яблоко сладкое и сочное, оно режет желудок, обжигает воспаленный язык. Ома говорит, что Лора превратилась в молоденькую женщину. Взяв со шкафа расческу, Вибке распускает Лорины косы. Волосы электризуются, трещат и венцом становятся вокруг головы. Лора чувствует их на щеках; оттого, что кто-то о ней заботится, по телу разливаются истома и тепло. Вибке гладит ее по голове, разделяя волосы на две части. Ома стоит у открытого окна.

— Мутти у американцев, да, детка?

Лора кивает.

— Я так и поняла. Едва только тебя увидела, и я это поняла.

Вибке уверенно распутывает Лорины волосы.

— А фати? Его тоже схватили?
— Не знаю.
— Ты знаешь адрес мутти?
— Нет, ома.
— Значит, она не знает, где вы?

— Нет, это она велела нам сюда идти.

Некоторое время они молчат. Вибке плетет косы, то и дело касаясь пальцами Лориной шеи. Лора слышит бабушкино дыхание, тихое и хриплое, вдыхает запах нагретых за день стен снаружи и затхлую сырость холодных стен внутри помещения. Горло перехватывает, и невозможно ничего сказать. *Слишком много всего рассказывать.*

Ома подходит к Лоре и, подняв со стула, прижимает к себе. Чтобы не упасть, Лора переступает с ноги на ногу, задевает коленями сиденье, и стул с громким скрипом ползет по полу. Она тоже обнимает бабушку, ощущая под блузкой ее исхудалое тело.

— Тебе не должно быть стыдно. Ты не должна их стыдиться.

Крепкие объятия — Лора с трудом может дышать. Наконец ома ее отпускает, теперь они стоят на расстоянии вытянутой руки. Волосы у старой женщины седые, тусклые, кожа землистого цвета. Серые и водянистые глаза изучают Лору. Лорина шея зудит и наливается жаром. Вибке со своими расческами сидит рядом на стуле.

— Мы их найдем. В Красном Кресте должны быть адреса. Они вернутся, мутти и фати. Просто придется какое-то время их подождать.

Лора не в силах взглянуть бабушке в лицо. Смотрит на щеки, на шею в мягких складках. Старческий голос, срываясь, продолжает:

— Все теперь позади. Все кончено.

От пота колет под мышками. Ома быстро протягивает руку и стискивает Лорино плечо.

— Кое-кто из них зашел слишком далеко, детка, но не верь, что все было плохо.

* * *

Лора трет Юри лицо и руки, аккуратно повязывает красную тряпку на голове Лизель.

— Вот-вот за нами придет ома, нужно подготовиться.
— А фати придет?
— Фати сейчас находится в другом месте.

Лора пытается произнести это непринужденно, как будто именно этого они так долго ждали. Оглядывается на Томаса, но тот сидит к ним спиной, укладывает вещи. Юри смотрит растерянно.

Лизель плачет, потом переходит на рев. Колотит кулачками по Лориным рукам.

— Ты все наврала!

Под ударами рука немеет, но Лора и не думает защищаться. Пусть поплачет. Она молчит, ей нечего сказать. Лора подвязывает косы аккуратными тряпочками. Чистит ботинки и отрывает новое кружево от Петеровой пеленки. Оглядывает молчащего Юри и ревущую Лизель: надо бы рубашки постирать или, по крайней мере, хоть немного отмыть с них грязь до прихода ома.

Томас приносит ей воды и сидит рядом, пока она стирает.

— Я не сказала о тебе.

— Да. Да, это правильно.

— Не только о тюрьме. Я имею в виду, я вообще ничего не сказала. Она не знает о тебе.

— Да, понимаю.

— Я не знала, что она скажет. Я просто не могла. Не теперь.

— Да, это правильно. Я объяснил детям, что я им брат, но что это тайна. Теперь тайна.

— Ага.

— Ты расскажешь ей о Йохане, и этого будет

достаточно.

Руки Томаса лежат на краю ведра. Лора ждет, но он так до нее и не дотрагивается.

* * *

Вибке пробирается к ним по развалинам, чтобы проводить к бабушке. Лора видит, что она пересчитывает детей.

— Йохана нет.

Юри стоит в проломе стены. Вибке он не помнит.

— Где Йохан?
— Он умер, в России.

Вибке смотрит на Лору.

— На русской территории. Его убили на границе.

Больше никто ничего не сказал.

Вибке идет первой. Шепотом докладывает новость бабушке, а Лора тем временем приводит детей в порядок, ставит в ряд, одергивает непросохшую одежду. Ома их рассматривает, по очереди кладет на головы руку. Лора готова

к расспросам. Интересно, где Томас. Вероятно, где-то рядом. Она смотрит на руины, а в голове роятся мысли. Что сказать, чего не сказать — как же трудно все объяснить. Интересно, удивился ли Томас, что ома не спрашивает про Йохана. Скорее всего, Томасу из его укрытия видно, что ома ей кивает. Но вряд ли с такого расстояния видно, как омрачился бабушкин взгляд. На подставленной для поцелуя Лориной щеке остался яркий след.

* * *

Дома Лизель снова принимается реветь: Лора обещала фати, а его нет. Ома удивлена, даже сердится поначалу: хмурясь, разбирает их немудрящие пожитки. Сложив наконец одеяла в шкаф и закрыв дверцу, ома мягко объясняет Лизель и Юри, что фати, наверное, на американской территории. Лизель смолкает и, утерев бледные щеки, спрашивает шепотом:

— Его наказали?

Ома, прищурившись, смотрит на внучку, и в наступившей тишине Вибке отрезает каждому по куску хлеба.

* * *

В первую ночь они спят в одной комнате с ома и Вибке. С крюков в потолке свисают занавески, разделяющие маленькую комнату на еще меньшие части. У ома с Вибке по кровати, между ними полог. Вибке заставляет Лору и Лизель лечь на ее кровати, а для Юри стелет на полу матрас. Сама Вибке ложится на их одеяла, предварительно соорудив для Петера колыбель из старого ящика. Пожелав всем спокойной ночи, ома задергивает на кровати тяжелый полог.

Глядя на темные складки, Лора гадает, плачет ли сейчас ее ома. О Йохане, о мутти, о фати. За бабушкиным пологом тишина. *Вот мы и дома.* Лора шепотом зовет Лизель, но сестра лежит, повернувшись спиной, и не отвечает. *Мы у бабушки.* Лора повторяет это про себя. Кровать мягкая и теплая, в комнате тишина. Мутти держат американцы, фати, может быть, тоже. Томас прячется в развалинах, а Йохан умер. Не в силах сдержаться, Лора плачет, закусив простыню. В темноте к ней подползает Юри. Неумело гладит по волосам и отирает рукавом глаза.

— Я знал, что фати здесь не будет, Лора.

— Откуда?
— Томас сказал.
— Боже. Почему ж ты мне ничего не говорил?

Юри пожимает плечами.

— Он сказал, что после любой войны мужчин сажают в тюрьму. Что сейчас много у кого отцы сидят, Лора. Мне кажется, не так уж это и плохо.

Лора обнимает братишку, и тот забирается к ней под бочок.

— Томас сейчас один?
— Думаю, да, Юри. Наверное.
— Ему грустно без нас?
— Не знаю. Может быть. А когда он сказал тебе про мужчин?
— Сто лет назад. Даже не помню. Томас сказал, что мы всегда его найдем под тем церковным шпилем. Мы сходим к нему?
— Конечно.
— Завтра?

Лора не может вспомнить, что именно рассказывала Томасу о фати, если вообще что-либо рассказывала. Она размышляет о том, что у всех отцы сейчас в тюрьме, повторяет про себя, что не так уж это и плохо, и не может себя в этом

убедить.

И все же она рада, что Юри лежит с ней вместе в теплой кровати. Рада и тому, что ни он, ни Лизель не проболтались бабушке о Томасе. Одна ложь осталась нераскрытой, одну тайну удалось сохранить. Она целует Юри в голову.

– Вы сегодня были умницы.

* * *

Вибке и Лора сидят в больничном коридоре, ждут, пока Петера взвесят и измерят.

— Ваша ома гордая женщина. Ее жизнь круто изменилась. Не осталось ничего. Одна я.

Смеется. У Вибке веснушки и морщинки-лучики вокруг глаз. А рука холодная и мягкая.

— Она получит на вас продуктовую и вещевую карточки. Теперь у вас каждый день будет еда, особенно у Петера, и еще вам будут выдавать одежду. Уж она позаботится.

Лора притулилась к плечу Вибке. Она кожей впитывает в себя ее журчащий голос.

— Она потом привыкнет к вам. Ваша мутти

давно перестала писать, еще до того, как все закончилось. Ома очень переживала. Я-то знаю.

Лора впитывает ласку ее рук, и до самого вечера в душе воцаряется покой.

* * *

Юри бежит впереди. Он вне себя от радости. Дети пробираются среди каменных глыб. Лора осторожно лавирует между обломками стен, некогда оклеенных обоями, а Петер сидит за спиной и крепко держится за шею. Они доходят до небольшого дворика. Асфальт местами потрескался и провалился, но дворик, залитый солнцем, выглядит вполне привлекательно. В разломах плит и на стенах поверху растут фиолетовые и желтые сорняки.

В дальнем углу дворика висит на петлях покосившаяся дверь. Юри подбегает к ней и, распахнув, устремляется в прохладную темень. К Томасу. Томас зажигает свечу и улыбается. Худое лицо покрывается складками, меж зубов показывается розовый язык. Юри летит обратно по ступенькам.

— Он говорит, что останется здесь. Так ведь? Ты

ведь так сказал?

Томас улыбается и смотрит на Лору. У нее начинает колоть пальцы.

— Я тут убрался. Можно сделать печку, и тогда станет тепло и можно будет готовить.

— Он останется здесь, а мы будем ходить к нему в гости.

Томас ищет в развалинах половицы и оконные рамы, а Юри носится по двору и кричит. Томас разводит во дворике костер, Лора печет картошку и нагревает на углях кирпичи. Будет чем прогнать подвальную сырость, когда они с Юри и Петером уйдут обратно к Лизель, Вибке и ома.

* * *

То, что уцелело от бабушкиного дома, меньше той комнаты, которая была у них на ферме. Другие дома на улице пострадали не так сильно, и ома удается найти внукам на ночь комнату у соседей, Мейеров, которые помнят Лору и Лизель совсем маленькими. У них большой — почти до самого озера — яблоневый сад.

Ома заводит распорядок. Каждый вечер дети

ужинают вместе с ней и Вибке, а потом отправляются к себе через дорогу спать. Утром она снова забирает их, чтобы покормить завтраком, и, пока Лора с ребятишками спешат по лестнице и обмениваются на ходу шутками с Мейерами, Вибке расстилает скатерть и раскладывает столовые приборы, для каждого блюда свой. Под руководством бабушки тщательно делятся порции. Едят они все вместе три раза в день. Ома ест хлеб с помощью ножа и вилки, следит, чтобы дети жевали медленно, но еда все равно заканчивается слишком быстро, и они выходят из-за стола голодные.

Лето уже на исходе, но погода стоит чудесная. Лизель все еще дуется на Лору. И целыми днями помогает Вибке: развешивает белье в заросшем саду, убирается, часами стоит с ней в очередях. Ома или сидит за столом у окна и пишет письма, или уходит на целое утро в Красный Крест, а после обеда отдыхает у себя за занавесками.

Лора ухаживает за Петером, а Юри то и дело вертится вокруг. Шепчет что-то себе под нос, пинает камешки на дороге. Лора старается не слушать, что он там говорит. Наверное, он разговаривает с Йоханом, и ей не хочется подслушивать. При первой же возможности они отправляются в

подвал. Навещают своего тайного брата, пока все тихо, ома спит, а Вибке и Лизель вяжут или штопают одежду.

Томас всегда радуется своим гостям, встречает их тихой улыбкой. Лора представляет, как он сидит и ждет их. Ловит осторожные шаги, приближающиеся к его подземному дому, грустит в одиночестве, если они в какой-то день не приходят. Всякий раз Лора поражается его худобе. Рот щербатый, на ногах лохмотья.

Когда она не видит Томаса, то представляет себе его совсем другим, и при встрече не сразу привыкает к его исхудалому телу. Она подолгу разглядывает одежду, кожу и даже ресницы, припорошенные осыпающейся со стен известкой.

* * *

Герр Мейер возится с камерой. Старческие пальцы с трудом справляются с настройками, старческие глаза не доверяют свету. То так, то эдак выстраивает детей у ворот, там, где живая изгородь и не виден разрушенный дом.

— Нужно было раньше начинать. До обеда. Теперь ни за что не ручаюсь. Только пленку из-

расходуем, а герр Польсен все равно сдерет за печать. Отложим до завтра.

Снимок для мутти. Ома узнала, в каком лагере она содержится, и пошлет ей фотографию. Она говорит, ей это поможет. Для съемки ома даже нашла им одежду. Петер то и дело срывает с себя матросскую шапочку, а вот Лизель рада голубому шелковому шарфу, покрывающему ее клочковатые волосы. Ома написала письмо мутти, от них от всех. Они подписались в конце письма, не читая. Лоре не хочется знать, что в нем написано. Хорошо, что ома не заставила писать ее. Лора помогает Вибке наряжать детей.

Холодно. Юри растирает ладони и коленки, Лизель вся дрожит.

К вечеру герр Мейер приносит отпечаток. На разбитой мостовой стоит группка серьезных большеглазых детей. Самая высокая Лора, рядом Лизель, за ней Юри; впереди всех, уцепившись за ногу брата, стоит Петер. Лизель явно велики туфли, а у Юри на его вытянутой голове смешно торчат уши. У Лоры, несмотря на старания Вибке, неровный пробор, глаза полузакрыты. Все они худы. Выпирающие скулы и запястья, большие колени и чужая мешковатая одежда. При виде

этой фотографии у Лоры возникает чувство, будто перед ней незнакомцы или люди, которых она знала когда-то очень давно.

Снимок и письмо помещаются в конверт. Когда ома надписывает адрес, у Лоры сжимается в животе. Мутти увидит, что нет Йохана.

* * *

Они ждут новостей, а дни становятся холоднее. Петер реже плачет, снова стал улыбаться, понемногу поправляется. Лора больше не носит его, только держит за пальчики, а он радостно лепечет и решительно делает шаги. Но ей начинает не хватать уже привычного ощущения тяжести в руках. Она согласна с Томасом: еще не время; Юри и Лизель, как было условлено, молчат, тайный брат остается тайной. И все же Лора боится чаще ходить в подвал.

Играя с Петером на августовском припеке, она наблюдает за Юри с Томасом. Юри ходит за ним по двору, помогает собирать сушняк, который Томас вытащил из озера и разложил на солнце. Томас молчит, а Юри что-то беспрерывно шепчет, и в тихом августовском воздухе раздается его громкий и продолжительный смех. Томас берет

Юри за руку, и мальчишеская ладонь крепко сжимает его указательный палец.

Ухажер Вибке тайком приносит ей из казармы радиоприемник. Та вечером приходит к Лоре, и они слушают джаз. Вибке учит ее танцевать, как в американских фильмах, на какие водил ее ухажер-шотландец. Случись Лоре заплакать, Вибке обнимает ее и легонько раскачивается в такт музыке. Говорит, что мутти вернется, и все переменится. Лоре хорошо от ее нежных объятий, легких прикосновений. Лора не рассказывает Вибке, что скучает она по Томасу.

* * *

Приходит письмо, адресованное Лоре. Имя на конверте написано маминым почерком. Лора подходит к окну и читает скупые строки.

Мутти пишет, что с фати все в порядке, что при первой возможности сообщит его адрес. Она послала ему весточку через американцев, и он знает, что они уже дома, в Гамбурге. А Лора с детьми должны писать ему письма, потому что может получиться, что вернется он нескоро. В ближаишее время снова откроются школы. Они должны усердно работать, думать о будущем

и о том, что оно принесет. Мутти просит Лору поцеловать за нее Юри и Лизель, и заботиться, чтобы Петер питался как следует. Лора зачитывает письмо для ома, вглядываясь в чернильные петли, образующие ее имя. В письме ничего не сказано о лагере, о постели, на которой мутти спит, еде, которую она ест, и о том, что видно из ее окна. И ни слова о Иохане.

Она читает письмо детям. Они просят прочесть еще раз, и Юри со смехом требует поцелуй, а Лизель интересует только фати. Раз за разом спрашивает она у ома, когда будет адрес. Они ложатся вместе и болтают перед сном в своей съемной комнатушке. Ни Лора, ни Лизель с Юри не заговаривают о Йохане; и о Томасе тоже.

* * *

Яркое утро, неровные тени пересекают мостовую и тянутся к деревьям. Ома с Лизель стоят в очереди за обувью, Вибке с Юри ушли за углем. У Лоры впереди целое утро, можно пойти к Томасу. Она приберегла для него несколько ложек сахару и по дороге по щепотке дает сладкое Петеру. Что тот теряет, слизывает сама — на языке фонтанчиком вспыхивает сладкий вкус. Петер

не хочет сидеть на руках. Важно покачиваясь, он шагает рядом с Лориной ногой, зажав в кулачке подол юбки. Они идут под лучами солнца вдоль трамвайных путей. Держатся середины улицы, подальше от покосившихся стен разбомбленных зданий.

Позади раздается резкий звук, металлический скрежет. Обернувшись, Лора видит взбирающийся по склону трамвай. Трамвай битком набит людьми, они весело машут им, чтоб уходили с путей. Лора подхватывает Петера и направляется к обочине, ускоряя шаг. Пассажиры смеются, машут руками, Петер машет в ответ. Кто-то из пассажиров подхватывает Лору с Петером на руках. Они проплывают над мостовой, Петер крепко притиснут к груди — и вот Лора, улыбаясь и переводя дыхание, уже стоит на площадке в гуще радостных людей, их спин, лиц, рук, мерно покачивающихся в такт движению трамвая.

Какой-то молодой человек уступает Лоре место на задней площадке, и они с Петером усаживаются возле двух молодых женщин. Одна из них блондинка, другая шатенка. Одеты в залатанные пальто и старые потрескавшиеся туфли, но на губах помада, и сидят боком, аккуратно скрестив

ноги. Лора, заложив волосы за уши, обрывает с юбки распустившиеся нити.

Женщины читают газету. Что-то бормочут, показывают друг другу, качают головами. Та, что с темными волосами, замечает Лорин взгляд и, ободряюще улыбаясь, поворачивает газету, чтобы ей тоже было видно. Трамвай трясется и качается, Петер стоит у нее на коленях, тараторя что-то ей прямо в ухо. Лора пробегает глазами по свежеотпечатанным колонкам, постоянно натыкаясь на одни и те же слова: тюремные лагеря и трудовые лагеря, преступления и судебные разбирательства. Женщина переворачивает страницу, и открываются фотографии. Темные, зернистые, на плохой бумаге, но до боли знакомые. Те же человеческие трупы. Проволочные заграждения и изможденные лица, груды костей, ботинок, очков.

— Это американские актеры, да?

Лора указывает на фотографии. Шатенка разражается смехом. Светловолосая замечает, что это не смешно.

— Нет. Это евреи.

Лора краснеет. Шатенка выходит из себя.

— Посмотри на них. Они не притворяются, они мертвые.

Перелистывает страницу. Лора узнает черные воротники с яркими нашивками. На снимках — люди в форме. На портретах — ясноглазые мужчины: SS, SA, гестапо. Шатенка тычет в них пальцем.

— Это они их убивали. Душили газом и расстреливали.
— Хайде! Она еще ребенок.
— Ну, тогда пусть прочтет про себя.

Лора смотрит на безупречную красную линию губ. Сердце скачет, трамвай трясется и катится. Наконец тормозит на остановке. Шатенка, поднявшись, протягивает газету Лоре. Ее спутница-блондинка тоже встает.

— Пожалуйста, не надо ей больше ничего показывать. Хватит с нее.
— Американцы говорят, что убудут рассказывать об этом детям в школах. А англичане хотят ввести уроки демократии.
— Прошу тебя, довольно политики.

Блондинка обращается к Лоре.

— Знаешь, это были плохие люди, и они сейчас сидят в тюрьме, где и полагается быть плохим людям. Вот так.

Женщины выходят. Лора оглядывается на других пассажиров, в трамвае много людей, и все о чем-то разговаривают. На нее никто не обращает внимания и трамвай катится дальше. Она сдвигается с газетой на край сидения, Петера сажает к окну. Пролистнув страницу со скелетами, раскрывает сразу портреты. Внимательно рассматривает форму, глаза, линии носа и подбородка. На некоторых военных такая же форма, какую носил фати, но его лица не видно.

* * *

— Ты видел фотографии, Томас?
— Какие фотографии?

Томас стоит в дверях и щурится от солнца.

— Со скелетами. С мертвыми людьми!
— Боже!

У Лоры сводит живот. Она стоит на пороге подвала с Петером, который рвется из рук, пытаясь дотянуться до кармана ее фартука, где лежит узелочек с сахаром. Томас молчит, прикрываясь

от солнца худой рукой.

— Их теперь наказывают. Тех, кто убивал.

Сердцу Лоры становится тесно в груди. Томас кивает и трет лоб.

— Ты сама говорила Лизель, что так и будет.
— Знаю. И уже начали?
— Да, я видел в газетах.

Его лицо бледнее обычного. Он отворачивается. Возвращается в подвальный сумрак. Идет, вытянув вперед руку, как будто для того, чтобы не упасть, пальцы чертят по осыпающейся штукатурке. Известка со стуком падает на пол.

— Томас!

Лора осторожно спускается вслед за ним в прохладную темноту, ничего не видя перед собой после ослепительного дневного света.

— Женщина в трамвае сказала, что это настоящие люди.
— Да.
— Это евреи. Она так сказала.

Глаза постепенно привыкают, и она уже может различить Томаса. Он стоит к ней спиной, подняв

плечи, как будто отгородившись стеной, но она должна это спросить.

— Томас! Помнишь, ты говорил Юри, что у многих отцы сейчас сидят в тюрьме?
— Что?

Томас медленно поворачивается, и Лора видит, как растягивается его рот, обнажая уцелевшие зубы.

— Что тебе от меня надо?

У Лоры отпускает живот. В подвале раздается тяжелое дыхание Томаса.

* * *

Лора не ходит в подвал всю неделю. Только провожает Юри после полудня. Он укоризненно смотрит на нее за столом, шепотом выговаривает вечером в темной спальне. Говорит, что Томас про нее спрашивает, интересуется, почему она не приходит.

Лора долго потом не спит, жжет лампу у изголовья. Борется со сном, лишь бы не видеть вновь тех картин, что прячутся в глазах, тех нитей, что переплетаются в темноте.

А днем у нее слипаются глаза. Она дремлет, покачиваясь с Петером в трамвае, стоя с Лизель и Вибке в очередях, сидя за столом у окна с ома.

Мысли вертятся вокруг мутти, фати и Томаса, она гонит их, но они возвращаются.

* * *

Дело к вечеру, а Юри все нет. Ома уже дважды просыпалась и спрашивала, где он, беспокоясь, как бы он не убежал играть на развалины.

— Это опасно, Ханна-Лора. Говорила я ему, чтоб держался от них подальше.

Лора выходит ждать брата на дорогу. Ждет двадцать минут, полчаса, но никого не видно. Обернувшись, видит одетую в пальто ома, которая стоит в конце аллеи, возле железных ворот. Лора неловко машет ей рукой. Кричит ома, чтобы та не беспокоилась; она пойдет его отыщет и скоро вернется.

Лора быстро шагает по улицам, посматривая, не идет ли трамвай. Ей не хочется видеть Томаса, она только заберет Юри и уйдет. Зовет брата, но никто не отвечает, и она все ближе подходит к подвалу. Медлит на последнем повороте, но от-

ступать слишком поздно. Лора пробирается среди руин, сердце сжимается от дурного предчувствия, а в голове стоит искаженное ненавистью лицо Томаса. Но когда она спускается во дворик, на пороге, скрючившись, сидит один Юри.

Печь опрокинута, несколько кирпичей выбиты, дверь сброшена с петель. Юри сидит бедный и задыхающийся, вокруг глаз синяками пролегла чернота. Лора опускается рядом, и он вцепляется ей в руку.

— Что случилось?

— Томас ушел.

— Куда ушел?

— Не знаю.

— Что случилось?

— Мы пошли собирать дрова. Он сказал, чтобы я подождал его на углу у вокзала, сказал, что пойдет сходит за супом, и я ждал, а он не вернулся.

— Долго ты ждал?

— Два часа.

— Может, ему пришлось стоять в очереди?

— Но он выломал дверь, Лора. Он ее выломал. Я знаю, что это сделал он.

— Вы подрались, Юри? Он тебя ударил?

— Нет. Он ушел. Он искал свои вещи. Но я их

спрятал.

— Что за вещи?

— Он сказал, что ты знаешь. Он говорил мне, что ты обо всем знаешь. Я сказал, что ты никому никогда не расскажешь, но он не поверил, потому что ты не приходила, и ушел.

Юри причитает, стискивая Лорину руку. Его лицо блестит от пота и слез. Он говорит, а она его не понимает.

— Ты не должна никому говорить. Даже Лизель. Даже Петеру. Никогда.

— Юри.

— Обещаешь? Пожалуйста, пообещай, что никому не скажешь.

— Что ты спрятал?

Лора помогает поднять плиту на полу. Мокрицы бросаются врассыпную и забиваются в щели, а в ямке у основания стены уютно лежит Томасов бумажник. Маленький коричневый бумажник из потрескавшейся старой кожи.

— Я спрятал его только для того, чтобы Томас не ушел. Я не хотел его сердить. Он теперь будет сердиться на меня, Лора?

Юри плачет, все никак не остановится. Лора

вытаскивает бумажник из тайника и, раскрыв его одеревеневшими пальцами, высыпает содержимое на пол. К ногам ложится клочок ткани с нашитой с одной стороны желтой звездой. Под ним оказывается еще один такой же клочок, тоже оторванный, тоже разлохмаченный, со знакомыми цифрами на засаленных нашивках. Еще в бумажнике лежит тонкая серая карточка, согнутая вдвое, а внутри нее — бумажка с фотографией и большим черным штампом. Юри наблюдает, как Лора рассматривает снимок на свету.

— Ты знала?
— Что?
— Это не его.

На снимке изображен темноволосый мужчина с ввалившимися глазами. Снимок смазанный, потертый, мятый. На первый взгляд кажется, что это Томас. Даже приглядевшись, Лора видит его резкие скулы, линию подбородка. Аккуратно расправляет на неровном полу документы и тряпицу. Слабость в запястьях; бумага совсем ветхая. У человека на фотографии мягкий рот. Возможно, это не Томас, возможно, Юри прав.

— Он их взял себе. Ему пришлось взять. Когда американцы пришли и всех освобождали.

— Томас все это украл?

— Не надо, Лора. Он сказал, что в этом нет ничего страшного. Понимаешь, тот человек был еврей. Он был уже мертвый.

Лора безотрывно вглядывается в лицо на снимке. Изможденные черты, приоткрытый изящный рот, глаза опущены, почти закрыты. *Уже мертвый.* Лора смотрит в документы, но имя засалилось, стерлось в бесконечных нервных сворачиваниях.

— Томас сказал, что американцы любят евреев, поэтому ему пришлось воспользоваться этими вещами и притвориться.

— Это он тебе рассказал?

— Он говорил, что ты обо всем знаешь.

Юри сидит на земле, подтянув колени в груди, и наблюдает за Лориной реакцией. *Что тебе от меня надо?* Живот снова начинает сводить судорогой, слюна на языке становится кислой. Она сплевывает, свесив голову между колен, рядом дрожит, как в лихорадке, Юри.

— Томас сказал, что люди сейчас озлобленные и что безопаснее выдавать себя за другого человека. Я сказал, что он мог бы жить с нами и тогда никто бы о нем ничего не узнал.

У Юри красные глаза и челюсть выдвинута вперед. Лоре больше невмоготу его слушать.

— Мы все это сожжем.

— Он сказал, что он мне брат, Лора.

— Я это знаю. Я знаю. Мы все сожжем, а потом пойдем домой.

Из остатков дров Лора разводит на камнях костер. Складывает туда вещи мертвого человека: бумажник, фотографию, засаленную полоску бумаги, где раньше стояло имя, и уцелевшие обрывки одежды. Пламя лижет края ткани, и полосатая материя сначала чернеет, а потом вспыхивает. Лежащие на самом верху документы долго остаются нетронутыми, но наконец тоже начинают гореть. Обугленные края загибаются на худое лицо на фотографии, а когда они отпадают, мертвого мужчины больше нет.

Во дворике вокруг костерка сгущается темнота. Юри по-прежнему дрожит, а Лора, вся мокрая, сидит, отодвинувшись от жара, в стенном провале. *Что тебе от меня надо?* Она пытается понять, что к чему: Томас и тюрьмы с трупами; ложь и фотографии; евреи и могилы; газеты с военными парадами и то, что на самом деле не так плохо, как об этом говорят. И все это вертится вокруг мутти

и фати — и значки в кустах, и пепел в печке, и мучительное чувство, что Томас прав и неправ, что он и хороший, и плохой одновременно.

* * *

Солнце едва показывается из-за деревьев мейеровского сада, а Лора уже натягивает ботинки. Юри заснул всего час или два назад, глаза распухли от слез. Лизель садится на постели, но Лора говорит ей, что завтракать еще рано. Когда будет пора, она вернется и их разбудит. В прихожей Мейеров слышно Лорино дыхание, и на покрытой инеем аллее, ведущей к бабушкиному дому, остаются ее следы. Вибке с заспанными глазами отпирает дверь и варит горький желудевый кофе, который Лора пьет, пока ома одевается. Ни свет ни заря бабушка и внучка спускаются к озеру.

Они стоят на молу, под ногами поскрипывает подмерзший песок.

— Почему мутти и фати сидят в тюрьме, ома?
— Они не сделали ничего плохого.

Ответ следует не сразу. Лора смотрит ома в глаза, серые и спокойные. Ни ругани, ни вопросов о том, что случилось вчера. Вернулись затемно,

все в известке, пропахшие дымом. Тайна вот-вот сорвется у Лоры с языка, но ома выдерживает паузу.

— Я тебе уже говорила. Разве нет, Ханна-Лора? Я тебе это сказала, и ты должна была помнить.

Ома берет Лору за руку, перчатка, мягкая на ощупь, скользит по коже. Тайна принадлежит не только ей, но и Юри тоже. И Томасу.

— Все теперь по-другому, Лора. Но все равно, твой отец хороший человек.

* * *

С каждым днем холодает.

От солдат Лора набирается английских слов: butterscotch[12], chocolate[13], но больше всего ее веселит слово humbug[14], так похожее на «Гамбург».

Юри вскоре находит себе приятелей. Мальчи-

---

[12] Примечания: 12
Butterscotch — род конфет из масла и жженого сахара *(англ.).*

[13] Примечания: 13
Chocolate — шоколад *(англ.).*

[14] Примечания: 14
Humbug — обман *(англ.)*

шек такого же возраста, с которыми, хотя ома и ругается, он играет на развалинах «в войнушку». Лора наблюдает, как он выбегает из своего укрытия и несется через руины. Падает и снова затихает. Отсчитывает секунды на пальцах.

Один раз Лора возвращается в подвал, чтобы проверить, не осталось ли чего в золе или в перевернутых коробках. Ничего. Только в углу, где Томас спал, валяются одеяла. Лора берет ведро, идет за водой на колонку и стирает во дворике постель. Она плачет, из головы не выходят значки и фотографии, Лоре тошно и одиноко.

Проезжает трамвай. Звук удаляется, и на руины снова опускается тишина. Лора прижимается лбом к холодному металлическому ободу, закрыв глаза и погрузив руки в ведро. Выплескивает ледяную воду на плиты и погребает мокрые одеяла под камнями из ближайшей груды.

Мутти присылает адрес фати и свою фотографию, где она сидит на скамейке возле какого-то здания. Отекшие руки сложены на коленях. У нее круглое лицо, коротко стриженные волосы и непривычная одежда. Лора вешает снимок на стену в их комнатушке. Юри с Лизель, стоя у фотографии, молча рассматривают маму.

— Она вернется из английского лагеря на будущий год.

— Мы можем поехать к ней в гости?

— Может быть. Думаю, да.

— А она будет такая, как на фотографии?

— Конечно, такая.

— А как выглядит фати, Лора?

— Ты разве не помнишь?

Зевнув, Юри мотает головой. Лора старается долго не раздумывать.

— Он вот такого роста, и волосы у него такого же цвета, как у тебя.

— Но у меня волосы разные. Летом они светлые.

— И у фати тоже. А зимой темные, как твои.

Юри начинает задавать много вопросов, но скоро засыпает. Лизель слушает Лору и впервые за много недель улыбается. Лора старается дышать ровно, но сердце стучит все сильнее. Раздеваясь, она описывает мужчину под стать новой, покруглевшей, счастливой мутти, который заменит того — сожженного, закопанного, взорванного.

Из огня глядит на нее лицо Томаса. Прячется за черную завесу пепла и исчезает.

* * *

Теперь зима. Вот уже полгода, как окончилась война. Настает Лорин день рождения: пять недель, как ушел Томас; два месяца, как пришло первое письмо от мутти; больше четырех месяцев, как умер Йохан.

Юри с Петером дарят ей по ленте для волос — Лора знает, фрау Мейер отрезала их от занавесок. Лизель много недель экономила свою порцию сахара и собирается с помощью Вибке испечь пирог. Ома обещала туфли, как только появятся, а пока купила билеты на паром.

— Один для тебя, один для Юри, schatz[15]. Петера пустят бесплатно.

Ома провожает их до трамвайной остановки и машет вслед. Они едут мимо того места, где находился подвал Томаса, и Лора глядит на Юри, но тот даже не смотрит по сторонам. Доезжают на трамвае до Хауптбанхоф, а потом, петляя, пешком бредут по городу. Пепельно-серое небо кажется плоским, осунувшимся. Холод пробирается под

---

[15] Примечания: 15
Schatz — сокровище *(нем.)*.

одежду. Лора ведет братьев вдоль тихих каналов к центру города, потом они поворачивают и идут к озеру. Обходят разрушенные мосты, срезают напрямик там, где от взрывов пролегли насыпи.

— Раньше здесь были дома, Юри. Между тем каналом и озером всюду стояли дома. Видишь? Даже сейчас видно, что все развалины лежат квадратами.

— Когда это было?

— До бомбежек.

— А сколько тебе тогда было лет?

— Сколько тебе сейчас.

— А мне сколько было?

— Столько, сколько сейчас Петеру.

Над озером дует резкий ветер, и Лора укутывает Петера в пальто. Они стоят, повернувшись спиной к темной воде, возле Юнгфернштиг и ждут, когда придет пароход и отвезет их домой. Перед ними расстилается центр города. Почернелый, разрушенный, но жизнь кипит. Все меняется, и старое погребено под новым. Лора садится с Петером на скамью и показывает Юри на груды развалин.

— Там построят дома. Наверху, где сейчас мусор.

— Зачем?

— Чтобы в них жили люди, глупышка. Не могут же люди жить в руинах до конца своих дней.

— А мы будем жить в новом доме?

— Будем.

— С мутти.

— И с фати.

— Фати в тюрьме.

— Да, но когда он вернется, мы опять будем жить все вместе.

Они поднимаются на паром и садятся на корме, подальше от ветра.

— Где сейчас Томас, Лора?

— Не знаю.

Лора смотрит на брезент и на веревки, впившиеся в туго натянутую ткань.

— Он вспоминает о нас?

— Не знаю.

— Сколько мне будет лет, когда мы переедем в новый дом?

Раздраженная его вопросами, Лора пожимает плечами. Впереди видны другие пассажиры, тоже попрятавшиеся от ветра. Поэтому позади палуба пустынна.

— Столько, сколько тебе сегодня?
— Я не знаю, Юри, когда это произойдет.

Лора наклоняется, и лицо обжигает ветер. Ледяной воздух студит зубы, когда разговариваешь, и путается в волосах.

— А тебе будет столько, сколько тогда Томасу?
— Нет, потому что он всегда будет старше меня, глупышка.

Юри заливается смехом, а Лора встает. Юри тоже поднимается, но Лора оставляет его с Петером, а сама выходит. Ветер носится по палубе, норовит сбить с ног, все тело напряжено. Чтобы устоять, Лора хватается за поручень. Далеко внизу медленно вспенивается темная вода. Лора высоко поднимает голову, подставляя свое хрупкое тело порывам ледяного ветра, чувствуя, как воздушные потоки будто тянут ее за руки, кружась в сумасшедшем вихре.

Не отпуская поручня, Лора пробирается за каюту, где нет ни Петера, ни Юри с его вопросами, нет никого. Она оказывается одна на носу парома, скрытая от чужих глаз.

Оставшись наконец наедине с собой, она целиком отдается во власть ветра. Отпустив сначала

одну, потом вторую руку, стоит твердо, обратив лицо к берегу.

Лора смотрит вперед и видит, как будет тихо в доме у бабушки, как улыбнется Вибке, а Лизель принесет пирог. Видит время, когда не будет больше руин, а будут только новые дома, и она больше не сможет вспомнить, как тут все было раньше.

Она стоит, а ветер обжигает лицо, забирается под одежду. Лора не смотрит на воду, видит только далекий берег впереди. Расстегивает пальто — пусть его развевает ветер, пусть закладывает уши. Широко открывает рот — пусть зима проникает в легкие, наполняя острым холодком.

Лора слушает воздух, ощущает, пробует на язык. Ничего не видно, из зажмуренных глаз текут горячие слезы.

Миха

Дома, август 1997-го

От автомобильной стоянки до места, где живет бабушка, идти прилично, и молодой человек промочил ноги. Высотка ярко белеет на фоне зеленых газонов. В солнечную погоду ее обитатели медленно прогуливаются парами по желтым дорожкам, посыпанным гравием, а ома сидит у себя на балконе, на двенадцатом этаже. В такие дни молодой человек останавливается на траве и, отсчитав восемь окон вниз и три вбок, машет рукой и ждет крохотного пятнышка, мелькающего ему в ответ. Сегодня дождь, и молодой человек шагает в одиночку.

Это Михаэль. Его ома зовут Кете, она жена покойного Аскана.

Ома Кете и опа[16] Аскан.

Когда он вписывает свое имя в книгу, сиделка за перегородкой улыбается ему как доброму

---

[16] Примечания: 16
Опа — дедушка *(нем.).*

знакомому. От тепла в вестибюле запотевают очки. Пока он ждет лифта, вода с волос капает за шиворот.

В последнее время Михаэль занялся составлением родословного древа. В очередях, поездах, в минуты досуга он рисует в голове схемы, пласты времени и места, выстраивает стройную паутину дат и родственных отношений, которую можно мысленно плести, заполняя ею свободные уголки дня.

Ома Кете и опа Аскан. Поженились в Киле в 1938 году. Двое детей. Мутти Катрин, город Киль. 1941 год. — Позже — онкль[17] Бернт. В Ганновере, после войны, когда опа вернулся с войны.

Когда Михаэль выходит из лифта, ома уже стоит в дверях. Машет ему через весь коридор и кричит: «Я увидела, что ты идешь. Пробираешься под дождем». Он снимает очки, и ома протирает их подолом фартука. Приносит ему одно полотенце для волос, другое — вытереть ноги. Ботинки оставлены у дверей, носки развешены на калорифере.

---

[17] Примечания: 17
Онкль — дядя *(нем.).*

Михаэль высокий, а ома совсем стала маленькая: ее макушка уже не достает ему до плеча. Наливая сливки в кувшин, раскладывая на тарелке пирожные, Михаэль испытывает обычное воскресное потрясение при виде того, насколько ома постарела. *Родилась в 1917 году, за пятьдесят лет до меня, за двадцать четыре — до мутти, своей дочери. На пять лет позже опа.* Сегодня у ома, когда она говорит, дрожат пальцы. Михаэль сжимает их в своих холодных от дождя руках, и бабушка улыбается.

Всю неделю Михаэль вырезает для ома статьи из газеты и приносит с собой. Выкладывает их на столе, покрытом красной вощеной скатертью, до сих пор пахнущей старым бабушкиным домом. Пока Михаэль ест, ома водит по строчкам трясущимися пальцами. Хотя до Рождества еще несколько недель, сегодня выпечка с глазированными фруктами и марципаном. Перед Михаэлем, по всей стене, висят портреты бабушкиных дядьев, умерших, когда она была еще девочкой. Темные картины маслом, изображающие юношей в военной форме. *Мамины внучатые дядья. Мои, наверное, прадеды. Im Krieg gefallen, павшие на войне. Не на той, где воевал опа, а на той, что была раньше.*

Дождь стучит по стеклу, Михаэль проходит по маленькой квартирке и зажигает лампы. Был бы сегодня погожий день, ома повела бы его на балкон полюбоваться видом на город. *Штадтвальд, Волькенкратцер и Майн.* «Из моего „птичьего гнезда“ я могу видеть вечность», — сказала бы она. Михаэль посмотрел бы на лес, на реку, на далекие небоскребы и согласился.

Но вместо этого они играют в долгую карточную игру. Ома выигрывает, тут и день заканчивается. Положив в карман ключи, ома провожает Михаэля до первого этажа. В лифте закладывает уши, и они улыбаются. «Не очень-то здорово жить на такой высоте», — говорит ома. «Зато подумай, сколько бы мы всего не увидели», — отвечает Михаэль, и она заливается смехом.

Тонштрассе; Вайнерштрассе; Штайнвег; Кирхенвег; Кастаниенале. Михаэль на ходу вспоминает бесчисленные бабушкины адреса. *Киль, Киль, Ганновер, здесь, здесь. Три посередине – с опа, первый и последний — без него.*

На полпути к автостоянке он оборачивается, и ома машет ему с порога. Не уходит до тех пор, пока он не садится в мамину машину. Отъезжая, он опускает стекло и тоже ей машет.

Когда Михаэль приходит домой, Мина стоит в раскрытых дверях и смотрит, как он поднимается по лестнице. Последний пролет он преодолевает медленно, чтобы успеть ее рассмотреть. Улыбаются.

— Я увидела, что ты идешь.

От нее пахнет спиртным. От самого Михаэля пахнет сигаретами.

— Мы открыли вино.
— *Мы?*
– Луиза. Мы с Луизой.

Моя сестра; на три года старше, единственная внучка, врач. Луиза кричит из кухни, пока он снимает пальто.

— Мина рассказала, что ты на прошлой неделе возил мутти и фати пообедать, это здорово. Только скажи, мне просто интересно, как это ты забыл пригласить меня?

Она смеется, но Михаэль знает, что она обиделась. И ответ ей толком не нужен, просто она хочет дать ему это понять. Он улыбается и пожимает плечами. *Вот черт!* Налив ему вина, Мина возвращается на прежнее место. Они с Луизой

сидят на подоконнике рядом с калорифером, через запотевшее стекло виднеется вечернее небо. Почти совсем темно, но они сидят без света. Михаэль становится у холодильника, на другом конце кухни.

– *Как ты вообще, Луиза?*

– Замечательно, спасибо, Михаэль. А ты?

– *Неплохо. Хорошо.*

— Как в школе? Какие страсти кипят в учительской?

– *Слава богу, никаких. Только на большой перемене местные бои за сферы влияния.*

— Что ж, герр Лехнер, я голодна, а Мина сказала, что сегодня твоя очередь готовить.

Луиза опять заходится смехом, а Мина улыбается ему из другого угла комнаты.

— Неправда. Я просто сказала, что нужно дождаться тебя.

Поднимает бокал, чтобы произнести тост. Луиза тоже протягивает бокал, с улыбкой, которую Миха не в силах разгадать. *Луиза, Луиза, Луиза. Боже.*

— *Ты что, хочешь остаться на обед?*

– Ого! Мина! С тобой он такой же противный?

— Хватит, давайте готовить еду.

Мина подходит к холодильнику, открывает, и оттуда на кухонный пол падает свет… Из-под воротника у нее торчит этикетка, Миха дотягивается и заправляет ее внутрь.

– Доеду-ка я до мутти с фати, верну машину. Я недолго.

Луиза поднимается и наливает себе еще вина.

— Ты брал у мутти машину? Ты опять курил в маминой машине? Даже отсюда я чувствую, как от тебя пахнет, Миха. Она никогда тебя не ругает, но она терпеть этого не может, сам знаешь.

Михаэль ничего не отвечает, только улыбается и кивает. Сидящая рядом на полу Мина кладет ему на голень руку и подмигивает.

— Купишь хлеба? Нам нужен хлеб.

Михаэль вытряхивает пепельницы и первые несколько минут едет с открытым окном. *Мутти и фати, Катрин и Пауль. Двое детей, внуков нет, женаты тридцать три года, живут за городом. В двенадцати километрах: это полчаса поездом, а на машине не больше двадцати минут.* Ранний вечер, машин мало, автобан пуст. *Пятнадцать.*

Мать накрыла стол в расчете на него.

— Хоть немного, а? Поешь и поедешь.

Мать Михаэля рано вышла на пенсию. И за полгода никак не может привыкнуть к безделью. «Я женщина молодая, — говорит она. — Мне нужно чем-нибудь заниматься». Каждую неделю у нее новое хобби. Предупредив по телефону Мину, Михаэль остается на ужин, а затем отец отвозит его домой.

— С тех пор как твоя матушка уволилась, она сама сходит с ума и меня сводит.

– Скоро твоя очередь.

— *Она* пусть работает, а я буду заниматься садом, изучать испанский, йогу, астрономию.

– Да ты просто завидуешь, фати, вот и все.

— Завидую? Много хуже, сын. Мне *скучно.*

Михаэль смеется, свет фонарей расплывается по стеклу. *Фати. Родился в 1934 году, мутти — в 1941-м: один в начале, другая – в середине всего этого.* Отец немного успокоился. Расспрашивает о школе, о Мине, но Михаэль видит, как в его глазах срабатывает переключатель: с воскресенья на понедельник, с дома на службу, с сына на работу. Михаэль говорит, что заедет через неделю,

привезет Мину, привезет вина. Отец улыбается, автоматически поднимается стекло, и он уезжает, устремив взгляд в день грядущий.

Утром, перед уходом на работу, Мина будит Михаэля. За окном еще темно. Он слышит запах кофе; во рту — привкус сигарет. *Опять.* Он сжимает губы, когда она его целует.

— Вечером у Сема день рождения, помнишь? Я приду прямо с работы.

Одеваясь, он смотрит, как она на велосипеде переезжает улицу.

Ясмин Деврим; Мина; физиотерапевт; любовь всей моей жизни.

Миха варит кофе, ест рогалик с медом. *Я и Луиза, фати и мутти, ома и опа. Опа, и опа, и опа.* Стоя у окна, полусонный Миха ткет семейные нити — лицо, изнанка; перечисляет, вносит в список, пробираясь вглубь и вширь.

Опа Аскан. Опа Аскан. Опа Аскан Белль.

Хотя все это происходит где-то внутри, на автомате, это не совсем бессознательный процесс. Михаэль хорошо ориентируется в своих воображаемых картах. Он четко знает, куда они его

ведут.

Сегодня первый день августовских каникул. Михе бы проверять тетради, приготовиться ко дню рождения, купить Мининому брату подарок. А он под дождем катит в университет. Идет в библиотеку. Садится к компьютеру и вызывает каталог. Набирает «холокост», выписывает индексы и находит полки. Сегодня он только читает корешки. Черное, золотое, красное тиснение. Зеленые, коричневые, синие переплеты. Бесконечные полки.

* * *

Почему именно теперь?

Михаэль все время задает себе этот вопрос.

Мы узнали о холокосте еще в школе. Ездили в ближайший лагерь, смотрели документы, писали сочинения. Я помню, как плакал наш учитель. Дело было в лагере. Он вышел на улицу, пока мы ели там в столовой. Мы думали, что он пошел покурить, но когда он вернулся, у него были красные глаза.

Миха не помнит, плакал ли он сам. *Думаю, что не плакал.*

Недавно отмечали день рождения дяди Бернта, маминого младшего брата. Всей семьей ходили в ресторан.

О войне, о холокосте не говорили; они вообще не говорили о прошлом. Только о вехах семейной истории: рождении детей, свадьбах, смертях. И вдруг Миха осознал разницу в возрасте: между рождением мутти и Бернта прошло четырнадцать лет. *Дочь до войны, а сын после.* Миха никогда раньше об этом всерьез не задумывался: Бернт был всегда просто Бернтом, одновременно и дядей, и двоюродным братом.

Мама и дядя. Они угадывают настроение друг друга, заканчивают друг за друга фразы. *Брат и сестра.* А ведь они с Луизой совершенно разные. *Их разделила война. Так говорит ома: их разделила война, но они все равно нашли друг друга.* Это ее обычный тост, когда она пьет за детей. За детей, которые сделали ее такой счастливой.

– *Но война была всего шесть лет.*

Так сказал Миха оме в следующее воскресенье, сидя в ее высоком птичьем гнезде.

– *Не четырнадцать.*

Они стояли на балконе. Там она могла вдыхать разлитый в воздухе запах августовских листьев.

— Опа вернулся под Новый 1954 год. Он ведь состоял в *Waffen SS.*

Она сказала так, будто Михаэль всегда это знал.

— Он ушел в сорок первом, попал к русским, и я тринадцать лет его не видела.

SS. Никто ему об этом никогда не рассказывал. Он стоял подле омы на солнышке и смотрел вниз на зеленый с золотом парк. *Почему русские так долго держали опа в плену?*

Ему раньше и в голову не приходило спросить.

* * *

Спустя неделю после дня рождения Сема Михаэль снова идет в библиотеку. Выходит из школы после полудня и направляется в центр. В университетском дворе пусто, тротуары чисто выметены. Уже стемнело, воздух сухой, холодный и пахнет снегом.

Люди в библиотеке молча работают за многочисленными компьютерами. Михаэль знает,

где стоят книги, но снова ищет по каталогу. «Фашист»: на экране высвечиваются ссылки 1–12 из 1547. Идет в кафе, берет кофе и претцель. Непонятно, за что браться в первую очередь.

Михаэль бродит вдоль стеллажей. В этом отделе он один. В дальнем углу зала библиотекарша расставляет книги. Он идет вдоль стеллажей с книгами. Пробегает глазами верхний ряд, средний, нижний, выдергивает наугад, что под руку попадется. Руки уже начинают болеть. Он кладет стопку книг рядом с собой на пол и продолжает поиск. Теперь он читает аннотации, сведения об авторах. Академики, историки, уцелевшие на войне, их дети. Евреи, американцы. Изредка немцы. Много книг на английском языке. Михаэль преподает английский; свободно на нем читает. Стопка книг рядом с ним растет.

Потом он начинает раскрывать одну за другой книги и читать посвящения. Сиротливые имена на пустой странице. Часто это имена родителей, бабушек или дедушек. Михаэль понимает, что они умерли. Погибли.

На другой полке стоят дневники. Американские служащие, журналисты; какая-то немка. *Из того же города, что и ома.* И родилась в том же году.

В три захода Михаэль переносит книги на стол к окну. Библиотекарша медленно приближается. Тележка ее почти опустела. За окном темноту пронзает желтобелый свет фонарей. Михаэль спускается вниз, чтобы позвонить Мине, но включается автоответчик. Он говорит: *«Я буду поздно; ешь без меня».* Наспех выкуривает на крыльце сигарету.

Библиотекарша стоит, склонившись над отобранными Михаэлем книгами, она явно не ожидала его увидеть.

— Вы вернулись?

Коротко, сухо улыбается, отходит к полкам. Михаэлю становится неловко: а вдруг она прочла заголовки? Тут же себя одергивает: *«А что еще здесь можно читать?»* И все же поворачивает книги корешками к стене.

В его распоряжении три часа. Михаэль читает подряд, начиная с верхней книги, делает выписки. Вот дневник с многочисленными газетными вырезками. Написан каким-то американским журналистом: жил в Берлине до войны, потом туда вернулся. Толкует об идеологической обработке, беспрекословности, давлении улицы:

антисемитизм в школах, на плакатах, в переполненных городских трамваях. Михаэль читает с щемящей тоской; перечитывает, выписывает.

Места все заняты, входит пожилая женщина. У нее тяжелые сумки, но никто не встает. Журналист рассержен, он уступает место, но женщина не садится. Как будто не замечает. Другой мужчина говорит «не беспокойтесь» и кончиком зонта чертит на полу, у ног женщины, букву «Е». Та стоит у самого выхода и молчит. Обижена? На остановке выходит и идет по улице. Мужчина с зонтом хохочет. Плюет ей вслед из окна.

Доставая следующую книгу из стопки, Миха пробегает глазами написанное. И на миг замирает в тревоге. Его записи бледны; просто слова на бумаге. Он пишет снова; *отчетливее, пронзительнее,* надавливая на ручку. Подчеркивает: *плюет и хохочет,* но и эти усилия не дают результата; все неправильно. Записи должны говорить о большем, не хуже, чем книги. Должны что-то сообщать о нем самом. Но кроме неловкости, демонстрировать нечего; отклик не получается.

Миха задумывается. *Это была еврейка.* Но когда он записывает слова, они становятся холодными

и безразличными, и он торопливо переворачивает страницу.

* * *

Михаэлю делается страшно. От библиотечной тишины; от холодной отстраненности своих записей. Он решает пойти домой.

Когда он заходит, Мина висит на телефоне, болтает с подругой. Голодный, Михаэль лезет в холодильник за едой. Идет с тарелкой в прихожую, ест и смотрит, как Мина болтает по телефону. Она машинально чиркает ручкой; кончики пальцев и тыльная сторона ладони в черной пасте. Говорит по-турецки, потом по-немецки, потом опять по-турецки. Потом вместе с Михой забирается в ванну. Он хочет рассказать ей о записях и о том, как они его напугали, но Мина бросается пересказывать ему подружкины сплетни, строит планы на выходные. Миха слушает, отмывая ее кожу от чернил. *Я ведь толком ничего не нашел.* Думает про себя. *Тут и рассказывать, наверное, нечего.* Завтра суббота, а пока он лежит в теплой ванной, обняв Мину, и с облегчением предвкушает время, которое они смогут провести вместе.

* * *

Когда Миха вспоминает своего опа, на ум первым делом приходит только хорошее.

Я был у него единственным внуком. Когда я родился, опа нарисовал для меня картинки: птичек, лошадок и белку. Рисовал в госпитале синей шариковой ручкой, разговаривал со мной, лежащим в кроватке.

Михаэль столько раз слышал эту историю, что она стала будто его собственным воспоминанием. Он хранит эти рисунки в коробке в шкафу, над обувной полкой. Картинки красивые: тщательно прорисованные и изящные. Белка держит в лапках орех, а на хвосте видны крошечные штрихи синей пастой, с годами размазавшиеся.

* * *

Еще у Михаэля есть две фотографии, где он вместе с опа.

Одна из них черно-белая. На ней Михаэль еще совсем младенец. Опа — в черном костюме, а Михаэль — в крестильной рубашке. Опа стоит и

держит на руках Михаэля, который с удивлением смотрит на него снизу вверх. Тянется ручонкой к дедову лицу, а опа улыбается ему, подняв брови. Предполагалось, что это будет торжественный портрет, но опа, кажется, забыл про фотографа.

– Это-то мне в этой фотографии и нравится.

Так сказал Михаэль Мине, впервые показывая ей снимок.

– Понимаешь, ему полагалось бы смотреть вперед. А он смотрит только на меня.

Говоря это, Михаэль покраснел, а Мина расхохоталась, но она видела, что он прав. И Михаэль улыбнулся, несмотря на багрянец на щеках, потому что он тоже это видел.

На второй фотографии они сняты незадолго перед тем, как Миха пошел в школу. *Незадолго до смерти опа.* Эта фотография цветная, сделана за семейным столом, опа без пиджака, а Михаэль в пижаме — оранжевой с голубым.

– Пора было ложиться спать. Я пришел сказать «Спокойной ночи», а опа разрешил мне остаться.

На снимке Михаэль сидит, болтая ногами, у опа на коленях и улыбается в объектив. За ними,

повернувшись лицом к камере и подняв бокал, хохочет дядя Бернт. Опа обхватил Михаэля руками за живот и тоже улыбается, но в камеру не смотрит. Он видит только мальчика, сидящего у него на коленях; на столе оставлены снедь и вино, и фотограф снова позабыт.

* * *

Почему не раньше?

Новый вопрос вертится у Михи в голове.

Я давно должен был этим заинтересоваться.

* * *

В субботу после обеда Миха с Миной едут к ее родителям. Это недалеко, но на улице холод, поэтому они садятся в автобус. С утра Мина купила булочек, и из бумажного пакета, что у нее на коленях, аппетитно пахнет сладким. Мать Мины обожает немецкие булочки; по мнению своего мужа, чересчур.

Он приехал сюда тридцать лет назад, работал, как вол, копил деньги, чтобы перевезти к себе жену и детей. Его семья, его корни в далекой стороне,

но работа, круг общения, внуки — все в Германии, все — в пяти минутах езды друг от друга.

Минин отец говорит: «Я турок, этого не изменишь». Германия — страна расистская, этого не изменишь. Это не претензия с его стороны. *Он говорит это не для того, чтобы мне стало неловко.* Михаэль успокаивает себя и все-таки не знает, куда себя деть. Он сидит с яблочным соком в одной руке и печеньем в другой, зажатый с трех сторон. Отец Мины смотрит на него и улыбается.

— Миха, сынок, страна, в которой мы живем, и хорошая, и плохая.

* * *

Они меня любят, Минины родители. Любят моих родных. Они хотят, чтоб мы поженились. Ее мать мне сказала. Она попросила меня поговорить об этом с Миной, но Мина отказала.

Этим вечером Михаэль спросил ее снова, когда они шли домой через парк.

— Нет.

Улыбнувшись, она взяла его за руку.

— Я не хочу выходить замуж. Ты же знаешь.

Михаэль все время ее спрашивал, и она всегда отказывала. Но теперь это беспокоит его не так, как прежде.

– *Ты турчанка или немка, Мина?*

— О боже. Именно об этом отец говорил на кухне? Я просто уверена.

– *И все-таки мне интересно. Могла бы ты определить, немка ты или турчанка?*

– С точки зрения гражданства или с точки зрения меня самой?

– *Тебя, разумеется. Забудь о гражданстве.*

— И то и другое. И турчанка, и немка. Все вместе.

Хохочет.

– *А в первую очередь? Немка или турчанка?*

Мина смотрит на него. Под деревьями темно, но Миха видит, что она улыбается.

— Обещай, что не скажешь моему отцу. И моим братьям.

– *Обещаю.*

— Немка. Немка-турчанка:

Опять хохочет.

— Представляешь, какое было бы у отца лицо,

услышь он такое? На первом же самолете — в деревню и замуж за первого попавшегося кузена.

— *Даже так?*

– Во всяком случае, это бы ему не понравилось.

– *Нет.*

— А ты как думаешь, кто я?

– *Немка-турчанка.*

Она кивает с довольным видом. И Миха кивает. Но про себя думает: *«Турчанка-немка»*, — и это его беспокоит. Это беспокоит его и наутро, когда он выходит из дома.

* * *

Следующие две недели Михаэль ежедневно после школы ходит в библиотеку. Мине говорит, что готовит учебную программу на будущий семестр. Он боится ей сказать, чем занимается на самом деле. Вдруг он найдет деда Аскана в одной из книг, вдруг бросит все прежде, чем найдет его? Он молчит и по той, и по другой причине. По обеим сразу.

Waffen SS. Элита армии. Герои передовой. У Михаэля целый список их побед: *Демьянск, Харьков, Курск.* На листах воображаемых карт в голове Михаэля появляется все больше имен, новых дат

и связей. Но с ними удлиняется и список преступлений. *Oradour, Le Paradis. Еще тогда, когда они уничтожили варшавское гетто.*

Теперь он читает систематично, не так беспорядочно, как прежде. Он изучает книги так же, как вычерчивает в уме свои воображаемые карты: читает сноски, находит ссылки на другие книги, статьи, смотрит по каталогу. Если они есть в наличии, читает. Если их нет, вносит в отдельный список, чтобы потом, когда-нибудь, поискать в других библиотеках. У него скопилась уже стопка блокнотов.

На фотографии тяжело, мучительно смотреть, и все-таки Миха нарочно их отыскивает. Целая обойма улик — вклейка посередине книги. Описания, объяснения бледнеют рядом с тем, что раскрывают снимки.

скулы
нос
лоб
манера держать сигарету (прятать ее в ладонь)

Миха не находит дедова лица. *Молодой Аскан Белль.* Все — молодые немцы с автоматами и

евреи — кажутся на него похожими и ни один не похож по-настоящему.

* * *

Луиза старше. Она помнит опа лучше меня.

— Он был пьяница. Орал, бил стекла, гадил в постель.

– *Ты это помнишь?*

– Не я. Танта Инга. Бернт рассказывал ей, а Инга мне. С нами он был милый. Картинки рисовал. Танцевал со мной, учил вальсировать. Я думала, что он замечательный дедушка, я его любила.

– *Я тоже.*

– Ома до сих пор его любит.

* * *

По дороге домой, пару дней спустя после разговора с Луизой, Михаэлю припомнилось одно утро двадцатилетней давности.

Опа в незастегнутом жилете стоит посреди коридора. Мне, должно быть, лет пять или шесть. Семейный завтрак. Все сидят за столом, переговариваются, ждут, когда опа спустится.

Он стоял тогда в коридоре. Неподвижно стоял, но кивал головою. Я стоял в дверях кухни. Я думал, он мне кивает, но нет. Меня он заметил чуть погодя. Помнится, у меня в руках был горячий пирожок. Опа вытянул руку, она дрожала, как и голова. Сказал:

— Иди садись, детка. Кушай.

Опа вошел вслед за мной в кухню и сел напротив меня. Домашние громко переговаривались, их голоса оживились еще сильнее, когда он поднял бокал. Я тоже поднял свой бокал с соком и увидел, что рука моя не дрожит, а голова не кивает, не то что у деда. Стакан у него был двое больше моего, но он опустошил его быстрее, чем я успел пригубить свой сок.

Мутти разрезала мой пирожок, и я повытаскивал начинку. Хлеб был горячий, и я катал из него шарики. Опа сидел неподвижно и вскоре перестал кивать. Приподнял руки и держал их над тарелкой, а потом ома намазывала ему маслом хлеб, а он застегивал жилет.

* * *

Миха ведет Мину к бабушке.

– Понимаешь, она любит, когда мы вместе.

— Здорово, Миха, правда. Я обожаю твою бабушку.

Мине в своей больнице все время приходится иметь дело со стариками. Михе нравится голос, каким она с ними разговаривает: заговорщицкий, как будто знает их много лет. Болтают, как заправские друзья, покуда она терпеливо приводит в действие старческие руки-ноги. Нравится ему и как реагирует ома: легко и ласково, с явным удовольствием.

Ома прогуливается с Миной вдоль стены, показывает ей рисунки опа; Миха ходит следом. Рисунки убраны в рамки и развешаны в точности так, как висели в старом доме. В точности так, как висели и в прошлый раз. Но Мина ведет себя так, будто видит их впервые, и будто она была знакома с Михиным опа.

— Аскан превосходно рисовал, правда?

— Да, он обожал делать зарисовки. Деревья, вода. Он хорошо умел передать цвет, мне кажется, очень хорошо. Свет на воде, свет сквозь деревья. Взгляни.

— Это мое любимое.

— Березы? И твое любимое, schatz? Да, Миха?

— *Да.*

Ома берет их с Миной за руки.

— Это было во время медового месяца, красивое место. Я купалась, а Аскан рисовал и фотографировал.

— *Давайте их посмотрим?*

Вопрос прозвучал громко, слишком торопливо, слишком нарочито, но Мина с ома, рассмеявшись, соглашаются. Ома достает из прикроватной тумбочки альбом и, раскрыв на фотографиях медового месяца, кладет перед ними на стол. Березовые рощи и ручьи, водные просторы. Ома — пухленькая, молоденькая — стоит в купальном костюме, с мокрыми от купания волосами.

— Глядите, я тогда красила губы. Видите?

— Вы были красивая, Кете.

— Да, я была ничего себе.

Ома с Миной хохочут, а Миха смотрит на молодого деда. *Моложе меня.* Вот медовый месяц; вот стоит без пиджака; вот с велосипедом в руках; вот курит сигарету; на фоне озера. *Выглядит так же. Чуть более худой. Но на самом деле абсолютно такой же.*

По дороге домой в трамвае Миха достает из кармана фотографию. Мина отрывается от книги.

— Тебе ее ома Кете дала?

– *Нет, я сам взял.*

– Правда? Только что?

— *Да.*

Мина хмурит брови.

— Ты должен был спросить разрешения. Я хочу сказать, что она бы тебе ее подарила, я просто уверена.

— *Я не хочу, чтобы она знала, что я ее взял.*

— Но она заметит пропажу.

– *Я сниму копию и положу обратно. Она и не узнает.*

– И все-таки это по-хамски, Миха. Это ее муж, ее память, знаешь ли.

Она рассердилась, Михаэль тоже. Он считает, что у нее нет никакого права сердиться.

– *Она даже не заметит.*

– Ты сам знаешь, Михаэль, что дело не в этом.

– *Мои бабушка с дедушкой были фашистами.*

— Бог мой, да кто тогда ими не был?

– *Да нет же, опа Аскан был в Waffen SS. А не просто состоял в партии.*

Миха смотрит на нее. Он сказал это, чтобы ее поразить, и она действительно поражена.

– Я хочу разузнать, делал ли он что-нибудь такое. Убивал ли.

— Ты имеешь в виду евреев?

– Кого угодно. Хоть и евреев.

Мина прищуривается.

– Для этого мне и нужна фотография.

– Ну да.

Миха видит, как сжимаются ее челюсти, чувствует боль в собственных стиснутых зубах.

— Ты что-нибудь нашел?

– Нет. Нет пока.

– Понятно.

Трамваи останавливается, заходят люди. Они сидят в молчании одну остановку, другую. Потом Мина берет Миху за руку, и напряжение уходит.

Ома была фашистом. И опа тоже.

Для него это пока не вполне ясно, едва проступает, и все-таки очевидно.

Миха закрывает глаза. Держит Мину за руку. Как странно. Странно, но ему хорошо оттого, что

она теперь знает.

* * *

В университете тоже есть собрание видеоматериалов. На рождественских каникулах Миха обследует две полки документальных лент. Библиотека в те дни почти пуста. В кабинках, кроме него, никого нет, но он все равно смотрит с наушниками.

Холодно. На улицах наледь, и старики, чтобы не упасть, осторожно семенят по мостовой. В здании отопление едва работает, и Миха сидит в пальто.

После обеда в столовой его клонит ко сну. Сидя в холодной комнате, он перематывает кассеты, делает пометки. Еще ниже сползает со стула, ненадолго опирается щекой на руку. По мере того как он погружается в дрему, пленка жужжит все тише. Когда просыпается, кассета все играет. Генрих Гиммлер обходит шеренги салютующих эсэсовцев. Подбородок упирается в ворот, пояс на пальто завязан высоко под грудью.

Наушники выпали, в ушах звенит тишина. Миха дышит громко и глубоко, словно еще спит. Память строчит фактами из жизни Гиммлера.

Школьный учитель. Держал у себя экземпляры «Майн Кампф» в переплете из человеческой кожи. Говорил, что эсэсовцы — лицензионные убийцы, у них есть право убивать евреев. Великие нации маршируют по тысячам трупов. Что-то вроде этого.

Гиммлер покончил с собой. Оператор заснял то, что нашли. Теперь Миха это смотрит. Мертвый Гиммлер лежит на голых досках, кулачками сжимая одеяло под подбородком. На нем очки; проволочные кругляшки над закрытыми глазами. Губы сжаты, рот от яда перекошен, на тонких усиках пятнышки крови. Комната, которую он выбрал, уставлена стульями. *Будто в классе.* Окно, деревянный пол. Избежал суда. Жалкая смерть в конце коридора.

Миха вынимает кассету и, раздраженный, отправляется на автобусе домой. Под ногами хрустит рыхлый снег.

– Может статься, опа им восхищался.

Он лежит в постели с Миной и беседует с ней в темноте.

– Возможно, он с ним встречался, может, дотрагивался до него. Может быть, Гиммлер его

воодушевлял.

– Ммм…

– *А ты смогла бы восхищаться Гиммлером?*

– Нет, но я ведь знаю, что он сделал. Мне он противен, потому что он фашист.

– *Да, но опа мне не противен.*

– Это совсем другое.

— *Как так?*

– А вот так. Он твой дед. Если бы Гиммлер был тебе дедом, он бы не был противен. И, увидев его мертвым, ты расстроился бы, а не разозлился.

– *Тебе мой опа противен?*

— Я не знала деда Аскана.

– *Но сейчас, когда ты смотришь у бабушки фотографии?*

— Вроде той, что ты украл?

– *Просто фотографии, любые фотографии. Когда я о нем говорю?*

– Для меня он не фашист.

— *А кто тогда?*

– Твой опа, Кетин муж, отец Катрин. Не знаю. Все сразу.

Миха глядит на Мину, но та говорит с закрытыми глазами.

— А для тебя он кто?

– Мой опа. В большей степени. Но теперь он иногда становится фашистом.

— Он тебе противен?

— Нет.

– А когда он становится фашистом?

— Нет.

— А ты думаешь, что должен быть противен?

— Да.

Мина вздыхает. Глаза по-прежнему закрыты. Натягивает одеяло на грудь, зажав кулачками под подбородком. Миха вздрагивает.

— Так как ты его различаешь? Когда он опа, а когда фашист?

– Не знаю, разные ощущения. Холодно.

– Холодно?

Подавшись вперед, Миха вытягивает одеяло из Мининых кулачков. Она открывает глаза и хмурится.

– Прости. Просто ты так нехорошо держала одеяло.

* * *

Мина приносит с работы видеокассету.

— Я подумала, что тебе это будет интересно. Ее Сабина принесла. Она говорит, что это здорово. Это один ее друг. В прошлом году он ездил в Израиль и снял кассету.

– *Ты рассказала Сабине об опа?*

Михаэль забаррикадировался за кухонным столом, курит. Мина садится.

— Нет, Миха, нет, конечно. Мы просто разговаривали. Само всплыло. Будем смотреть? Кажется, это и впрямь здорово.

Под палящим солнцем стоит старик и вспоминает свою школу, которая была там, где холода. Тогда у него семья была немецкая, говорит он. Немцы, которые были евреями. Евреи, которые были немцами. Между ними не было дефиса, не было черты: не было внутри места, где бы начинался один и заканчивался другой.

На широкой софе рядом с автором фильма сидит старуха. Он обнаружил снимок дома, где она родилась, и привез его ей в подарок, из Берлина в Тель-Авив. Она берет снимок и смотрит, и какое-то время они молчат. Режиссер спрашивает: «Что вы испытываете, глядя на эту фотографию?» Старуха отвечает: «Ничего». По-немецки: *Gar nichts.*

Ничего. Когда интервью окончено, она не отдает снимок. «Можно, я возьму его себе? Можно, я возьму?» — «Да, конечно. Это для вас».

Мина плачет над старухой и ее старым домом, и Михаэль, обхватив ее руками, растягивается на софе.

— Поразительно. Она по-прежнему любит это место, этот кусочек Германии. После всего, что было, после всего этого.

Михе удивительно; так вот из-за чего она плачет. По нему, так старуха сердилась. *Gar nichts.* Вот отчего ему хочется плакать. Оттого, что она сердилась; оттого, что он понимает, что у нее есть право сердиться; оттого, что он не знает, на кого она сердится. На Гитлера, Эйхмана, охрану в Берген-Бельзене, соседей, которые задергивали шторы, когда приходила полиция. На опа. На него.

— *А тебе не кажется, что она сердилась?*

– Да нет, она была так счастлива снова увидеть свой дом. Сам посмотри.

Поцеловав его, Мина останавливает кассету и гасит свет. Она выходит из комнаты, а Михаэль долго еще сидит на одном месте.

Глупо чувствовать вину за то, что случилось до твоего рождения.

* * *

Объявление в библиотеке разодрано в клочья. Кто-то нацарапал на нем свастику, подписав внизу красным *«жид»*. Кто-то другой намарал это слово еще раз, черным. Простое, ксерокопированное объявление. База данных участников войны и их свидетельства, опубликованные и неопубликованные. База данных преступников, судебные процессы от Нюрнберга до наших дней. Миха записывает телефон, но проходит почти неделя, прежде чем он звонит.

Он дожидается момента, когда Мина спускается в прачечную. Она взяла с собой книгу. Спустя пять гудков трубку снимает мужчина. Похоже, он запыхался. Миха говорит, что звонит по поводу базы данных.

— Участников войны?
– *Нет, преступников.*
— Угу.

Просит Миху не класть трубку. Миха слышит на том конце провода его дыхание, щелчок и

писк включенного компьютера. Внезапно ему становится стыдно за свою невежливость. Извинившись, он называет себя, и мужчина смеется, но вполне дружелюбно. Тоже представляется, говорит «добрый вечер». Дыхание у него выровнялось.

— Как зовут? Я имею в виду, как зовут того, кого вы ищете?

– *Аскан Белль. Б-Е-Л-Л-Ь.*

— Белль. Аскан.

Говорит и печатает. Шумит вентилятор в компьютере.

— Идет поиск. Это займет несколько минут.

Миха нарушает тишину.

– *Это мой дедушка.*

— Угу.

Мужчина не удивляется. Они снова молчат, Миха ждет. Ему хотелось бы, чтобы мужчина удивился, хотелось почувствовать себя храбрецом. Михе интересно, храбрец он или нет.

— Нет. Никаких данных на это имя. Есть у него второе имя?

– *Нет.*

— Угу.

Такого Миха не ожидал. Так быстро, всего пара вопросов, просто имя и больше ничего.

– Он был в Waffen SS. На Восточном фронте.
— Угу.

Человеку на телефоне эти сведения не нужны. Просто Миха хочет, чтобы он знал. Знал то, что знает он.

– Его схватили русские. После войны держали в лагере, девять лет.
— Да.
– На него может быть где-нибудь досье?
– Так ведь это русские. Они держатся за свои материалы. Нам мало что известно о том, кого они держали и почему.
– Ох!
— Знаете ли, это, в общем-то, было в порядке вещей. В порядке вещей то, что русские не выпускали немецких солдат по стольку лет. Некоторые вообще вернулись только в конце пятидесятых.
– Понятно.
– Их использовали для рабского труда.
– Понятно. Они не считались преступниками?
– Нет. По крайней мере, не похоже. Никаких

судебных процессов против тех, о ком мы знаем. Даже против тех, о ком знали они.

Какой он добрый, этот мужчина. Михе хотелось разговаривать с ним по телефону, слушать его неторопливую речь. Наступает облегчение. Михе хочется поблагодарить мужчину, сказать, что ему стало легче. Компьютер выключается. Резко обрывается шум вентилятора.

— Что ж. Извините, что не смог помочь.
– *Спасибо.*
— Пожалуйста.

И мужчина кладет трубку. Миха идет вниз, чтобы помочь Мине сложить белье. Рассказывает о мужчине в телефоне и о том, что он выяснил.

— Все было нормально?
— *Да.*
— Значит, все хорошо?
— *Да.*

Однако Михе уже не так хорошо. Такое чувство, что он зашел в тупик.

— Так что теперь?
– *Не знаю. Поищу другого человека с другим списком.*

Миха смеется, а Мина на него смотрит.

– *Побольше.*
– А этот какой был?
– *Тысяч на двадцать, я думаю.*
– Боже, и что, бывают списки еще больше?
– *Да, я читал об одном человеке, у него семьдесят тысяч имен.*

Мина присвистывает.

— Так много?
– *Конечно. Ты знаешь, сколько людей были убиты, знаешь?*
– Ладно, Михаэль.

Он почти кричит. Подвал теперь кажется глухим и маленьким. Слишком маленьким для таких громких голосов.

– *Чтобы убить столько людей, нужно много преступников.*
— Я сказала, ладно.

Похоже на окрик, и Михе становится стыдно. *И когда я успел стать таким праведным?* Он относит белье наверх и приглашает Мину пойти куда-нибудь поужинать.

* * *

Обычно он ездит к ней в воскресенье. Сегодня среда, у Михи рано заканчиваются занятия, и он хочет проведать ома, кое-что спросить. Она удивится, увидев его, будет жаловаться, что нечем его угостить. По дороге в «птичье гнездо» Миха покупает пирог.

Когда он заходит в лифт, сиделка звонит наверх предупредить ома. Ей приходится несколько раз представляться. Когда Миха поднимается на нужный этаж, ома, с хмурым от волнения лицом, уже преодолела с полкоридора.

— Что случилось, schatz? Миха, в чем дело?

– Ничего, ома. Я просто зашел тебя навестить.

– В самом деле?

Недоверчиво берет его за руку.

– У меня рано окончились занятия. Вот, я принес пирог.

— А у Мины все хорошо?

– Да, ома, да. У всех все хорошо. Пойдем, я сварю кофе.

На крохотной бабушкиной кухне Миха чув-

ствует себя незваным гостем. Ома, стоя в дверях, наблюдает, как он раскладывает пирог по тарелкам. Он нарушил привычный распорядок, и ему больно это понимать. *Моя ома стала совсем старенькая.*

— Ты по средам не работаешь?
– *Я просто рано освободился.*
— Ах, да. Ты же говорил.

Миха несет тарелки в комнату. Ома идет за ним.

— По средам с утра ко мне ходит физиотерапевт.
– *А-а. Сегодня она тоже приходила? Твой физиотерапевт?*
– Да. Верно.

Повеселевшая ома, вернувшаяся в свой обычный недельный распорядок, устраивается в кресле.

— Ты принес для меня вырезки?
– *Конечно.*

Миха раскладывает перед ней статьи и ест, пока она их читает. Если ей встречается что-нибудь непонятное, она спрашивает, и он объясняет. Все

словно бы обычно, но неспокойно как-то. Михе кажется, что они сидят за столом с красной вощеной скатертью и играют в обычную воскресную встречу.

Он смотрит на ома. Та перестала читать, просто сидит и смотрит газетные вырезки. Водит по ним пальцами слегка подрагивающих, как будто слишком тяжелых рук. Она не замечает его взгляда. Он спрашивает, затаив дыхание:

– *Ома, а где опа воевал?*
— На востоке, schatz.

Ни малейшего удивления, ни колебаний. Вот тебе географическое направление. Миха, подумав, продолжает.

– *Где на востоке?*
— Он воевал три года, чуть больше. На Украине. В России. Белоруссии. Тогда это все был Советский Союз.

Улыбнувшись, она легко вздыхает, кивает головой.

— Да в Белоруссии. Белой России. Последний год. Он был там уже под конец.

Разрезает пирог надвое и половину отодвигает

Михе.

— Мне слишком много, помогай.

Миха изучает бабушкино лицо, но она отнюдь не выглядит взволнованной. Он решается на еще один вопрос.

– А где в Белоруссии, ты знаешь?

Ома прожевывает кусочек пирога, и рука, в которой она только что держала пирог, повисает в воздухе.

— На юге, кажется. У меня есть атлас. Погоди, я принесу. Ты ешь.

Проходя к книжным полкам, тихонько касается Михи, чтобы тот не вставал. Ищет по списку, потом раскрывает атлас на столе и долго вглядывается в карту.

— Погоди, я найду. Все границы теперь поменялись. Все по-другому.

Миха ждет. От пирога в горле пересохло. Прихлебывает обжигающий кофе, чтобы можно было сглотнуть.

— Я получала от него письма. Иногда каждую неделю. Сверху всегда писался адрес. Вот!

Указывает дрожащими пальцами. Чтобы они не тряслись, ома упирается рукой в страницу. На карте нарисован маленький городок. Россыпь розового на серо-зеленом. Ома тянет его за рукав.

— Тот, который на «S» начинается, возле реки. Он, помнится, писал о реке и о болотах. Видишь его?

— *Да.*

— Хорошо. 1943-й. Скорее всего. Когда русские опять продвинулись в западном направлении.

– *Ты помнишь, когда именно?*

– Летом или осенью. Они там какое-то время стояли. А в конце сорок третьего они сражались опять недалеко от того места. Разумеется, они постоянно перемещались, вслед за линией фронта. В тот последний год оттуда пришло много писем.

Миха поднимает глаза от атласа и смотрит бабушке в лицо. Оно горит от возбуждения.

— Точно. Последнее письмо оттуда он прислал в мае, а вскоре его взяли в плен.

Подперев руками дряблые щеки, она долго глядит на карту, погруженная в свои мысли. *Думает о муже.* Миха пьет кофе, медлит, прежде чем задать очередной вопрос. Обещает себе, что это

будет последний.

– *Ты хранишь дедушкины письма?*

— Нет, schatz, нет. Он все их сжег, когда вернулся.

По ее лицу ничего нельзя сказать. Миха с трудом выдерживает за столом, пока ома ставит атлас обратно на полку. Извинившись, он срывается в ванную. У него, как у ома, трясутся руки, так что даже дверь не может запереть. Он садится на край ванны и вытирает о брючины потные ладони. Пытается представить, как ома жжет дедовы письма. *Где она их хранила? Сердился ли дед, когда их обнаружил? Бросил ли в печь? Или в костер в саду? Перечитал ли перед тем, как уничтожить?*

Чего он написал такого, что хотел бы сжечь?

Миха не может спросить это у ома. Слишком страшно.

* * *

В пятницу на ужин приходят мутти и фати. Миха слышит их смех на лестнице. С порога они целуют Мину. Пока она вешает их пальто, рассказывают в коридоре анекдоты. Входят к нему

на кухню, где он, стоя у плиты, заглядывает в кастрюли. С их приходом в квартире становится весело и шумно. Миха рад, что они пришли.

— Луиза подойдет, как только закончится ее смена. Она сказала, чтоб мы ее не ждали.

Мутти принесла цветов, и вина, и фруктовый салат.

— Мы ведь говорили, что приготовим ужин.

Мина ворчит и лезет в буфет за вазой.

— Знаю. Но вдруг мне стало так скучно.

— Скучно? Я весь в работе, а моя жена скучает. Что-то тут не сходится.

Фати пришел прямо с работы. Он грузно садится за стол, ослабляет галстук и вздыхает. Миха знает, что отец преувеличивает, но он и вправду выглядит утомленным. Мина подходит к нему сзади и массирует плечи.

— Раз в час вам нужно вставать и двигаться. Делайте упражнения для шеи. Вот так.

Выходит из-за его спины и показывает, вращая головой сначала в одну, потом в другую сторону. Фати за ней повторяет и смеется над собой. Миха

с мутти стоят возле плиты.

— Хорошо, что ты так регулярно навещаешь бабушку, Миха.

– *Мне нравится к ней ходить.*

– Знаю, знаю.

– *Это ведь только начало, да? Ты хочешь что-то сказать?*

— Да, хочу.

Миха просто дразнился, но мутти краснеет. Интересно, сказала ей ома, о чем он спрашивал? Интересно, разволновалась ли тогда ома? Он перестает дразнить мать и размешивает соус, который совсем нет нужды мешать. Ладони опять становятся влажными.

— Мне кажется, ее смутил твой визит.

— *Да?*

— Мне кажется, мы должны соблюдать ее распорядок жизни. И приходить в часы для посещений.

– *Правильно.*

– В четверг она забыла, что нужно идти на прием к доктору. Рассердилась, когда за ней пришла нянечка. Утверждала, что сегодня понедельник, потому что вчера у нее был внук. Теперь ей неловко за этот случай.

— Ты не сказал мне, что ходил к бабушке.

Оказывается, Мина прислушивается к их разговору, фати тоже. Обернувшись, Миха замечает, что они оба смотрят на него.

– *Там нечего было рассказывать.*

Отворачивается к плите. *Лжец.*

— Наша ома уже старая.

– *Я знаю, мутти, знаю.*

– Мне кажется, что иногда мы об этом забываем.

— *Я не забыл. В среду я рано освободился, вот и все. Жаль, что так вышло.*

— Все хорошо. Все в порядке.

Миха накладывает, а мутти относит тарелки на стол. Ощущение такое, будто его разоблачили. Он видит летящие на пол тарелки, еду на полу и на стенах. Он сдерживает себя, чтобы не взорваться. *Опа, убийства, родные, я.* Мутти продолжает:

— В общем-то, ты молодец. Я давно не говорила с ней о папе, о вашем деде Аскане. Много лет. А сегодня мы о нем говорили целое утро.

– *Правда?*

— Вы ведь тоже с ней о нем говорили?

– *Немного.*
— Что она рассказывала?

Мина спрашивает это у мутти, а не у Михи, за что он ей очень благодарен. Отвлекает мутти на себя. Ради него. Он это знает. Он делает глоток вина.

— Мы говорили о том времени, когда Бернт был маленький. Тогда мы жили одной семьей. Чудесное было время, теперь уже почти забытое. В нашем доме в Штайнвеге, когда мы туда переехали, опа разрисовал стены нашей спальни. Так красиво! Мне нарисовал океан, Бернту — лес. Над нашими кроватями. А я этого не помню. Ома рассказывала, когда мы уезжали, она зашла в комнату и увидела, как Бернт плачет.

Миха садится за стол и улыбается матери в ответ.

— Мне кажется, она с удовольствием это вспоминала. И с тобой ей понравилось разговаривать, она сама сказала.

Он наливает вина. Ему не хочется ничего говорить, поддерживать разговор. Пусть с его стороны это невежливо, но сегодня вечером он не желает думать о деде и сожженных им письмах. Пови-

сает пауза, и ради него Мина переводит разговор на другую тему.

* * *

Есть несколько архивных кадров с Гитлером, которые смущают Миху сильнее, чем все, до сих пор увиденное.

Рождественская вечеринка, скорее всего, в самом начале войны. В высокогорном доме фюрера собрались все: Геринг, Шпеер, Борман, их жены и дети. Снимали в помещении. Пленка черно-белая, но вся покрыта пылью, будто запорошена. Адольф Гитлер сидит в окружении детей, они смотрят в объектив и улыбаются. Смущенным, робким ребятишкам в кожаных брючках и вульгарных юбочках кому четыре, кому пять, кому шесть лет. Но они тоже улыбаются ему, Гитлеру, и разговаривают с ним. Фильм немой, и Миха не слышит, что дети говорят, но он видит, что они его не боятся. *Он им нравится.* В кадр вбегает девочка, хочет ему что-то сказать, и он, подняв брови и весь обратившись в слух, слушает ее с простодушным выражением лица. Бог-отец или любимый дядюшка, ласковый и добрый. Он смотрит не в камеру, а исключительно на детей.

— Боже!

Мину бросает в дрожь, когда Миха ей это показывает.

Спустя несколько часов, уже на рассвете, она застает его в кухне.

— Я могу принести из больницы снотворное. Попрошу Сабину, и она мне выпишет.
– *Все хорошо.*

Зевая и потягиваясь, Мина заваривает ему чай, массирует голову, и за это он ее обожает. Ибо ему известно, что она не понимает, почему коротенький эпизод с Гитлером вызывает у него ночные кошмары, а изображения Бельзена, Дахау и Аушвица — нет. При виде их он плачет; она видела его слезы. Но из-за них он не теряет сон, не сидит, не курит с пересохшим горлом в кухне до рассвета.

Так не должно быть.

Если бы Миха мог решать, от чего испытывать боль, он бы выбрал иное.

* * *

Миха знает, что Мина не обрадуется, услыхав о его планах. Они ведь собирались пойти в поход, с палаткой. Отправиться на юг, к солнцу.

— Я уже подала заявку на отпуск, Михаэль. Я копила деньги.

– Прости. Прости меня. Мы поедем потом.

— Когда?

– Летом. Откажись от отпуска, и летом мы будем долго отдыхать. Махнем в Турцию.

Он говорит так потому, что знает, как ей этого хочется: Миха в Турции, Миха в гостях у ее родни. Мина смотрит сквозь него.

— Да, да.

Чуть позже он застает ее за чтением путеводителя.

— Куда ты еще поедешь? В Минск, а потом куда?

– На юго-восток. Под Припять.

— А опа Аскан там был?

— Думаю, да. Похоже.

Миха садится к ней на кровать. Мина продол-

жает читать, пролистывая страницы с фотографиями.

— Ты волнуешься?

Спрашивает, не глядя на него. Миха пожимает плечами. Она не настаивает.

Белоруссия, Пасха 1998-го

Миха ждет у главного входа. Мина сказала, что отпросится на полдня и придет проводить. Он наблюдает, как она лавирует на велосипеде между машин. Вечереет, тени становятся длиннее. Мина ставит Миху в нужную очередь за билетом и, немного с ним постояв, отправляется бродить по залу.

Он отыскивает ее в главном зале, перед табло с расписанием.

– Я купил билеты.
— А я нашла твой поезд. Он вон там.

Под крышей над их головами летают голуби. На вокзале пахнет хлебом и кофе, а еще мочой. Они отыскивают свою платформу, поезд уже подали, и Миха садится. Мина смотрит, как он пробирается на место, машет через окно. Он знает, ей

хочется поскорее все закончить, она не может придумать, что сказать. Он пробирается к выходу и уговаривает ее ехать домой.

– *Сходи в бассейн. Позвони какой-нибудь подруге, сходите в сауну.*

Она заходит к нему в вагон и обнимает. Целует.

— Твои любимые.

И протягивает ему пакет с претцелями. Еще теплые, восхитительно пахнущие. Миха смотрит ей вслед. Дойдя до конца платформы, Мина машет рукой, а потом сбегает вниз, перепрыгивая через ступеньки.

* * *

Берлинский Остбанхоф забит до отказа, но в купе новенького поезда пусто. Миха успевает почитать газету, подремать, хоть еще и рано. Когда он ближе к вечеру просыпается, поезд подъезжает к границе Германии. В купе появился второй пассажир. Он старше Михи, у него худое лицо и квадратные очки с толстыми линзами. В ответ на Михину улыбку он кивает. Приходит контролер, проверяет паспорта и билеты, и поезд, грохоча,

снова набирает ход. Польша. Но пейзаж за окном не меняется. Михе не верится, что все это происходит с ним. Съев один из Мининых претцелей, он ложится спать.

* * *

В Минске настоящее пекло. «Жаркая выдалась Пасха, — говорит таксист. — На удивление». Миха сначала общается с ним по-английски, потом пытается заговорить на немецком, но снова переходит на английский. Миха рассказывает, что едет на юг, но таксист не отзывается. Проехав несколько улиц, он показывает Михе, где хороший ресторан. Дальше они едут молча.

В отеле стоит тишина. В тесном холле за широким столом сидит молодая женщина. Она ярко накрашена, от жары ее макияж начинает сдавать. Она отводит Михе просторный и пустой номер. Кровать, да телевизор, да капающий душ в конце коридора. Когда женщина уходит, Миха, открыв окно, ложится на постель и закрывает глаза. В комнате душно. От простыней попахивает сигаретами. За стеной работает телевизор. Доносится музыка и визг тормозов, потом — чьи-то невнятные голоса.

Когда Миха просыпается, в комнате темно и прохладно. Он включает телевизор, потом идет в душ. Лежа в постели, смотрит вечерние новости на непонятном языке. Показывают Германию. Виды Франкфурта, канцлер машет рукой кучке журналистов. Миха выключает телевизор и натягивает одежду.

Ему хочется есть. Он выходит из отеля и отыскивает ресторан, о котором говорил таксист, но так в него и не заходит. Находит бар, но тоже проходит мимо. Ему кажется, что все на него смотрят. Он идет обратно в отель, заказывает в номер блины и поедает их под футбольный матч. Потом заказывает пива, и лишь много позже снова засыпает.

* * *

В Минске Миха проводит один долгий день. Вроде как осматривает достопримечательности, но в действительности просто тянет время. Он устал и совершенно сбит с толку. Весь город — сплошь широкие, унылые проспекты под серым, нависшим небом. Выйдя к реке, Миха бредет вдоль нее по тропинке, избегая дорог, выбирая по возможности парки. Над кронами деревьев

виднеются купола церквей — вот он, Восток.

Для обеда Миха выбирает людный ресторан и жестами заказывает то же, что едят за соседним столиком. Клецки с грибами. *Настоящее белорусское блюдо для настоящего немецкого туриста.* Официантка одобряет. На главной площади он делает несколько снимков. Больше камеру из сумки не достает. Его не оставляет ощущение, что все на него смотрят. В киоске Миха покупает англоязычный путеводитель по Минску. В центре на развороте помещена карта города и его окрестностей. Вся карта усеяна красными точками; он смотрит в указатель. Места фашистских расправ; зачищенные гетто, стертые с лица земли деревни, расстрелянные жители. На мгновение Миха застывает в ужасе посреди дороги. Он вспомнил, зачем он здесь.

* * *

Два города, где бывал опа. Восемь деревень. Расположенный к северу от болот немецкий оплот сопротивления, где закончился последний для него год войны.

Миха приезжает в сумерках. Добираться из Минска пришлось на перекладных: на двух элек-

тричках и автобусе. Солнце скоро сядет, нужно искать ночлег. Городок маленький, нет даже автовокзала, только остановка. Миха садится на обочине и доедает Минины претцели. Они зачерствели, но ему, голодному, все равно. Здесь холодно и сыро. Прежде чем пойти искать комнату, Миха достает из рюкзака и натягивает еще один свитер.

Он находится на центральной улице — асфальтированной, с двусторонним движением. Обочины выложены бетонными плитами, ответвляющиеся улочки тоже забетонированы. От них отходят проселки; в иных местах укатанная грунтовая дорога крепка, как бетон, а по обочинам — лужи и слякоть. Когда он добирается до окраины, на центральной улице загораются фонари. Михе приходит в голову, что гостиниц здесь может и не быть. *Уж больно маленький городок.*

Он возвращается обратно, идет мимо остановки, хоть и не помнит, чтобы на въезде в город была какая-нибудь гостиница. На улице пусто, спросить некого. В домах загораются окна, по дороге мимо, еще издали осветив Михину фигуру фарами, катит грузовик. На соседней улице тарахтит двигатель, какой-то механик заработался

допоздна. С открытого капота свисает лампочка, а хозяин машины копается в моторе.

Миха тихонько стучит по крылу. Механик приветственно улыбается, по-немецки и по-английски он не говорит, и терпеливо ждет, пока Миха продирается сквозь дебри разговорника. Снова улыбнувшись, механик жестами изображает спящего: глаза закрыл, голову положил на замасленную ладонь. Миха понимающе кивает, и, ударив по рукам, они отправляются к механику домой.

Маленькая комнатка нравится Михе сразу. Железная кровать; дощатые стены, выкрашенные в бледнозеленый; на окне пыльные кисейные занавески; стул и столик; огромный гардероб. Комната расположена в задней части дома, ее единственное окно выходит в сад, в темное вечернее небо. Механик доволен, что Миха согласился остаться. Он пишет на бумажке цифру, и Миха расплачивается за три ночи.

В кухне механик сажает Миху перед стаканом водки и скрывается за дверью. Через пару минут он возвращается со старушкой и увесистым томом. Старушка несет чугунок и буханку хлеба. Пока женщина достает тарелки и нарезает хлеб,

механик листает книгу в поисках карты Европы. Подталкивает книгу Михе через стол, показывает пальцем на него, потом на книгу, потом снова на Миху. Миха указывает на Германию, и механик, энергично закивав, переговаривается о чем-то со старушкой у печки. Миха выжидающе смотрит на них, но они улыбаются. Миха не ожидал такого гостеприимства. Старушка ставит перед ним на стол суп, кладет хлеб. Погладив Миху по плечу, придвигает стакан с водкой к его тарелке.

Механик кладет руку на грудь.

— Андрей.
– *Михаэль. Миха.*

Привстав, они жмут над столом друг другу руки и улыбаются. Андрей представляет старушку как свою маму, или бабушку, Миха не совсем понял. Он протягивает ей руку, но та, улыбаясь, отмахивается, показывает на суп. Миха ест, а они смотрят и переговариваются между собой. Миха понимает, что речь ведут о нем, но неловкости не испытывает, ему даже нравится ласковый, шепчущий звук их слов. Андрей, подав жестом знак, снова выходит за дверь. Старушка улыбается Михе через стол, говорит с ним на белорусском или на русском, не разобрать. Он тоже ей улыбается и

ест хлеб, который она для него нарезала.

Андрей приводит с собой нового молодого мужчину. На нем тоже надет засаленный комбинезон, под широкими ногтями черно. Он немного знает по-немецки и переводит для Андрея и его матери-бабушки.

— Они хотят знать, почему ты ехать к нам. Из Германия.

Миха видит, как он краснеет, стыдясь за свой хромающий перевод. *Я не могу сказать о деде.* Ему так уютно сегодня здесь, на этой кухоньке. Миха отвечает, что у него отпуск: *«Я — турист»*, — и они начинают смеяться. Андрей говорит, мужчина переводит.

— У нас тут есть люди из газет. Чернобыль. В Припяти радиация, и они едут мимо наш город. Это недалеко.

— *Я не журналист.*

— Да. Хорошо. Они рады, что турист. Андрей и его мать.

Всей компанией пьют водку; сидят вместе за кухонным столом и улыбаются друг другу. Андрей пускается было в новые расспросы, но мать шлепает его по руке. Андрей виновато смотрит

на Миху, снова жестами показывает «спать», и Миха кивает. Все встают, и Андрей ведет Миху в его комнату. Показывает, как включать свет, где находится туалет, и они желают друг другу спокойной ночи.

Миха, пока чистит зубы и укладывается в кровать, слышит в кухне их голоса.

* * *

Теперь, когда он здесь, он не знает, что делать. Нужно искать людей, расспрашивать, не тратить время зря. У него есть единственная фотография, которую он так и не положил обратно в бабушкин альбом, что у изголовья кровати. Опа во время медового месяца, на фоне озера, без пиджака. *Всего за несколько лет до приезда сюда.*

У Михи четыре дня, и ему страшно.

Андрей дает ему свой велосипед и карту местности. Он показывает Михе, где есть красивые места, а его мать заворачивает ему в дорогу еду. Миха едет, перекусывает, снова едет.

Вечером, пристроив на колене дедову фотографию, он пишет письмо Мине. Пытается представить деда в форме. Вот он стоит с автоматом в

дверях Андреевой кухни; а вот на перекрестке на окраине города. Этот воображаемый мужчина с нашивками SS — фашист опа. Человек на снимке — просто опа. Опа, каким он был до того, как Миха родился, но все равно тот же опа.

Он пишет Мине, что пока не слишком преуспел. Зачеркивает, начинает заново. *Не слишком старался.* Но и это перечеркивает. Берет новый лист и пишет то, что думает на самом деле. *Я трус. Я не знаю, что делать.*

Андрей возит Миху в своем пикапе. Михе нравится слушать, как Андрей перебрасывается шутками со своими заказчиками, и хотя он ни слова не понимает, он улыбается и от чистого сердца пожимает им руки. Он ходит по деревням, где на крылечках сидят старики, наслаждаясь теплым пасхальным утром. Показать бы им фотографию да спросить, не знают ли такого, думает Миха, но проходит мимо.

Что они смогут сказать? Он убил моего брата и еще двадцать человек? Расстреливал евреев вон в том леске? В том, прямо за моим домом. Он, видите ли, их ненавидел и хотел уничтожить.

Миха пытается представить себе голос, гово-

рящий ему это, представить лицо. Пытается представить, каково оно, услышать такое.

Андрей обращается к нему на белорусском языке, Миха отвечает по-немецки, и они отлично ладят. На обед они пьют обжигающий чай и едят сытный хлеб с маслом и вареньем. Совсем как в Германии. Погожий весенний денек; они сидят на бровке у обочины дороги. Проезжающие машины сигналят, и Андрей приветственно взмахивает рукой. На обратном пути Миха покупает пиво для всех троих. Вечером они сидят в кухне, смотрят телевизор. Андрей и старушка смеются, Миха тоже.

Мне нужен переводчик.

Он ложится спать, но не может уснуть.

Наутро он встает рано, чтобы до завтрака сходить к Андрееву другу. Тому, что знает по-немецки. Книги в библиотеке все на белорусском языке, отвечает тот, удивившись, что Миха хочет их читать. Английские книги, немецкие книги — в Минске. А тут нету.

– Мне нужно кое-что узнать о здешних местах. Об этом, скорее всего, знают только местные люди.

Друг переминается с ноги на ногу. Миха не упоминает про деда, говорит только о войне, об оккупации и фашистах, впившись взглядом в воротник собеседника. Михе хочется попросить его о помощи. Чтобы тот знакомил его с людьми и переводил. Но речь Михи темна и неясна. Даже для него самого.

Андрееву другу за него тоже неловко.

Тут есть музей, говорит он. Не в этом городе, в соседнем. Он доводит Миху до дороги, тормозит машину и, просунув голову в открытое окно, говорит водителю, куда отвезти Миху. Оба коротко взглядывают на Миху, и водитель, улыбнувшись, распахивает дверцу. Андреев друг жмет Михе руку.

— Городок маленький. Но музей хороший.

* * *

Возле старой ратуши Миха отыскивает ветхое деревянное здание с бетонным полом. Все здесь устроено с любовью. На стенах рядами развешаны фотографии. Под ними — акккуратные таблички, вокруг — шнурки, протянутые между самодельными стойками, ограждающие

музейные экспонаты от посетителей. У входа на складном стульчике сидит молодая женщина и читает. Миха опускает монеты в ящичек у ее ног; улыбнувшись, она снова погружается в книгу.

На одной стене висят картины и фотографии города, каким он был в начале века. 1925 год, центральная улица, пыльная и оживленная, резко отличается от теперешней, асфальтированной, пустой, разве что изредка проедет машина. *Тогда, перед войной, он был больше. Процветал.* Дома, люди, рыночная площадь. За окном дует ветер. Слышно, как шумят деревья. Ветки стучат в слуховое оконце на крыше музея.

Миха дошел до первого угла. Напротив него, в другом углу, стоят три портновских манекена, на каждом — военная форма. SS, вермахт и третья какая-то незнакомая. Грудь колесом, пустые рукава вяло свисают. Он не решается подойти к ним открыто. Прежде оборачивается. Но женщина на него не глядит, читает.

От манекенов Миху отделяют экспонаты и фотографии, запечатлевшие евреев, живших в городке до войны. Маленькая школа, написанный на идише учебник. Кладбище, надгробиями которого мостили улицы. Наконец решившись,

Миха продвигается к военным мундирам.

Они измяты и потерты. *Здорово износились.* Два из них немецкие, а тот, который незнакомый — русский. На тяжелом эсэсовском пальто не хватает пуговицы. *Оторвана, отрезана, отстреляла, потеряна.* Пальто настоящее. *Кто-то снял его с трупа и взял как трофей. Или же его бросил хозяин, когда бежал от Красной Армии. Или же его нашли, а потом носили с удовольствием, хоть и было оно немецкое. Тогда была зима и было холодно, а пальто шерстяное, теплое.*

Завершают экспозицию сплошь военные снимки. Миха бегло просматривает их, до мундиров осталось всего ничего. Он внутренне готовится к тому, чтобы увидеть их вблизи, потому что знает, что за ними кроется. *Публичные казни, улыбающиеся немцы, общие могилы, массовые расстрелы.* Он не ошибся. Поникшие головы, тела, свисающие с деревьев. Молодые мужчины, целятся из винтовок в детей. Солдаты стоят, курят на солнышке, а за ними, белые и обнаженные, лежат рядами мертвые.

Миха вглядывается в лица солдат, ищет дедовы скулы, высокий лоб, глубоко посаженные глаза. Сигарету, спрятанную в ладони. Миху прошибает

пот. Его там нет. Миха еще раз проходит вдоль стены, снова ищет и снова не находит.

Молодая женщина наблюдает за Михой. Но, встретившись с ним взглядом, смущается. Он пробует увидеть себя со стороны: ходит человек, разглядывает эти страшные снимки. Что ему делать — уйти, остаться, заплакать? Он не знает. Теперь ему все равно; сегодня он изо всех сил храбрится. Миха подходит к смотрительнице.

– Вы говорите по-немецки?

Она смотрит снизу вверх и ни слова не понимает, только хмурится. Потом кажется, извиняется.

– Вы говорите по-английски?

— Да, немного. Простите.

– Может быть, вы мне поможете? Вы не скажете, все эти фотографии были сделаны здесь? В этом городе?

– А-а. Те фотографии на стене? Оккупация?

— Да.

— Думаю, да. Я точно не знаю, подождите.

Она кладет книгу и торопливо идет к стене, громко цокают в маленькой комнатке каблуки. Она движется вдоль стены, читает надписи, имена и даты, а Миха идет следом.

— Вот эти — да.

Показывает ему.

— На этом стенде. Другие тоже сняты в Белоруссии, но на севере, и некоторые на западе. Их здесь разместили, чтобы показать, что все это происходило по всей стране, понимаете?

– Да. Спасибо. Вы не знаете, какие дивизии SS здесь стояли? Waffen SS?

— Здесь, кажется, есть полный список.

Она идет к полкам, что в углу комнаты, и достает какую-то рукописную книгу. Она явно рада помочь и ничуть не смущается иностранца. Он же весь взмок от волнения.

— Вот, смотрите. На этой странице.

Список длинный: вермахт, SS, полицаи, но Миха сразу видит дедову дивизию. Должно быть, что-то случилось в тот момент с его лицом, потому что женщина, когда он наконец поднимает глаза, упорно смотрит в сторону.

– Спасибо.

– Пожалуйста.

Она смущенно улыбается, все еще избегая встречаться с ним взглядом, и возвращается на

место к своей книге. Некоторое время Миха стоит не глядя на снимки. Слава богу, женщина на него не смотрит.

Не так уж это и плохо. Миха разговаривает сам с собой. Говорит очень тихо, но это помогает прислушаться к себе. *Я приехал сюда убедиться, что опа здесь бывал. Я был к этому готов.* Собственное спокойствие его удивляет. Миха расписывается в книге для посетителей: полное имя, полный домашний адрес. Я здесь побывал; он тоже когда-то.

– Не скажете ли вы, есть кто-нибудь, с кем бы я мог поговорить? Об оккупации.

– Историк?

Женщина удивляется, раскрытая книга повисает в воздухе.

– Или тот, кто помнит войну. Кто жил в то время.

— Не знаю. Мне нужно подумать.

– Я могу приехать завтра.

– Вы завтра хотите поговорить?

– Если вы найдете с кем. Или даже сегодня.

— Хорошо, завтра. Возможно.

— Правда?

— Я спрошу своего деда, возможно, он сможет помочь.

– Он мне все расскажет?

— Ну, я не знаю. Может, посоветует кого-нибудь.

Она сомневается. Миха заранее благодарит ее за то, что согласилась помочь, и обещает вернуться назавтра. Кивнув, она смущенно пожимает его протянутую руку.

Наутро старик уже в музее, но говорить отказывается. «Он пришел на вас посмотреть, — поясняет молодая женщина. — Давно не видел живого немца». Переводя это, она краснеет и прикрывает рукой улыбку.

— Он говорит, что в соседней деревне есть один человек, вам с ним стоит побеседовать. Иосиф Колесник. Он немцев вспомнит. Вам нужно идти к нему сегодня днем. Дед скажет ему, что вы придете.

– Во сколько? После обеда? Мне нужно подождать до обеда?

Миха пытается заглянуть старику в глаза, но тот только шамкает губами и кивает на внучкины слова. Он уходит прочь, так и не поговорив.

* * *

Деревня совсем близко: три, быть может, четыре километра. Когда Миха туда приезжает, часы на булочной показывают без четверти два, а ему всего пять минут ходу. Точное время не назначали: днем, после обеда, но Миха опасается, что дома еще никого нет.

Еще раз сверив адрес и снова постучавшись в дверь, он в растерянности садится на крыльцо и ждет.

Дом деревянный, крашенный сине-зеленой краской. Миха сидит на ступенях, которые ведут на узкую веранду, опоясывающую дом. На дальнем конце тоже видны ступени. Они выходят к садику и грязной дорожке. На дорогу смотрят два низких оконца, через полчаса или около того Миха встает и барабанит по стеклу. Тишина. Он стучит снова, в другое окно, и, сложив руки козырьком, заглядывает внутрь. Ни звука, ни шевеления, в доме пусто.

— Эй!

Стекло запотевает от дыхания, он быстро протирает его рукавом. В доме по-прежнему тишина.

Михино «эй!» гремит в ушах, как гром среди ясного дня. Там, на веранде, он замечает, как у него дрожат руки, дрожат и понемногу успокаиваются. Помявшись на крыльце неприветливого безмолвного дома, Миха откатывает велосипед на другую сторону улицы и садится на низкий забор напротив. Здесь ему уютнее; руки в карманах, ладонь сжимает фотографию деда.

Только бы он вспомнил деда.

Только бы вспомнил, мне так этого хочется – и так не хочется.

Миха поднимается и идет. Бросает велосипед и идет. Доходит до одного конца улицы, потом до другого. Бегут минуты, показались какие-то люди, машина и тут же пропали из виду. Он снова садится.

Такого он не предвидел.

Уже поздно; к ногам через всю улицу протянулись тени. С такого расстояния, через дорогу, дом выглядит иначе. Возможно, не таким уж и пустым. Вот за занавеской показался огонек, он приближается к окну. Что ж. Отсюда, с другой стороны улицы, Миха легко может представить, что в доме кто-то есть. Стоит себе за дверью или

прячется за окном; сидит тихо и неподвижно, покуда незнакомец стучится в окно.

У Михи нет часов, и он не знает, сколько времени он здесь провел. *Два часа. Три. Больше.*

Солнце уже не жарит. Но еще не вечер, и уезжать рано. От сидения занемели ноги. Он прохаживается взад и вперед, пока ноги не начинает колоть, а потом расшнуровывает ботинки и трет ступни. Подняв голову, Миха обнаруживает, что он здесь не один.

На крыльце стоят и смотрят на него старик и пожилая женщина.

– Вы Иосиф Колесник?

Подхватив велосипед, Миха устремляется через дорогу. Он их и не заметил. *Наверное, они подошли со стороны сада. По той дорожке.* Увидев у старика сумку с продуктами, Миха думает: *«Как хорошо, значит, он ходил в магазин. Ходил в магазин, а не прятался».*

— Вы Иосиф Колесник? Вы говорите по-немецки?

— Да.

– Вы правда Иосиф Колесник?

Старик молчит. Миха останавливается.

– Вам позвонили? Мне сказали, что вас предупредят.
— Да.

Миха снова трогается с места. Он не знает, что сказать. Три часа ожидания. Солнце садится, а он никуда отсюда не уходил, чтобы не пропустить его. Боялся, что он придет, и что не придет, тоже боялся. И вот он пришел.

– Скажите, можно задать вам несколько вопросов? Всего несколько? Вы разрешите?
— О чем?

Старик поднялся на третью ступеньку, жена остановилась ниже, у него за спиной. Сунув руку в карман, Миха нащупывает гладкую, глянцевую поверхность снимка.

– Меня зовут Миха.

Миха протягивает дрожащую руку, а фотография остается в кармане. Старик перекладывает сумку в другую руку, но не реагирует.

– Меня зовут Михаэль Лехнер.
– Вы немец?
— Да.

Старик поворачивается к жене, та, взяв его за руку, что-то говорит. Как будто зовет его уйти; как будто просит его, чтобы прогнал Миху прочь.

– Я был в музее. Мне сказали, что вы все помните.

Женщина продолжает говорить. На ответ старика тяжко вздыхает. Миха ждет, когда же с ним заговорят. Но они только смотрят на него; он тоже смотрит на них и вдруг ужасается тому, что он собирался сделать. Реакции, которую бы это вызвало.

Нет.

Слишком трудно. Во рту солено. Гортань саднит от отчаяния.

А если бы он вспомнил деда? Хорошее бы вспомнил? Было ли там вообще хорошее или одно только плохое?

Подкатывают слезы. Миха чувствует их в груди, чувствует, как они подступают к глазам. Старик спрашивает:

— Помните что?

Миха не отвечает, стоит не шевелясь.

Если я покажу, тогда он скажет: да, я был с ним знаком, или скажет: нет, я такого не знаю. Это будет уже кое-что. Хоть какой-то результат.

Миху прошибает пот.

— Постойте.

Нет, слишком трудно. Слова не идут, только слезы.

– *Простите.*

Дыхание перехватывает, глаза наполняются влагой.

– *Простите.*

Не отпуская велосипеда, он утыкается лицом в рукава, пытаясь укрыться от дневного света.

– *Минуточку.*

Женщина сходит с крыльца. Достает из авоськи рулон туалетной бумаги, отматывает и протягивает кусок Михе. Он вытирает лицо и нос. Женщина отрывает еще кусок. Иосиф Колесник смотрит под ноги. Его жена берет у Михи велосипед и, прислонив его к забору, уходит в дом.

Старик поражен. У него во дворе плачет немец-

кий парень. Миха боится, что еще и рассердил старика, но тот молчит. Он опускается на ступени веранды. А Михе нестерпимо хочется сесть рядом, прислониться к гладким деревянным перилам. Его жена выносит Михе водки и носовой платок, но она явно недовольна. Миха знает, она хочет, чтобы он ушел, и муж ее хочет того же. *Перестань плакать и иди.*

– Иосиф Колесник.

Старик прижимает руку к груди.

— Елена Колесник, моя жена.

Та кивает, и тогда старик встает.

— Пожалуйста, уходите.

Он произносит это тихо, подступая к Михе, спускаясь ниже на ступеньку.

— Это было давно. Худое время. Я старик. Пожалуйста, уходите.

Странно, что он говорит «пожалуйста». Есть в этом какая-то неспешность, доброта. Он протягивает руку; и этим жестом гонит Миху прочь от своего дома.

Миха теперь так к нему близко, что может

заглянуть в глаза, но не заглядывает. Может показать дедов снимок, но не показывает. Слишком это трудно, к тому же начинает смеркаться. Он садится на Андреев велосипед и уезжает.

* * *

К дому Андрея он подкатывает уже затемно. Дома никого нет. Миха моется, бреется и ложится в постель. Не выключая света, лежит и смотрит в стену, а воспоминания о прошедшем дне болью отдаются в голове.

Позже, постучавшись, входит Андрей с ужином на подносе.

Миха протягивает ему свой бокал пива, сам пьет из бутылки. Миха ест, а Андрей молча сидит рядом. У Михи все еще припухшие от давешних слез веки; Андрей не мог этого не заметить. Он сидит с Михой, и Миха рад.

Через два дня я буду рядом с Миной.

Миха снова плачет, и Андрей забирает с колен поднос и укрывает ноги одеялом. Гасит свет и в темноте, перед уходом, шепотом говорит какие-то слова. Михе неясно, что он говорит, но так приятно его слушать. Слушать чей-то голос, а

потом погрузиться в сон.

Дома, весна 1998-го

Весна идет своим чередом. Миха ездит в школу на велосипеде, благо погода хорошая, бьется над Шекспиром с выпускным классом, прогуливается с ома по парку.

Он, однако, не оставил зимних привычек и почти каждый день после занятий ходит в библиотеку. Иногда читает, чаще просто сидит — эдакое покойное время после работы. Миха и сам толком не знает, зачем он здесь, поэтому держит свои походы в тайне; всякий раз возвращается домой раньше Мины и стряпает ей ужин.

Жизнь продолжается, хоть он к этому и не готов.

* * *

Михаэль сидит на краю ванны, а Мина пристроилась на унитазе.

– *Ты думаешь, ты беременна?*
– Подожди.

Мина берет Михаэля за запястье и поворачива-

ет так, чтобы была видна секундная стрелка.

– А эти тесты надежные?
— Лучше любых докторов, как говорит Сабина.
– Тогда почему они ими не пользуются?

Мина пожимает плечами.

— В общем, вот. Голубая полоска или не голубая?

Она протягивает Михе узкую белую бумажку, и он разрывает ее сверху, как показано в валяющейся на полу инструкции.

– Голубая.
– Понятно.

Миха не в силах сдержать улыбку. *Перестань улыбаться.*

— И что ты думаешь?
— Что это голубая полоска.
– Нет, я имею в виду, ты хочешь ребенка?
— Я беременна. И я рожу ребенка.
– Правда? То есть я хотел спросить, ты рада?

Скажи, что рада, ну, пожалуйста. Мина сидит, закрыв лицо руками, голос глухо доносится из-под ладоней.

– Так ты рада?
— Да. Думаю, да.
– Думаешь?

Мина смеется. Ну как ей не радоваться, думает Миха.

— Я рада. Здорово будет. Я рада.

Она встает и, обняв Миху, увлекает его из ванной. Он так счастлив снова оказаться дома, счастлив быть рядом с ней.

* * *

Михино письмо прибывает из Белоруссии много позже его самого. Примерно через месяц. Мина плачет над ним.

— Никакой ты не трус. Ты ведь отважился поехать туда и все это пережить.

Она говорит, будто все навсегда в прошлом. Миха не отвечает. Она ведь ничего не знает об Иосифе Колеснике, о тех слезах и о фотографии, которую он вез в далекую Белоруссию, но так и не показал.

* * *

Миха теперь видеть не может дедов снимок.

Если бы только можно было его выкинуть.

В воскресенье ома варит кофе, а Миха выкладывает припасенные для нее газетные вырезки. Он стоит у окна — фотография в кармане — и ждет удобного момента, когда ома усядется. Она отворачивается, чтобы отрезать себе кусочек пирога, и Миха проскальзывает в спальню.

Вставь ее обратно, садись и пей кофе.

Именно это Миха и собирался сделать, а теперь застрял на месте. Сидит на мягкой бабушкиной постели с альбомом на коленях.

Опа, новоиспеченный муж, во время медового месяца. Аскан без пиджака на фоне озера, снова вставленный в прорези страницы. 1938-й. Миха листает назад, на семнадцать лет раньше, когда опа был папой. Опа за руку с маленькой Катрин. Аскан в темном костюме, с улыбкой склонившийся над сыном в колыбельке.

Миха листает альбом туда и сюда. 1955-й; у опа поредели волосы, прибавилось морщин; сам

он располнел, а руки похудели. *А между?* Двое детей, почти два десятка лет образцового брака. Семнадцать лет! Но если бы Миха не знал, он бы никогда не догадался, что за это время были и война, и плен.

Захлопнув альбом, Миха пытается себя убедить: *он был солдат.* Но из головы не идут те фотографии из музея. Пухлые страницы; целый альбом с изуверствами где-то между медовым месяцем и новорожденным сыном.

— Неси его сюда, schatz. Садись здесь. Я так редко тебя вижу.

В дверях стоит ома. У нее немного трясется голова, сказывается возраст. И она стала еще меньше, вся ссутулилась, ослабела, едва достает Михе до плеча.

Я ездил в Белоруссию. Вернулся совсем недавно.

* * *

Какой-то музей, какой-то старик; *потерянные дни;* и ничего более. Миха снова готов разреветься. Прямо здесь и сейчас, в этом «птичьем гнезде», на бабушкиной постели. Как он зол на себя за те дни. За то, что так бездарно их истратил.

– У нас будет ребенок. У нас с Миной.

Ему сейчас необходима бабушкина улыбка, ее радость. Что-то, что прогонит злость.

— Миха! Что я слышу! Повтори!

Она протягивает к нему руки. Надо бы ее обнять, но Миха не в силах.

– Но ты не должна никому говорить, ома. Прошу тебя. Это пока секрет, понимаешь?
– Да-да, конечно, schatz. Понимаю. Ребенок!

Она обхватывает его щеки ладонями и целует. Теперь можно плакать, и Миха плачет, потому что тут ничего не надо объяснять. Улыбаясь, ома приносит бумажные салфетки и пирог; достает из ящика, где она их хранила, детские книжки.

— На всякий случай. Видишь ли, я всегда надеялась. Это тебе и милой Ясмин.

Моя ома.

Михино родословное дерево. Дедова ветвь. Но на нем история обрывается.

* * *

В поездах и автобусах, в школе, супермаркетах, кинотеатрах и барах — всегда у Михи при себе дедов снимок с медового месяца. Дедовы ноги пересекает ветхий сгиб. И чтобы снимок не порвался окончательно, Миха покупает для него пластиковый футляр.

В школе проходит праздник, посвященный освобождению из лагерей, и дети произносят речи. Многие из них плачут. Учитель истории рассказывает молчаливому залу — наполненному родителями, старшими и младшими братьями и сестрами — что это за день. Михаэль, изнывающий от стыда и ярости, сидит за спинами коллег.

Мина сидит в постели, Михаэль курит в коридоре. Он не уверен, удастся ли ему это передать — то, как он злился, какими глазами видел сегодняшний день.

– Каждый год этот чудовищный праздник одинаков. Ученики читают воспоминания очевидцев. Все заливаются горючими слезами: «Как мы могли!». Затем за сочинения выставляются оценки, плакаты сворачиваются, и мы устремляемся

вперед, к следующему мероприятию.

— Что ж ты тогда промолчал?

– Не могу же я говорить об этом с другими учителями.

— Почему нет?

– Да они слушать меня не захотят.

Михе приходит на ум, что Мина тоже не хочет его слушать. Он продолжает.

– Это табу, запретная тема. Это говорит о том, что у нас хорошая, открытая для всех школа.

– Так оно и есть. Мне кажется, что это хорошо. Ученики должны об этом знать.

– Но они все перевирают. Они отождествляют себя с очевидцами, с жертвами.

— Откуда ты знаешь?

– Именно эти слова им вдалбливают. Именно от этих слов они плачут.

— А плакать им не следует?

– Да нет же, пусть плачут. Но плачут оттого, что это натворили мы. Мы это сделали, а не с нами.

Мина, взбивая под головой подушку, вздыхает.

– Они должны плакать не только потому, что

все это произошло, но и потому, что произошло это по нашей вине.

Миха старается себя сдерживать. Мина не любит, когда он начинает кричать, а он в последнее время кричит очень часто.

– *Ты понимаешь, о чем я говорю?*

– Думаю, да, Михаэль. Да. Только «мы» этого не делали. То было другое поколение.

– *Но мы им родня. Все равно это мы. Я имею в виду, не один я такой. Наверняка в том зале каждый год сидят и другие, у кого деды такие же, как у меня.*

– Не у всех. Среди твоих учеников есть турки, так ведь? А греки? Иранцы?

– *Ладно, я говорю о тех, у кого родители, бабушки с дедушками были немцы.*

— Но они этого *не делали,* Михаэль. Правда, не делали. Дети, ученики эти. Даже чистокровнейшие из чистокровнейших немцев.

Миха умолкает. Мина рассердилась, подняла брови.

– *Их учат, что нет преступников, одни только жертвы. Их учат, что все произошло само собой, понимаешь ли, просто пришли люди с голубой*

кровью, натворили бед, а потом исчезли. И что это вовсе не те самые люди, что живут в тех же городах, ходят на ту же работу и растят после войны детей и внуков.

– Не может быть.

– *Это так, Мина. Мне раньше и в голову не приходило, а такой человек был в моей собственной семье. Рисовал картинки, сажал меня на колени.*

– Но ты даже не знаешь, сделал ли он что-нибудь!

Мина потрясает перед лицом руками. Миха тоже закрывает глаза.

– *Да. Верно. Просто мне кажется, что людям стоит читать и о тех, кто это совершал. О реальных, обычных людях. Понимаешь? Не только о Гитлере, Эйхмане и кто там был еще? То есть о всякой мелкой сошке. Ученикам необходимо читать о жизни тех, кто по-настоящему убивал.*

– Тут ты, по-моему, перегибаешь.

– *Я серьезно.*

– Михаэль, чертов ханжа, ну до чего ты занудный! Пожалуйста, поговорим о чем-нибудь другом или просто ляжем спать.

Мина ждет, но Миха не в состоянии придумать, что бы такое сказать. Она гасит свет, и Миха до-

куривает сигарету в темноте. Ложась в постель, он отворачивается от Мины и, чтобы не слышать ее дыхания, затыкает уши. Пытается забыться, но ярость и стыд не уходят.

Так сказала Мина. Нет здесь места ханжеству.

* * *

Дядя удивлен Михиному визиту. Бросив секретарше, что скоро будет, он смотрит на племянника снизу вверх и смущенно откашливается.

— Я в твоем распоряжении столько, сколько потребуется, Михаэль. Конечно же.

И предлагает пойти пообедать за его счет.

Миха не знает, с чего начать, и, пока несут блюда, повисает неловкая тишина, но, услышав вопросы, Бернт расслабляется.

— Он пил. Сколько себя помню, он, наверное, все время пил, хотя по-настоящему пьяным я помню его всего два или три раза.

– *А почему, ты думаешь, опа пил?*

– Я не знаю, Михаэль. Может быть, Россия, плен, вот откуда это, наверное, пошло.

— *А до того?*
— До женитьбы?
— *Нет, до войны.*
— А-а.

Бернт набивает полный рот. Похоже, он увиливает.

– *Я хотел спросить, как ты думаешь, могло с ним что-нибудь такое произойти? Или сам он совершил на войне нечто такое, из-за чего потом стал пить?*
— Возможно. Возможно.

Может быть, он вправду не знает.

– Да, он пил, и иногда так напивался, что нам приходилось убегать из дому. Мутти, твоя ома, уводила меня и Катрин, и мы гуляли в парке, пока он не приходил в себя.
– *Однажды он выбил окно, так ведь?*
— Да. Тебе твоя мать рассказала? Да.
– *Почему?*
— Почему? Я не знаю. Ну, он злился, хотел показать, на что способен.
– *А как это случилось?*
– Он разбил окно кулаком, и мутти нас увела. Но я не таким его запомнил, понимаешь? Не это

я сейчас вспоминаю.

— *А что?*

— Знаешь, он был замечательным отцом.

Бернт краснеет. Миха, несмотря на все внутренние запреты, не в силах сдержать улыбку; ему приятно это слышать, приятно видеть дядину любовь.

— Он был добрый. У отцов моих друзей было много правил и запретов: этого не смотри, этого не слушай и все такое. Но папа другой был. Он разрешал нам бегать по дому и петь, поднимать дом на уши. Ему это нравилось. Я бы даже сказал, он это обожал.

– *Так. А когда он напивался или был слегка пьян? Он вел себя иначе?*

– Не знаю. Думаю, да. Можно и так на это дело смотреть.

– *Но ты смотришь по-другому?*

— Да. Не знаю. Я никогда об этом не задумывался, Миха.

— *А не кажется тебе, что в нем всегда это скрывалось?*

— Алкоголизм?

– *Жестокость.*

– Да не был он жестоким.

– Но он ведь разбил окно. Вам приходилось убегать из дома. То есть я хочу сказать, что вы боялись, и ома тоже боялась, наверное.

– Послушай, Михаэль. Таких случаев за все годы было три, максимум четыре. Да, он напивался пьяным, раздражался, и мы уходили, пережидали это на улице. Но это было, как я уже сказал, своего рода исключение и только.

Бернт сердито улыбается. Они молча едят, а Миха думает.

Возможно, он прав.

Я нахожу совпадения, наверно, потому, что нарочно их ищу, а не потому, что они на самом деле существуют.

Опа пил, потому что он убивал. Опа убивал, потому что пил. Опа пил, потому что мы проиграли войну, потому что чувствовал себя виноватым, потому что долго находился в плену.

— Как ты думаешь, опа кого-нибудь убивал?

Дядя отводит глаза. Миха до отказа набивает рот. Ему приходит на ум, что и дядя может сделать то же самое. И тогда они оба притворятся, будто Миха ничего такого не спрашивал. Но

Бернт отвечает.

— Он был солдат.
– Он был в SS.

– *Waffen SS,* Миха. Солдат.

Миха ждет еще немного, хотя знает, что это весь ответ, и больше ничего спрашивать не решается.

* * *

Выходной. Первый день лета, острые зеленые листочки. К завтраку Мина покупает свежего хлеба и заявляет, что они поедут за город и, может быть, останутся там ночевать.

— Меня сегодня утром не тошнило. Ничуть.

Улыбаясь, она закладывает в тостер новый ломтик хлеба, наливает еще стакан сока, кладет ноги на Михины колени.

– В Таунус?

Здорово будет видеть, с каким удовольствием Мина уплетает обед на свежем воздухе.

— Может, в Одер Фогельсберг? Возьмем у Сема машину. Найдем гостиницу, а завтра к вечеру вернемся.

– Пойдем пешком. Мы еще долго не сможем ходить в походы, когда он появится.

Миха кладет руку на ее пока еще плоский живот. Мина улыбается.

— Как хочешь.
– Ага, отлично. Я схожу в подвал за палаткой.

Когда Миха поднимается обратно, Мина говорит:

— Это здорово. Правда, это замечательно?
— Да, конечно.

И целует ее. Он понимает, что она хочет сказать: оставь деда Аскана дома.

Миха о нем не упоминает, смеется и улыбается все выходные. Он весел и счастлив с Миной и будущим малышом. Но Аскана он дома не оставил. Даже когда Мина разводит костер, а Миха составляет список имен для ребенка, опа сидит рядом с ним на холодной вечерней траве.

* * *

Звонит телефон, и Мина перехватывает Михину руку, тянет обратно на софу.

* * *

— Десять уже было. В будни не следует звонить после десяти вечера.

Миха держит Мину за руки. По громкой связи гулко разносится голос Луизы.

— Послушай-ка, братец, я не знаю, зачем тебе это надо, но прошу, будь поосторожнее, самую малость поосторожнее, ладно? И не вздумай донимать бабушку глупыми вопросами, как Бернта, потому что иначе ты еще хуже, чем я думала. А если ты меня сейчас слышишь, а ты меня слышишь, держу пари, тогда ты к тому же и трус несчастный.

Секунду-другую она громко дышит — и бросает трубку.

— Господи, Михаэль! Что ты натворил?

* * *

Миха на кухне помогает маме готовить обед. Ему не по себе. Мать откидывает волосы с лица, она тоже нервничает. Это видно по глазам.

Бернт рассказал Инге, та рассказала Луизе и заодно, наверное, мутти. Несомненно, мутти в курсе.

Миха не знает, нужно ли что-нибудь говорить.

— Михаэль!

Он перестает орудовать ножом и смотрит на мать. Смерив его взглядом, она отворачивается к открытой духовке.

– Мне просто стало интересно, почему его так долго не было. Почему русские его держали.

— Много кого держали. Это было в порядке вещей. И так было почти у всех моих одноклассников. Если отцы не погибали — значит, оказывались в плену.

– Знаю. Но может быть, не все были пленными. Простыми пленными.

Мать захлопывает духовку.

— Он ничего не делал, Михаэль.

– Откуда ты знаешь?

— Знаю.

– Ты тоже интересовалась?

— Нет. Разумеется, нет.

– Ты его спрашивала?

– Не пришлось.

– Тогда откуда ты знаешь? Как ты можешь знать?

– Да потому что я знала своего отца. Ты его никогда по-настоящему не знал, Михаэль, ты был слишком маленький.

— Так все просто?

— Да.

– Ну да, конечно. Поэтому мне и возразить нельзя, да? Я ведь никогда не узнаю его так, как ты, верно?

В горле пульсирует кровь. Никогда прежде они так не разговаривали. Мать нахмуривается.

— Да. Верно.

– Тебе было тринадцать, когда он вернулся.

– Двенадцать.

– Тогда и ты его не знала. Он всю твою жизнь отсутствовал.

— Он был мой отец. Просто Аскан. Вот и все.

Расстроена. Голос дрожит, руки дрожат.

— Он не был способен на это, Миха.

– Каждый бы сказал о своем отце то же самое, разве нет? Никто бы не подумал, что его собственный отец мог убивать безвинных.

– Насчет этого я не знаю, Михаэль. Может, тебе лучше спросить того, у кого отец и впрямь убийца?

– *Как ты можешь знать? Как ты можешь знать, если ты ни разу не спрашивала?*

— Он ничего не делал.

Мать несет кастрюли в столовую. Он следом несет салат. Отец открыл вино и сидит за столом, сложив руки на коленях. Он все слышал. На Миху он не смотрит, молчит. Напротив сидит Мина. Когда он входит, она поворачивает голову. Смущенная и сердитая. Он не может ничего сказать, не может прочитать по лицу. Ее глаза темны, а губы сжаты. Все садятся есть.

Но Миха уже завелся. Он набивает полный рот и жует, жует. Сглотнув, опускает нож и вилку.

– *Ты хочешь знать?*

Мать взглядывает на него. *Хочет, чтобы я замолчал.* А Миха молчать не хочет. Поднимается отец.

– *Если я выясню, рассказать тебе?*

— Закрой рот!

Михин отец кричит, мать отводит глаза.

Похоже, она сейчас расплачется, но Миху не остановить.

– *Так ты хочешь знать?*

Мина встает и выходит. Отец с грохотом опускает бутылку с вином на стол, темные пятна расползаются по синей скатерти. Миха осекается. Отец, тяжело опершись на стол, дышит глубоко и тяжело. Ищет, что бы сказать, но мешает ярость. Мать по-прежнему молчит.

Миха выходит к Мине в кухню. Она стоит возле раковины со стаканом воды.

– *Давай уйдем.*
— Хорошо.

Она проходит мимо него и, забрав со стула в прихожей свое пальто, скрывается в столовой. Михе не слышно, что она говорит. Мина возвращается заплаканная. Он распахивает перед ней дверь. Она выходит, не взглянув на него, и всю дорогу идет впереди.

В поезд Миха не садится. Пьет кофе на вокзале, ест булочку. Сладость на языке. Можно немного посидеть одному в тишине, не думая о происшедшем.

Когда он приходит домой, Мины нет. На крючке в ванной не хватает ее купальника. Миха звонит родителям, включается автоответчик. Миха говорит: *«Привет, просто звоню узнать, как у вас дела».* Но прощения не просит.

* * *

— Ты думаешь, я ругать тебя пришла, а вот и нет.

Луизин голос в домофоне. Она поднимает велосипед по лестнице, над губой блестит пот. Умывается под краном и, не вытираясь, усаживается за стол — перевести дух. Миха у холодильника ждет, когда она заговорит.

— Тебе не нужно было им ничего рассказывать.

– А я думал, ты не ругать меня пришла.

— Извини.

У Луизы в сумке вино. Она выставляет бутылку на стол.

– Так рано я не пью, Луиза.

— Да-а?

Посмотрев на бутылку, она отодвигает ее от

себя.

— Я тоже пыталась узнать про деда.

У Михи начинает звенеть в ушах. Пронзительно, заглушая гудение холодильника. Некоторое время они молчат. Луиза отнимает руки от лица. Похоже, она вот-вот разревется. *Не плачь.* Спину пощипывает от пота.

– *Когда?*

– Когда училась в Лондоне. Там была библиотека, основанная одним евреем. Из Германии. Он бежал, кажется, в тридцать третьем. Неважно. Там много чего было. О лагерях, о тех, кто выжил, о фашистах. Мне там помогали, относились очень тепло. Я туда каждую неделю ходила. Мне от этого становилось легче.

Плачет. Голос звучит глухо, как будто застревает в горле.

– *Легче?*

– Да. Казалось, все в порядке. Нет, не так. Не знаю. Просто помогало.

Луиза улыбается, вытирая руками слезы.

— *Ну и?*

– Что?

– Что ты узнала о дедушке?
— А-а. Ничего.

Миха не может поверить.

— Его не было ни в одном списке. В библиотеку ходило несколько читателей. У них были списки военных преступников, фашистской верхушки. Его там не было.
– Я тоже звонил в такую базу данных.
– В Лондоне?
– Нет, у нас.
— Да? И что?
– Ничего.

Луиза кивает. *Ничего.*

– Ты думаешь, это означает, что он ничего не делал?

Она громко выдыхает.
— Мутти и фати незачем знать.
– Это ты так думаешь.
— Да, я так думаю.

Луиза встает, берет пальто и сумку.

– Разговор на этом окончен, да, Луиза? Именно поэтому ты так сказала?
– Они имеют право на выбор, Михаэль. Не дави

на них.

– *Сказали бы прямо, что не хотят знать.*

— Тогда в чем дело? Если они будут знать — что им это даст?

– *Почему мы должны ограждать их от того, что он сделал?*

– Мы не знаем, что он сделал, Михаэль. И сделал ли вообще.

– *А ты сама, ты как думаешь?*

— Не знаю. Я не знаю, и ты не знаешь.

Луиза переходит на крик. Ее палец больно утыкается ему в грудь. Они стоят в кухне, в метре друг от друга. *Она скажет Мине, что я и глазом не моргнул, когда она закричала.* Миха суровеет лицом. Ему не хочется выдавать свои чувства. Не хочется невольно их выдать.

— Известно ли тебе, что многие современные лекарства созданы на основе разработок, которые проводились в лагерных госпиталях?

– *Нет, я не знал.*

— Вот так. Раньше меня выворачивало от этой мысли. Когда думала о тех докторах в лагере.

— *А теперь?*

– Боже, Михаэль! Конечно.

Интересно, давно она здесь? Будто целую веч-

ность. Пора бы Мине вернуться. *Она бы болтала с Луизой, а я тогда пошел бы и лег.* Михе стыдно за такие мысли, но все равно, лучше бы сестра ушла.

— Откроем вино?

– *Оставим до следующего твоего визита.*

– Ты хочешь, чтобы я ушла?

Миха пожимает плечами. Это жестоко, он знает. Пару секунд Луиза молчит, а потом улыбается, и Миха улыбается в ответ. *Она расстроена. Как и я.* Миха ничего не говорит, но надеется, что она понимает сама.

— Если ты что-нибудь выяснишь, скажешь мне, ладно?

– *Насчет деда?*

— Да.

– *Ты хочешь знать?*

— Конечно, хочу. Думаешь, у тебя монополия на честность, Михаэль?

— *Нет.*

— Думаешь, думаешь.

Они вышли в коридор. Миха держит дверь, пока она выкатывает велосипед.

— Думаю, что мутти и фати это знать ни к чему,

вот и все. Вот и все, что я хотела сказать.

– *Ясно. Уже сказала.*

Приподняв велосипед, Луиза спускается по лестнице. На Миху, стоящего в дверях, не оборачивается.

— Передай Мине привет.

– *Передам.*

– Передай ей еще, что мой брат — заносчивый засранец.

– *Передам.*

— Куда ж ты денешься.

Внизу лестницы Луиза высмаркивается. Миха прислушивается, а потом закрывает дверь.

* * *

В детстве мы с сестрой часто дрались. Жестоко, с царапаньем и пинками, иногда до крови.

Помню, как-то подрались дома у бабушки с дедушкой. Я разошелся дальше некуда. Мы находились наверху лестницы, и я лежал на полу. Вопли, икота и все такое. Я пытался дотянуться и лягнуть Луизу, но до нее было не достать. Она сидела на верхней ступеньке и тоже плакала, широко раскрыв рот. Из ее разбитой губы текла кровь, и

зубы были красные. Наверное, это я ей заехал.

И тут на лестничную площадку, где я лежал, пришел опа, обнял меня, притиснул к груди, прижался щекой к моим волосам. Я помню его запах — мыло и сигареты.

Другой рукой он обнял Луизу. Помню, что и к ее волосам он прижался щекой, но я не придал этому значения. После, возможно, я ревновал, но в тот момент мне было все равно. Рядом опа, как тут можно злиться? Когда опа был рядом, все было хорошо.

* * *

Миха под дождем катит из школы домой. Льет так сильно, что приходится снять очки, чтобы разглядеть дорогу. Рядом в фонтанах брызг голосят машины. Он добирается до дому насквозь промокший и, переодевшись, залезает в постель. Долго не засыпает, лежит и смотрит, как угасает день. Хочется есть, но Мина еще не пришла, к тому же он никак не может согреться. Думает о дедовой фотографии, которая лежит в кармане мокрых брюк, брошенных на пол в ванной среди другой сырой одежды.

Звонит телефон, в квартире уже темно. Он задремал, потерял счет времени, а телефон гулко дребезжит в холодном безмолвии прихожей.

— Что вам нужно?

Вопрос? А он еще и представиться не успел.

— Что вы хотели меня спросить?
— *Простите? Кто это?*

Но Михе уже известно, кто это, и дрожат руки — еще до того, как он обрел способность думать, способность говорить. *Нет.*

— Это Иосиф Колесник. Звонит из Белоруссии. Задавайте ваш вопрос.

Тишина в трубке, затем тяжелое дыхание. *Быть или не* быть? Миха помнит, как добр был к нему этот старик. Вежлив. Но сейчас он сердит.

– *Извините. Господин Колесник, вы должны меня простить. Я спал. Утратил чувство времени…*
– Вы журналист?
— *Нет.*
— Вы хотите спрашивать обо мне?
– *Нет.*
— Нет?

— Я не журналист.
— Кто вы?
– Михаэль Лехнер.
— Вы это уже говорили.
— Я учитель.
– Что вы хотите от меня?

Миха не находит ответа. Такого ответа, который бы не относился к деду, а упоминать деда ему не хочется.

— Что вы хотите от меня, господин Лехнер?
– Вы помните немцев, оккупацию. Мне так сказали.

Ответа нет, слышно одно только дыхание. Тяжелое, испуганное; глубокий вдох.

– Я хотел поговорить с кем-то о тех временах. Что происходило в вашем городе, когда пришли немцы.
– Вы еврей.

Это был не вопрос.

– Нет. Нет. Я немец. Я хочу сказать, я не еврей.
— Так какой у вас вопрос?
– Господин Колесник, я неуверен, что по телефону…

— Вопрос!

Хрипло кричит он. Его голос врывается в Михины уши.

Миха вешает трубку.

* * *

Миха потрясен звонком и злостью, с какой говорил Колесник, но молит Бога, лишь бы он снова позвонил.

* * *

Миха не ходит на работу. После того как Мина уходит в больницу, он звонит в школу, сказывается больным и весь день сидит на кухне с телефоном в обнимку.

Спустя четыре таких молчаливых дня он выходит на работу, а когда на пятый день возвращается домой, находит письмо.

* * *

«Герр Лехнер!

Пожалуйста, примите мои извинения. Я пережил это здесь, а вы, я думаю, знаете,

что тогда были страшные времена.

Пожалуйста, поймите. Вряд ли я смогу ответить на ваши вопросы. Мне больно вспоминать те годы. Я предпочитаю о них не говорить.

Иосиф Колесник».

Михаэль раз за разом перечитывает тщательно выстроенные, осторожные фразы. Почерк аккуратный, с наклоном.

* * *

— Почему ты мне не сказал о нем?

– Потому что я тогда расплакался, Мина, и не показал ему фотографию.

— Почему ты мне не сказал о его звонке?

– Все потому же. Я повесил трубку, сбежал. Не знаю.

Мина вздыхает, и Миха краснеет от стыда. Она отодвигает от себя письмо и, опершись на стол, подпирает рукой поясницу. Вес ребенка уже сказывается на ее походке и осанке.

— Что ты ему сказал? Я имею в виду там, в Белоруссии.

– Ничего. Я хотел его расспросить, но у меня не

хватило смелости, и он меня прогнал. Попросил меня уйти.

– Он еврей?

Миха качает головой.

– *Всех евреев убили.*

— Хватит. Я так больше не могу, Михаэль.

Мина качает головой и открывает рот, чтобы сказать еще что-то, но Миха ее перебивает.

– *Я, наверное, туда поеду.*

– Куда?

– *В Белоруссию, поговорю с ним.*

— Но он попросил оставить его в покое.

– *Я и оставлю его в покое. Только узнаю про деда. О нем самом спрашивать не буду.*

— Он просто-напросто тебя прогонит.

– *Может быть, не знаю. Я ему напишу, съезжу еще раз. На следующих каникулах, где-нибудь в будущем месяце.*

– К черту, Михаэль.

Мина поднимается и ходит по комнате. Прислоняется к двери, отвернувшись.

– *Мина.*

— Я так больше не могу. Это отвратительно,

Михаэль. Не желаю терпеть такое в своем доме.

– Прости, Яшин. Прости меня, и мы больше никогда не будем об этом говорить. Просто я поеду и все узнаю.

— Зачем тебе знать? Мне это непонятно. Правда. Зачем тебе знать?

Миха пожимает плечами. Но она стоит спиной и его не видит.

– Просто так.

– Что хорошего из этого выйдет?

— Я не верю, что ты действительно так думаешь, Мина.

– Думаю. И тебе бы следовало. Попробуй взгляни на это с чьей-нибудь стороны. Меня, твоей матери господина Колесника. Подумай о других людях.

– Я думаю.

— Врешь.

Миха со злостью смотрит ей в спину, понимая, что она права.

— Это мой дед. Вы помните, как он расстреливал евреев из вашей деревни?

– Да ну тебя!

– Что? Так это твой вопрос! Разве не это ты хо-

чешь спросить?

Она поддает ногой дверь и снова упирается кулачками в поясницу. Михаэль за столом плачет.

— Я беременна, а ты хочешь поехать в Белоруссию и поговорить со стариком, который знать тебя не желает, о том, о чем он вспоминать не хочет. Такая картина, Миха, понимаешь?

Он не отвечает, боится, что голос задрожит. Если бы только она подошла, обняла его, но она не подойдет, он знает. Это видно по ее плечам и кулачкам.

Миха плачет потому, что знает: она права. Нечестно оставлять ее беременной одну. Он делает больно ей, своей матери, отцу, дяде, сестре, Колеснику и бабушке тоже.

Но еще он плачет от жалости к себе.

Это мой дед. Вы помните, как он расстреливал евреев из вашей деревни?

Мина задала вслух вопрос, который он едва осмеливался проговаривать про себя.

* * *

Миха пишет Колеснику, Колесник отвечает.

Снова старик твердит, что вряд ли сумеет ему помочь, но это письмо тоже написано вежливо, а на конверте вместе с адресом выведен телефон.

Миха аккуратно складывает письмо и прячет его, пока Мина не проснулась.

* * *

Сначала Миха решает позвонить, но в конце концов снова пишет письмо. Так проще: он будет меньше волноваться и яснее изложит просьбу.

Это исследовательский проект, посвященный немецкой оккупации Белоруссии, материалы которого будут использоваться учителями как пособия по войне и холокосту. Для его завершения мне необходимы детали быта немецких солдат и полицаев, служивших в тех местах. Я понимаю, что вам довелось пережить, господин Колесник, но ваши воспоминания, я уверен, помогут мне, а также, возможно, и будущим поколениям не повторить ошибок прошлого. Буду вам очень при-

знателен, если вы сможете уделить мне время.

Про деда Миха не упоминает. Еще одна ложь. Непрямая, эдакая фигура умолчания — но ложь все равно. И если быть честным, то нужно признаться, все это не для того, чтобы оградить старика — чтобы себя оградить.

Он обещает Колеснику не расспрашивать его, не вникать в подробности его жизни.

Если вы не захотите о чем-либо говорить, вам стоит просто мне об этом сказать. А если вы захотите все прекратить когда угодно, — я тотчас уеду.

Это, как кажется Михе, несколько компенсирует ложь.

* * *

— Ты подумал о том, что будет здесь, если ты уедешь?

— *А что?*

– Не подумал, так ведь?

Мина отрезает хлеб и некоторое время наблюдает за тем, как Миха готовит.

— Твои родные, Михаэль.

– *Знаю.*

– Не-а. Не знаешь ты ничего.

Мина, прислонившись к холодильнику, мнет в руках хлеб. Интересно, с кем она говорила. *С мутти, с Луизой.* О чем они говорили? *Надо бы спросить.* Мина ждет. *Надо бы проявить интерес.*

– Ты думаешь, опа пил, потому что чувствовал вину?

– *Возможно.*

– Это могло начаться в лагере, где он был. То есть в тюрьме. В общем, там, где его русские держали.

– *Мина, прошу тебя. Не пытайся меня, пожалуйста, отговорить.*

— Лично мне бы лагеря точно хватило.

Она замолкает и ест свой измученный хлеб. На Миху не глядит, хотя ему этого так хочется.

— Мне неизвестно, что там делали с немецкими пленными, но там было ужасно, Михаэль.

Миха смотрит, как она откусывает хлеб.

— У нас лежал один старик из ГУЛАГа.

– *Ты мне никогда не рассказывала.*

— Это было до тебя. Даже двадцать лет спустя после лагерей на тело все равно было страшно взглянуть. Истощенное, со следами побоев. Он был алкоголиком.

Доев хлеб, Мина подходит к плите помешать еду. Она стоит совсем близко, но Миха чувствует, что сейчас ее лучше не трогать.

– Но я видел фотографии, что там творилось, Мина. Там, где служил опа.

Мина мешает еду.

– Я должен знать, он тоже такое делал?
– Зачем?
– Просто чтобы знать.
– Для меня это не ответ, Миха.

Однако она не сердится. На этот раз плачет Мина. Миха стоит рядом. И хотел бы объяснить, да не умеет.

– Я люблю своего деда, Мина. Не знаю, как еще это сказать. Наверное, он сделал что-то ужасное. Мне важно это знать.
— Ты будешь любить его, даже если он убивал людей?
– Не знаю.

Она поднимает глаза. *Я думал об этом, Мина, и я действительно не знаю.*

– Он, наверное, не помнит. Этот Колесник. Он, наверное, и не знает ничего, Михаэль. Ты, скорее всего, никогда ничего не узнаешь.

Протянув руку, Миха дотрагивается до ее талии. Мина поворачивается к нему, обнимает. Плачет. Между ними маленькое препятствие, их гордость — будущий малыш. Миха утыкается в Минину шею.

* * *

«Герр Лехнер!

Я обдумал Вашу просьбу и, в свете ваших заверений, готов предложить свое содействие.

Колесник».

* * *

– Думаю, если вы напишете для меня текст, я смогу его скопировать.

Минину подружку просьба Михи удивила. Предложив ему сигарету, она тянется за пепель-

ницей на соседнем столике.

— И все-таки, кто он, кому вы пишете?

– Андрей? Это мой друг.

— Вы белорусского не знаете? И русского тоже?

– Нет.

– И у вас есть друг белорус, который говорит по-немецки?

– Да. Я у него жил.

— Понятно.

Несмотря на ее улыбку, Миха по-прежнему нервничает.

– Хотите кофе? Булочку?

— Кофе с удовольствием.

Он кладет перед ней письмо и направляется к стойке сделать заказ. Вернувшись, он видит, что она уже не улыбается.

— Вы собираетесь рассказать своему другу, что ваш дед был фашистом и воевал в его стране?

— Да.

— Погибло свыше полутора миллиона человек, вы в курсе? Два миллиона.

— Да.

Миха кивает, хоть он и не знал. Почему я не

знал этого?

— В моем роду вырезали целое поколение.
– *Фашисты?*
– Фашисты.

Она возвращает ему письмо, но он не берет. В голову приходит: *она вышла замуж за немца.* Поразительно.

– *Вы вышли замуж за немца.*
— Да.

И умолкла. *А с чего она обязана передо мной отчитываться?* Она перечитывает письмо.

— Надеюсь, у вас понимающий друг.
– *Мне нужно немного рассказать ему об Иосифе Колеснике. Местечко это маленькое. Он все равно узнает, что я с ним беседовал, так пусть лучше узнает от меня.*
— Хорошо. Как скажете.

Некоторое время она пишет, потом останавливается.

— Вы хорошо его знаете?
— *Нет.*
— О семье его знаете?
– *Нет, но он в курсе, что я немец. Он принимал*

меня очень радушно. И его мать тоже.

Она пожимает плечами и вновь принимается писать. Миха чувствует себя неловко, теперь он начинает сомневаться.

— В общем, можете послать его прямо так, но если передумаете, вычеркните этот кусок.

Она обводит пять предложений.

— Это о вашем дедушке. Дело, конечно, ваше, но письмо без них смысла не утратит.

* * *

Миха опоздал. Он пришел на вокзал с огромным запасом времени, но сначала одну электричку отменили, затем — вторую.

На платформе, коротая время, шепотом беседуют люди. Миха думает об отце — тот всегда приходит заранее и теперь будет его ждать. А еще думает: *«Почему сегодня? Почему поезда не ходят сегодня?»*

– Прости. Заседание затянулось.

Отец пожимает плечами, угощает его кофе. Они стоят у киоска, а вокруг жители пригородов раз-

ворачивают кульки со снедью. Миха не собирался лгать. *Нужно было сказать ему про электрички,* но как-то само собой вырвалось. Эдакая бесцельная ложь — легкомысленная, бездумная.

Он думает, я нарочно опоздал, чтобы его обидеть.

Получается, Миха обидел отца, еще и рта не успев раскрыть.

— Я не стану много говорить, Михаэль. Буду краток.

Оглядывает вокзальную толпу.

— Мой отец был солдатом. Он погиб под Сталинградом, и я никогда его не видел, но знаю, что сражался он против солдат, а не против мирных граждан, и с этой мыслью я могу жить спокойно. Шла война. И эта мысль меня успокаивает. Аскан служил в SS. В *Waffen SS,* но все равно в SS, и он воевал на востоке. Это кое о чем говорит. Мне. О том, что всегда есть повод сомневаться. О том, что ты прав.

Миха молчит. *Сам сказал.*

Миха смотрит на отца, как он качает головой. Откашлявшись, фати продолжает.

— Я знал Аскана много лет, десять лет. Я любил его, я люблю твою мать, а она его сильно любила. В душе, понимаешь, я не могу поверить в то, что он был способен убивать. В бою — само собой, но не так, как ты думаешь. Не расстреливал безвинных.

– Гиммлер говорил, что это как в бою. Война против евреев.

– Михаэль. Дай мне договорить.

Миха кивает. Ему совестно. Он терпеливо ждет, пока отец подберет слова.

— И все же сдается мне, что он был на такое неспособен. Но повод для сомнений всегда есть.

Миха, чтобы не смущать взглядом отца, отводит глаза и смотрит в чашку.

— Я не говорил о своих сомнениях твоей матери — и никогда не скажу. А тебе сейчас это говорю, чтобы кое-что объяснить. Пусть это закончится на нашем поколении. Ясно? Бернт, твой дядя, родился уже после войны. Ты понимаешь? Я не хочу, чтобы это коснулось тебя и Луизы. Аскан вас обоих любил. Я хочу, чтобы у вас от него осталась только его любовь.

Берет портфель и пальто. Миха не может себя

заставить взглянуть на отца, поэтому не знает, смотрит ли тот на него.

Мина права. Я натворил сам не знаю что.

Белоруссия, лето 1998-го

Миха снова здесь, и чувствует себя неловко; он этого не ожидал. Когда он в прошлый раз видел Елену Колесник, он плакал у нее на пороге, а она вынесла водки и настаивала, чтобы он ушел.

Сегодня она приготовила еду, испекла чудесный сытный хлеб. Пока она накрывает на стол, Миха рассматривает фотографии на подоконнике. На одной из них сняты Колесник с женой — в то время, когда они были моложе, средних лет. На обоих — пальто, застегнутые от холода на все пуговицы. Стоят, втянув головы в плечи, на засыпанных снегом каменных ступенях. Держат друг друга за руки, руки в варежках, Елена прижимает к груди букетик цветов. Оба смотрят не на камеру, а в землю. Оба улыбаются, но явно смущены. Когда Миха отрывает взгляд от снимка, в дверях стоит Колесник.

– *Это вы, на фотографии?*

— Да. В день нашей свадьбы. Мы были далеко

не молоды, когда поженились, видите?

– *Но и не стары.*

— Да ладно уж, чего там, конечно, стары. Нам повезло, что мы друг друга нашли.

Старик улыбается. Жена тоже улыбается, когда он пересказывает ей разговор. Говорит ему что-то, глядя на Миху.

— Елена говорит, что это единственная фотография, где мы вместе. И это правда.

Она снова обращается к мужу, и тот кивает.

— Мы знакомы всю жизнь, и всего одна фотография.

– *Пожалуйста, скажите вашей жене, что перед отъездом я вас сфотографирую. И пришлю ей из Германии снимок.*

Колесник переводит его слова, и Елена, покраснев, радостно кивает. Миха тоже обрадован.

За едой он рассматривает Колесника. Руки у того большие и тяжелые. Мощные кости, грубая кожа; скрюченные пальцы с выступающими костяшками, широкие плоские ногти. Они, эти руки, медленно движутся от тарелки ко рту, тяжело лежат на столе, когда он жует. Взглянув ему

в лицо, Миха отводит глаза. Старик тоже на него смотрит: наблюдает за тем, как он наблюдает.

После еды Миха и Колесник пьют на кухне водку. Старик смотрит, как Миха достает магнитофон, вставляет батарейки, настраивает качество записи. Миха писал ему об этом, объяснял, что хочет записать разговор, но понимает, что сегодня Колесник к этому не готов. *Черт! Ну не в первый же день!*

– Может, для начала просто поговорим, привыкнем? А магнитофон будет включен?

— Да. Хорошая идея, хорошая.

Миха останавливает пленку, немного перематывает обратно и нажимает «пуск». Колесникова «хорошая идея» — металлическая, но отчетливая — с шипением врывается в комнату. Старик смеется, но отводит глаза. Он напуган звуком собственного голоса.

Они сидят в кухне среди кастрюль, сковородок, тарелок, а кассета крутится, записывая тишину. На загнетке сидит новенькая буханка хлеба, в коробке насыпан лук. Каждая вещь на своем месте: у дверей стоят сапоги, на полке, крашеной под цвет стен, — кожаные рукавицы. Елена Колесник

хлопочет по хозяйству: то выйдет в сад, то в дом вернется — не обращая на Миху и работающий магнитофон никакого внимания, будто бы их вовсе нет.

— Мы будем соблюдать наш уговор.

— *Да.*

Миха отвечает, хотя это был не вопрос. Колесник кивает. От уголков его глаз разбегаются морщинки — не то улыбка, не то усмешка. Миха понимает: это предупреждение. Старик проводит для них обоих строгую черту.

Перед сном Миха ставит аккумуляторы на подзарядку, в ночной черноте горит красный огонек. Не забыть перед отъездом доплатить Андрею за электричество.

* * *

— *Расскажите о том, что здесь происходило. Когда здесь были немцы.*

Колесник хмурится, слегка вздергивает голову.

— Много всякого происходило.

Михе кажется, что старик над ним насмехается.

– Да. Я знаю. Но расскажите, пожалуйста, что они здесь делали.

И тут же на краткий миг зажмуривается. Известно, что они делали: *убивали.* Собственная просьба кажется ему наивной. Еще более наивной, Миха знает, окажется она вечером, когда он будет прослушивать запись.

– Может, начать с того момента, когда немцы впервые появились?
– Хорошо.

Старик откашливается.

— Итак. С того момента, как пришла армия?
– Она первая шла?
— Да.

Плечи у старика теперь не так безупречно тверды, и он соглашается взять предложенную сигарету. Колесник смотрит на Миху: старый на молодого. На лице грубая кожа, глубокие морщины пролегли между скулами и ртом. Возле глаз кожа бледнее и тоньше, но от дыма она сейчас сморщена.

— Сорок первый год, летом. Мы увидели самолеты, а затем пришла армия. Позже появились

SS с полицаями и остались. Поставили полицейский участок и бараки, назначили новое правительство. До этого были коммунисты, а немцы набрали новых людей и сделали новое правительство.

– *Набрали людей – немцев?*

– Немцев и белорусов. Верхушка вся была немецкая, но были, конечно, и белорусы, которые на них работали. То же самое происходило в полиции.

— *А потом?*

— Ввели комендантский час, новые законы. Изменили все. Школы, дороги, фермы. Колхозов не стало.

Вместо этого крестьяне должны были работать на немцев. Чтобы кормить армию на востоке. Такие дела были. Вот так они все переменили.

Миха ждет, но вряд ли Колесник станет говорить по собственному почину.

— *А потом?*

– Что именно вас интересует?

– *Здесь жили евреи?*

— Да, жили.

– *Что с ними стало?*

– Их расстреляли.

У Колесника белое, отсутствующее лицо. Говоря, он глядит Михе прямо в глаза.

– А кто расстреливал, вы можете сказать?

— Смотря кто тут в это время был. Иногда только полицаи, иногда полицаи вместе с SS, солдатами.

– Waffen SS?

– Некоторые из них.

— Немцы?

— Немцы, белорусы, литовцы, украинцы. В основном немцы.

– Расскажите об этом.

— Что именно?

– Кто это был? Что они делали?

Старик уперся в него взглядом.

– Я просто хочу знать, кто были эти люди и что они делали.

Колесник, затянувшись, кивает.

– Если не хотите, можете не отвечать.

— Да, знаю.

Колесник говорит жестко, но его лицо — уже далеко не такое отсутствующее, как прежде.

– Меня интересуют только немцы.

– Да, вы говорили. Что немцы делали с евреями.

– Подробности ни к чему Только люди. События.

Миха дает старику время подумать, подобрать слова. Распрямляет пальцы, потирает на ладонях красносиние полумесяцы, следы от ногтей.

— Сначала они создали гетто. Это они сделали первым делом. И запретили евреям ходить в школы, работать — им больше не разрешалось работать на себя. Наверное, все началось с этого.

Колесник устраивается поудобнее на стуле. Миха молча ждет, и старик продолжает.

— Вскоре, как они пришли, они расстреляли всех мужчин, ну или почти всех. Всех стариков, всех больных и всех мальчиков. Оставили только немного тех, кто мог работать. На лесопилке, в других местах. Остальных расстреляли.

– Расстреляли?

— Согнали их ночью в город, а поутру расстреляли. Они боялись, что мужчины поднимут оружие против них.

Колесник отрывисто кашляет, прикрывая рот

широкой ладонью.

— А по весне убили еще больше евреев; собрали их со всей округи, со всех деревень и посадили в гетто. Часть оставили работать, остальных расстреляли. Так и продолжалось.

– Долго? Долго это продолжалось?

— Последние расстрелы были в сорок третьем.

– И кто их производил?

Старик раздраженно хмурится.

— Как я уже говорил — полицаи, SS, все подряд.

— Waffen SS?

— Не помню. Возможно. Это происходило в лесу, к югу отсюда, за рекой. Там они и похоронены.

– А когда в сорок третьем?

– В конце лета.

– В конце лета.

Колесник замолкает, а Миха сидит и думает: опа был здесь. В то самое время, в том самом месте.

— Нет. В начале осени. На полях стояли стога.

Миха поднимает голову. Старик смотрит в окно.

Странно, что именно это запомнилось. Расстрелы и стога: людей убивали, а времена года шли своим чередом.

– Что потом? Уцелевшие евреи прятались по деревням, по болотам, уходили к партизанам. А немцы их искали.

Миха смотрит на сидящего перед ним старика. *Он все это видел. Все помнит.* Расстрелы, лето, осень, зима, весна. Ктто пустели и наполнялись вновь.

Миха открывает блокнот на столе. Безотчетно, просто чтобы что-то делать.

— Что вы пишете?
– *Ничего.*
— Вы будете записывать наш разговор?
– *Не знаю. Возможно. Вы не против?*

Колесник кивает.

— Нет, нет.

Молча сидят. Старик прилежно ждет, пока Миха заговорит.

Но Миха не в силах спрашивать, в голове вертится:

«Время и место те самые. Лето, осень сорок третьего. Он все помнит».

Миха захлопывает блокнот.

– Простите. Давайте остановимся. Думаю, на сегодня с меня хватит.

* * *

Вечером Миха едет на велосипеде из одной деревни в другую. Сначала гонит быстро, но потом сбавляет ход.

Дома у Андрея достает фотографию деда и кладет перед собой на небольшой столик.

Миха знает: завтра же можно отвезти фотографию Колеснику и спросить обо всем напрямик.

Это мой дед. Вы помните, как он расстреливал евреев из вашей деревни?

Миха прослушивает запись. Те самые время и место. Пытается заключить с собой сделку.

Да не нужно ему говорить этого. Зачем Колеснику знать? Не стану говорить, что это мой опа. Скажу просто – Аскан Белль.

Однако, лежа в постели, он думает о Колеснике.

О медлительных больших старческих руках, о мягкой коже вокруг глаз. О резковатых ответах. Все равно Миха пока еще слишком боится.

* * *

– Вы помните кого-нибудь из немцев?

— Да.

– Расскажите, пожалуйста.

— Что именно?

– Не важно. Что угодно. Что помните.

Колесник колеблется. На какое-то мгновение Михе даже показалось, что тот смутился, растерял слова.

– Что хотите. Начните с чего угодно. Прошу вас.

— Я помню одного.

— Как его звали?

– Тильман. Служил доктором в полиции. Он их учил. Учил убивать людей. Максимально чистым способом, понимаете ли. Но вы просили без подробностей.

— Да.

Похоже, Колеснику стало легче. У Михи тоже отлегло. Снова оба сидят и молчат.

– А еще кого-нибудь из немцев, может быть, помните? Может, просто перечислите имена?

Старик мало кого помнит. Он перечисляет медленно, и Миха слушает, записывает, ждет. Фамилии и кое-какие имена, но сочетания «Аскан Белль» среди них нет.

– Однако их было больше? Должно было быть больше?

— Давно дело было.

— Да.

Миха думает под жужжание магнитофона. Осталось два дня. Он даст себе еще два дня поблажки, а потом покажет снимок.

— Я помню одного немца, который застрелился.

Не опа.

– Покончил с собой?

— За бараками. После одного расстрела.

– Ему было стыдно?

— Думаю, да. Помнится, они тогда еврейских детей расстреливали, так он на следующий день застрелился.

– Но только потом, да? После того, как расстрелял детей?

— Да.

Тянутся долгие, пустые секунды, а Миха не в силах вымолвить ни слова. Колесник смотрит на него, Миха чувствует взгляд.

Спустя какое-то время старик встает. Наливает каждому водки и ставит маленький, до краев налитый стакан на стол перед Михой. У Колесника трясутся руки. Миха поднимает голову.

– *Простите.*

Колесник кивает. Ждет, покуда Миха выпьет, затем пьет сам.

– *Лучше не касаться подробностей. Вам, наверное, так будет легче?*

Колесник снова кивает. Михе подумалось вдруг, что старик что-то ему скажет, и он замер, ожидая, но момент упущен.

Колесник указывает на магнитофон. Осмелевший и разгоряченный от водки, Миха все же держит слово и покорно останавливает запись.

* * *

В один из дней, ближе к вечеру, Миха с Андреем играют в карты, жестами уточняя по ходу игры

правила. Любезничают друг с другом, уступают: то играют по немецкому варианту, то по белорусскому, постоянно путаются и хохочут.

Водка горит у Михи в желудке. Он думает о выброшенном из письма абзаце, о тех ненаписанных строках: он до сих пор не знает, трусость то была или здравый смысл. Смотрит на Андрея, который разогревает в печке суп и нарезает хлеба. *Как теперь объяснить? Счего начать?*

Он хотел позвонить вечером Мине. Пойти на главную площадь к автомату и поболтать. Но вместо этого после ужина он почистил зубы и отправился спать.

* * *

Выехав на Андреевом велосипеде из-за угла, Миха уже видит хозяина, стоящего на крыльце. Он еще издали машет Михе, и Миха тоже поднимает руку. Эдакое молчаливое «здравствуйте».

Пока Миха отвязывает от руля сумку, Колесник спускается по ступенькам.

— Послушайте, герр Лехнер, я тут подумал.

Миха замирает. Поднимает голову и смотрит

на старика.

– *Вы хотите меня прогнать?*

Колесник кажется утомленным. На лице залегли глубокие, сонные складки.

— Нет-нет. Мне просто интересно. Можно вас кое о чем спросить?

— *Да, конечно.*

Прислонив велосипед к стене, Миха с улыбкой поворачивается к старику.

— Те люди из музея… Они вам ничего про меня не говорили. Так ведь?

– *Они сказали, что вы помните немцев.*

— Да, но они вам не сказали, чем я тут при немцах занимался?

– *Нет.*

– Нет. А я думал, вы все знали, когда в прошлый раз пришли. Но вы такие вопросы задавали, что я начал сомневаться.

Колесник стоит совсем близко, но голос его звучит тихо. Миха не смеет дышать. Старик так близко, что, кажется, к нему можно прикоснуться.

— Думаю, я должен вам сказать.

– Должны?
— Да.
– Тогда я достану магнитофон?
— Нет, я скажу вам это прямо здесь.

Михе неловко. Старик стоит чересчур близко. Миха хватается за велосипедную раму. Ему хочется отвернуться.

— Мой отец был учителем. Он выучил меня языкам, польскому и немецкому, и когда пришли немцы, я им помогал. Я с ними сотрудничал. Правильно я сказал?
— Да.

Миха изо всех сил пытается не выдать своего потрясения. *А то он заметит.* Колесник, кивнув, продолжает.

— Все об этом знают. И здесь, и в округе. Я думал, они потому вас ко мне и послали, понимаете?
– Да. Я понимаю.

Сотрудничал с немцами. Михе и в голову не могло такое прийти.

— Я знал немецкий и поэтому работал переводчиком полтора, нет, почти два года. Работа была не постоянная, время от времени. Но переводил я

и для эсэсовцев, и для полицаев. Поэтому-то я все знал, что они творили. Понимаете?

Коротко кивает, будто бы сам себе.

— А еще я расстреливал евреев. И других тоже, партизан, но чаще всего евреев.

– Понятно.

— Я знаю, что мы так не договаривались. Я сказал, что не хочу об этом говорить, но тогда я думал, что вы обо всем знаете. А теперь понял, что невозможно говорить о тех временах, когда вы ни о чем не подозреваете. Поэтому я подумал, что все вам расскажу, а затем мы продолжим.

Миха кивает. Тугими пальцами отвязывает сумку от руля. Он не в силах стоять спокойно. Возится с застежками, с ремнями, с велосипедом, поднимается по ступенькам на крыльцо. *Свыкнуться бы.* А еще — сохранить дистанцию между собой и стариком.

Миху трясет.

Миха думает: *«Я не хотел этого знать».* Но слишком поздно.

* * *

— Ну как, вы сегодня разговаривали?

Миха впервые за все это время позвонил домой, и, похоже, Мина рада его слышать.

– Вроде того. Но не очень-то продвинулись.
— Он не захотел тебе отвечать?
– Да нет. Дело во мне. Я просто не смог. Через десять минут уехал, колесил весь день.

Мина какое-то время молчит. Миха садится на корточки, прислоняясь спиной к телефонной будке.

— Он помнит твоего деда?
– Еще не спрашивал.
— А-а.
– Он убивал евреев.

Миха прислушивается, как она отреагирует. В трубке тихо.

– Я имею в виду – Колесник. Не опа. Хотя опа, может быть, тоже. Вполне возможно. Он принимал участие в расстрелах. Сам мне сегодня об этом сказал. После такого я не мог остаться. Не мог смотреть на него, разговаривать.

– С тобой все нормально?

— *Нет.*

– Миха.

– *Все хорошо, Мина, прости. Со мной не все в порядке, но в целом все хорошо.*

– Миха. Может, тебе просто вернуться домой?

Да, это выход. Набирая номер, он так и собирался поступить. Но теперь, когда об этом сказала Мина, он засомневался. Молча слушает, как Мина вздыхает.

– *А ты как? Все нормально?*

— Да, у меня все в порядке.

– *Что новенького?*

– Записалась на курсы будущих мам.

– *Правда? Когда первое занятие?*

– На следующей неделе. В среду вечером. Приглашаются роженицы и их мужья. Ты пойдешь?

– *В следующую среду? Не знаю. В другой раз буду точно. Они ведь длятся до самых родов?*

— Да.

Приподнявшись, Миха бросает в щель телефона еще несколько монет.

— Слушай, Миха, я, наверное, пойду. Я сегодня рано встала.

– *Ага.*

– С тобой ведь все нормально?

– *Да, все хорошо.*

Прислушиваясь к шумам в трубке, Миха пытается представить, где именно находится сейчас Мина. Холодильник не шумит, телевизор не работает, машин с улицы не слыхать. *Лежит на полу в коридоре, ноги задрала на стену Без тапочек, в одних носках.*

— *Послушай, я бы приехал на курсы, но тогда выезжать пришлось бы, скорее всего, завтра, из-за нестыковок в расписании. Я и так вернусь совсем скоро, ты же знаешь.*

– Да. Я знаю. Мы потом их нагоним.

— *Да.*

– Если не хочешь, тебе вовсе не обязательно снова ехать к этому человеку.

– *Я знаю.*

— Я хочу сказать, если он тебе неприятен.

— *Да. Знаю. Просто мне кажется, что разгадка уже рядом.*

Он говорит это и знает: услышанное сегодня ничего не отменяет, вопрос еще не задан.

— Но ведь есть и другие варианты. Можно по-

спрашивать еще у кого-нибудь.

– Но у кого? Я все думаю об этом. О том, что он рассказал. Конечно, это ужасно, но может, именно поэтому лучше него никого не найти.

Мина долго молчит, а потом вздыхает.

— Понятно. Да.

Слышно, как она барабанит по аппарату. Ногтями или ручкой. Интересно, она уже все руки себе изрисовала?

— Хорошо. Что же, если у тебя все хорошо, буду прощаться.

Миха молчит. Ему не хочется, чтобы она клала трубку.

— Пока, Миха.
– Ну ладно, пока.
— Пока.

* * *

Старик говорит наполовину в микрофон, наполовину Михе. Сегодня он нервничает. Как тогда, в первый день, на кухне. Михе трудно на него смотреть.

— Сейчас я живу в этой деревне, а родился в соседнем городе, там и вырос, при советской власти, до фашистов еще.

Колесник закуривает новую сигарету.

— Когда немцы пришли, мне было девятнадцать. Я работал переводчиком, а когда мне исполнился двадцать один, поступил к полицаям.

Миха смотрит строго перед собой, на магнитофон.

— А потом, когда вернулись коммунисты, я сидел в лагере.
— *Где?*
— В России. Семнадцать лет.

На восемь лет дольше, чем опа. Молчание.

— Давайте на этом остановимся.

Старик прищуривается. За окном проезжает машина.

— Может, завтра будет легче. Еще день на то, чтобы привыкнуть. Вы продумаете вопросы, что вы хотите от меня узнать. Запишете их, а завтра спросите.

Ночью жарко, и Миха спит с раскрытым окном. Лежит на одеяле, шерсть колет под коленями. На огонь летит мошкара, роится в яркой лужице света.

Не спится. Темнота, плотная и душная, не дает ему покоя; он видит ее и с закрытыми глазами.

Рассвет Миха встречает с облегчением.

* * *

– Тот человек, который застрелился. Немец. Я все о нем думаю: вы сказали, что он убивал детей по приказу.

— Да.

– А что бы случилось, если бы он воспротивился? То есть, я хочу спросить, была ли у него возможность отказаться?

— Да!

— Да?

Этим утром Колесник был готов к его приходу заранее. На столе сигареты, водка и два стакана. Елены не видать.

Старик придвигается к столу. Теперь он ближе еще на несколько сантиметров. Минуту или две он думает.

— Были приказы, но были и добровольцы.

– Приказывали вызываться добровольно?

— В какой-то мере. Да.

– В какой мере?

Теперь Михе можно быть нетерпеливым. И можно эту нетерпеливость проявлять, Колесник все равно ответит.

— При желании можно было отказаться. Если вы не хотели, никто вас не заставлял.

— И за это никак не наказывали?

— Нет.

– Так вы думаете, тот человек, он убивал детей по собственному желанию?

— Нет, я так не думаю.

– Не думаете?

— Нет.

– Но если его не заставляли и сам он не хотел, почему тогда он это сделал?

Колесник молчит. Миха берет сигарету, другую подталкивает к Колеснику. Старик прикуривает от старой сигареты.

– Разве не мог он стрелять в сторону? Делать вид, что целится, но стрелять мимо?

Колесник пожимает плечами. Миха думает: *«А*

ты, Колесник? Ты целился или мазал?»

— За это еще кое-кто отвечал.

Через широкий кухонный стол Миха глядит на старика, и тот опять пожимает плечами. Жест, выражающий скорее отступление, а не окончательный отказ. Миха решает: *«Целился».*

– В каком смысле?

— Некто этим распоряжался. И даже если он не приказывал вот так, напрямую, он все равно давал понять, что нужно сделать. Так что от вас ничего не зависело, понимаете? И вы шли и делали, хотя вам и не приказывали. Получалось, что делали добровольно. А в таком случае тот, кто отдавал приказ, тоже ни за что не отвечал.

Колесник чертит в воздухе круг, и Миха следит за его руками.

А потом старик просто сидит.

Через какое-то время продолжает.

— Трудно мне вам это объяснить. Я не сумею это рассказать, да вы и не поймете. Я думал сегодня: хорошо это. Хорошо, что вы так и не узнаете, что у меня на уме. Вы совсем другой человек.

А Миха думает: *«Это чересчур просто. Слишком просто, чтобы об этом рассказывать».*

— *А вы сами теперь не другой?*

– Может быть, может быть. Затрудняюсь сказать. Не мне судить о таких вещах.

– *Но сегодня это имеет для вас какое-то значение? То, что вы тогда делали?*

— Нет. Нет. Но я помню, что тогда мне это помогало.

* * *

Миха пишет Мине письмо. Он не может сказать ей всего по телефону. Боится произнести это вслух. Вдруг тогда это станет реальностью. Ей будет противно, он знает. Может, она письмо и не прочтет, но ему, по крайней мере, нужно вылить это на бумагу.

Может, это действительно был замкнутый круг, как сказал Колесник.

Миха думает о деде. *С автоматом.* Стоит, впереди траншея, а позади черно-зеленая чаща.

Он мазал? А если да, меняется ли хоть что-нибудь? Становится ли он от этого лучше? И почему?

В то самое время, в том самом месте. Они пришли сюда убивать. Вот зачем он здесь был.

Миха кладет письмо в конверт и запечатывает. Тошнит, надо бы лечь. Он идет с письмом в туалет, рвет его и спускает клочки в унитаз.

* * *

Два дня Миха не ходит к Колеснику. Не то чтобы он задумал так нарочно. Но проходит один день, а за ним следующий.

* * *

На линии помехи, и Минин голос теряется среди шума. Ей снова звонила мутти. Миха понимает, что Мина на него сердится, но нужно дать ей выговориться. Он то и дело ее перебивает — сам того не желая, в неподходящий момент. И чем дальше, тем хуже.

— Она подумает, что я не передаю приветы.

– *Нет, она подумает, что я вконец обленился. Плохой сын.*

— Так позвони ей оттуда.

– *Не могу.*

— Почему, Миха?

— *Что?*

— Я спросила почему.

– *Она поймет, что я звоню издалека, мне придется врать.*

– А так ты меня заставляешь врать. А ей я врать не хочу.

– *Отец тоже звонил?*

– На прошлой неделе, я же тебе говорила.

– *Ага.*

– Ты там еще долго пробудешь?

– *Мина, я не слышу.*

— Ты еще долго там?

– *Пару дней, наверное. На выходные возьму билет.*

— Пару дней.

– *Да. У тебя все хорошо, да? С ребенком все в порядке?*

– Просто замечательно, Михаэль. Я все еще беременна, и все просто за-ме-ча-тель-но!

И молчит. И Миха тоже. Пусть пыль уляжется.

— Я поставлю на автоответчик. Позвонят твои родители, не стану подходить.

— *А когда я позвоню, подойдешь?*

– Ты скоро вернешься. Зачем тебе опять звонить?

Миха делает глубокий вдох. Мина жестока. Что ж, он тоже будет жесток.

– *Деньги кончаются.*

Возле Михиных пальцев неровным столбиком высятся монеты. Он отводит глаза, притворяясь, что их тут нет.

— Да, хорошо. До встречи.
– *До встречи.*

Оба молча ждут, когда связь оборвется. Мина не выдерживает и первая дает отбой.

* * *

Колесник сидит на стуле, как прикованный. На полированной деревянной ручке стоит пепельница и лежит коробок спичек. Миха протягивает старику непременную пачку сигарет, и тот закуривает.

* * *

– *Вы испытывали к евреям ненависть?*
— И да, и нет.
– *Это как?*
— Я выискивал людей, которых можно было

бы ненавидеть.

– *Правда?*

– Я был обозлен. Из-за отца, из-за деревни, из-за колхозов, голода. Коммунистов.

– *Что случилось с вашим отцом?*

— Его расстреляли.

— *Коммунисты?*

– Да. Я помню, как его уводили: его и еще пятерых человек.

– *За что?*

– Он был учителем. И не хотел учить по их указке. Его и раньше забирали, но на этот раз он не вернулся.

Миха глядит на старика. Ни слез, ни грусти в голосе — сидит себе неподвижно в кресле, отделенный от Михи кухонным столом.

– *Значит, вот почему вы ненавидели евреев? Из-за отца?*

— Да, можно сказать и так.

– *А вашего отца забрали евреи?*

– Нет, среди них не было евреев. Те коммунисты, что увели отца, не были евреями.

В добавление к словам Колесник поднимает руку, машет в воздухе широкой ладонью.

– Тогда почему вы не чувствовали ненависти к коммунистам?

— Их я тоже ненавидел, но все они ушли. Еще до прихода немцев. Без наказания за все свои дела.

– Поэтому вам хотелось кому-нибудь отомстить?

Колесник пожимает плечами. Новое отступление.

– Вам хотелось отомстить кому-нибудь за произвол коммунистов, тут подвернулись евреи, и вы решили мстить им?

— Я жалею об этом. Я знаю, что словами делу не помочь. Знаю, что поступал плохо, вы понимаете? Я не умею это лучше объяснить.

Миха повторяет про себя: *«Знаю, что поступал плохо».* Комната, сизая от дыма.

– Вы и тогда знали, что это плохо?

Кивок.

– Тогда почему?

Колесник молчит и смотрит в пол. Не отвечает и на повторный Михин вопрос. Миха останавливает магнитофон и выходит на крыльцо, на свежий летний воздух. Когда он возвращается,

Колесник все так же сидит на стуле.

* * *

— Вы записываете?

— *Да.*

— Они забрали у меня отца. Мы всей нашей семьей голодали и мерзли, а потом пришли немцы и сказали мне, что виноваты евреи. Они всем так говорили. Все евреи — коммунисты. А это была неправда.

– *Неправда?*

— Ага. Среди коммунистов были евреи. Но много было и белорусов.

– *Выходит, они лгали?*

— Да.

– *Вы это знали?*

– Да. Но лгали они правдоподобно.

– *Что это значит? Объясните.*

— Знаю, что плохо так говорить. Знаю, что это ужасно. Я и тогда это знал.

Колесник смотрит на Миху, а Миха отводит взгляд. Он не хочет об этом слушать. *Мне незачем это знать. Зачем мне знать о нем. Мне нужен отец. Спроси его об Аскане Белле.*

– *Бойня началась в сорок первом.*

— Верно.

— А вы в то время работали переводчиком. На немцев.

— Да, но я все видел.

– В сорок третьем вы немцев тоже видели?

— Да, и сам убивал.

Миха чувствует на себе стариков взгляд, ищущий его глаз. Миха обдумывает новый вопрос, но старик его опережает.

— Я сделал свой выбор, понимаете? Почти целых два года я наблюдал, как немцы убивали евреев, и сам стал убивать. Я сам это выбрал, вы понимаете?

У Михи нет желания отвечать. Может, стоит выключить магнитофон и снова выйти? Непонятно, почему Колесник ему это рассказывает. Похоже, с Михи на сегодня достаточно.

— Вы понимаете?

— Да. Хотя нет. Вы сказали, вы были обозлены. Из-за отца.

— Да.

– Вы думали, что будете расстреливать евреев и станет легче.

— Вы меня не слушаете.

Напрямик. Спокойно. Миха коротко взглядывает на Колесника. Встречаются глазами.

– Вы думали, станет легче, но вам не полегчало.

— Трудно сказать, герр Лехнер, особенно через столько лет. Видите ли, непросто знать за собой такое. Можно перечислять причины. Я потерял отца, голодал, хотел помочь семье, приказ есть приказ, нам говорили, что евреи — коммунисты, а коммунисты причинили мне много бед. Можно повторять все это снова и снова. Ничего не изменится. Я сделал выбор и пошел убивать.

Миха ощущает на себе его взгляд, но не может поднять голову. Изо всех сил прижимает к глазам кулаки и, отняв их, ждет, пока пройдут багрово-черные болезненные круги.

Ничего не меняется.

Старик курит и смотрит в пол.

* * *

Миха пишет в блокноте Мине письмо, сознавая, что никогда не вырвет и не отправит страничку. Сознавая, что должен взять этот листок с собой к Колеснику и, отважившись, прочитать вслух.

Убивал ли опа? Делал ли он это из убеждений? Либо просто потому, что было дозволено? Было ли ему плохо или стыдно? Испытывал ли он ненависть? Плакал ли? Или верил в свою правоту?

* * *

– Они когда-нибудь это обсуждали? Что было потом? Вы слышали, что именно они говорили?

— Я им был не ровня. Я ведь белорус.

– Вам запрещалось с ними разговаривать?

— Меня звали, только когда нужно было переводить.

– Значит, их разговоров вы не слышали?

– Нет. Да я и сомневаюсь, чтобы они об этом беседовали.

– Почему вы так считаете?

— Что было потом… На обратном пути всегда было тихо. Они здорово надирались в грузовиках, и все старались помалкивать. Думаю, тем, кто оставался в деревнях, не больно-то хотелось об этом слушать, а тем, кто ездил в лес на расстрелы, наверное, не больно хотелось говорить. Мне говорить никогда не хотелось.

Сигарета у Колесника догорела. Он стряхивает длинный столбик пепла в пепельницу и закури-

вает по новой.

— Когда пошли первые расстрелы, люди, белорусы, заговорили об этом повсюду, но скоро перестали. Всем было известно, что расстрелы продолжаются, и люди замолчали. Я тоже знал и тоже молчал.

– А после того?

— Напивался. После, вечером, всегда было много еды и выпивки. Музыка до упаду. Не возникало желания поговорить. Просто мы пили, ели, включали музыку на полную катушку.

* * *

Сегодня, Мина, мы просто сидели. И вчера было то же самое.

Миха не отваживается задать свой вопрос; Колесник сидит с ним вместе на кухне целый день. Молча подливает водки, нарезает хлеб. Подает носовые платки. Сидят час за часом, магнитофон крутится и крутится, а потом останавливается, Миха переворачивает кассету и снова включает запись.

* * *

Миха подъезжает к деревне, где живет Колесник, но, миновав ее, направляется в город. Магнитофон при нем, но день наверняка опять пройдет в молчании, лучше уж съездить в музей.

Девушка на входе сначала не узнает его, но потом, улыбаясь, здоровается и кивком указывает на книгу для посетителей.

– Верно. Весной.

На этот раз Миха не подходит к манекенам в военной форме и фотографиям с мест расстрелов. Он ходит в другой части зала. Целое утро рассматривает семейные снимки, дома, предметы быта. Перчатки, рулон ткани, серебряная чашечка. Записи в гроссбухе, карандашные каракули, пометки на полях книги.

Мужская кожаная туфля, добротная и тяжелая. Задник изнутри стоптан. Когда-то он ходил по деревне, из города в город. А потом кружил только по дому или, в лучшем случае, заходил к соседу, мерял шагами убогое пространство гетто.

На ту сторону зала Миха не заходит, не отваживается снова заглянуть в те лица.

* * *

По возращении Миха обнаруживает Колесника, сидящего на лавке возле Андреева дома. Тот поднимается навстречу подъезжающему по дорожке Михе.

— Я заволновался. Вы не приехали.

Миха не знает, что ответить.

— Ваш друг сказал, что вы пока не уехали. Я решил подождать.

– Все нормально. Только мне сегодня не хотелось разговаривать.

— Ясно.

Миха останавливается, не заходя в дом; старик, похоже, и не думает уходить.

– Послушайте. Я не могу вас пригласить зайти. Вы знаете, это не мой дом.

– Да. Знаю. Я просто подумал… Вы завтра приедете?

— А вы не против?

— Нет, конечно.

– *Просто мне нужен был перерыв.*

– Ага. Моя жена, Елена, я попросил ее побеседовать с вами. Она не сотрудничала с немцами. Я подумал, что вам будет интересно и ее послушать.

Миха удивлен.

– *Она согласилась?*

— Да, да. Она хочет с вами поговорить.

– *Хорошо.*

– Так я скажу ей, что вы завтра приедете?

– *Хорошо.*

В доме, на кухне, Миха сталкивается с матерью Андрея. Она наблюдала за разговором из окна и теперь, похоже, рассержена. Она говорит что-то Михе, он не понимает, но пугается тона, каким это сказано. Сплюнув в мойку, она выходит.

* * *

Миха сидит за столом вместе с Иосифом и Еленой Колесник. Все трое склонились над микрофоном; магнитофон тихонько гудит на столе. Колесник будет переводить жене. Во время беседы Елена смотрит ему в лицо, но он глядит строго перед собой, ровно положив на стол руки. *Он*

делает вид, будто его здесь нет.

– Как вы относитесь к тому, что делал ваш муж? Во время оккупации.

Елена отвечает мужу, потом Михе.

— Она сожалеет об этом.
– Сожалеет?

Елена кивает, слегка скребя кончиками пальцев по столу. Снова говорит.

— Один из ее братьев тоже так поступал.
– Не может быть.
— Да. Она говорит, немцы приказывали, и он стрелял.
– Как она к этому относилась? Тогда, в то время?

Колесник передает жене вопрос, и та, пожимая плечами, что-то отвечает. Буквально два слова.
— Она не помнит.
— Как?

Елена смотрит на мужа. Шевелит губами, но не произносит ни звука. Миха ждет, но на ответ особенно не надеется. Задает новый вопрос.

— Что случилось с ее братом?

— У нее было два брата. Одного немцы расстреляли в самом начале, а второго — когда пришли красные.

– Немцы расстреляли?

— Да. Вместе с десятком других мужчин из ее деревни. В наказание за немецкого солдата, которого на площади застрелили.

– Кто этого солдата застрелил?

Миха смотрит на задумавшуюся Елену.

— Она не знает. Может, партизан какой.

– Но ее брат не был партизаном?

— Нет, но его все равно расстреляли. Она хочет, чтобы вы знали, какое тогда жестокое было время.

Елена чертит по столу длинным ногтем большого пальца. Губы сжаты, глаза мокрые. Миха молчит, вдруг она еще чего скажет. Когда она наконец снова начинает говорить, Колесник вдруг кивает; в его глазах что-то меняется. Впервые за все время он проявляет хоть какую-то реакцию.

— В конце концов, она научилась различать птичку по песенке.

— Я не понимаю.

Елена кладет руки на стол, ладонями вверх.

Короткие пальцы с мясистыми подушечками, глубокие линии руки. Говорит что-то. Муж переводит. Снова говорит.

— В конце концов, разница стерлась.

— После расстрела евреев немцы пришли к ним в дом — убивали, жгли, грабили. И партизаны тоже. Голодные, они выходили из болот с ружьями наперевес.

— Отец запирал двери, заколачивал гвоздями, но они все равно врывались.

— Она говорит, что боялась. Все время боялась. Женщин насиловали, мужчин уводили. Никому нельзя было верить. Все менялось каждую неделю, каждый день.

— Она пряталась в сарае. Иногда убегала на кукурузное поле. Иногда на речку, в камыши.

— Она вспоминает, как, не переставая, плакала и плакала ее мать, и как мужчины отнимали у них еду. Увели корову. Последнее, что у них оставалось.

Замолчав, Елена вытирает лицо. Из ее слабых легких тяжело рвется дыхание. Колесник, взглянув на нее, снова застывает. Когда она начинает говорить, он опускает глаза и смотрит на свои сжатые кулаки.

— Когда деревню сожгли, стали жить в землянках.

— Когда кто-нибудь приходил — жег, грабил, убивал, она не разбирала, кто это. Сразу убегала и пряталась.

— А если они пели, на своем языке, тогда можно было разобраться. День — немцы, на другой — партизаны. Потом еще русские добавились.

Миха перебивает. Ему важно знать.

– Кто из них был хуже всех?

Елена смотрит на мужа, и тот повторяет вопрос, а потом переводит взгляд на Миху, но не отвечает.

– Я имею в виду – коммунисты, фашисты, партизаны, красные… Кто был хуже всех?

У Елены по щекам катятся слезы. Миха видит их отблески возле рта, когда она поворачивается к свету. *Не скажет.* Возможно, она не хочет даже в такой момент показаться грубой, но Михе нужен честный ответ. *Фашисты. Фашисты были куда хуже остальных.*

Переждав немного, Миха спрашивает.

— И обо всем этом вы просто сожалеете?

Колесник переводит, и Елена смотрит на Миху сердито. Ответ адресует мужу.

— Она не понимает, что вы хотите сказать.

Миха пытается по-новому сформулировать вопрос, но у него не получается. Елена, поднявшись, что-то говорит; не Михе, одному только Колеснику. Перевязывает платок, туго, резко затягивая узел под подбородком. Она плачет. Муж за нее отвечает.

— Она говорит, что на другие чувства уже не способна.

* * *

Миха собирает сумку, поглядывая в окно на вечереющую улицу. На крыльце, на стуле, сидит Елена, сложив руки на коленях. Михе в окно видна фигура, но не видно лица.

– Она вспоминает. Ей тяжело. Она через какое-то время вернется.

Колесник стоит и смотрит, как Миха смотрит на его жену.

– Елена сказала, что она сожалеет.
— Да.

– *Сожалеет о вас и о брате.*
— Да.

Миха ждет, пока Колесник разливает водку.

— У нас нет детей. Мы поженились, когда я вернулся. Елене было уже много лет. Она считает, что это кара за те времена.
— *А вы?*
— Что я?
– *Вы тоже сожалеете?*
— Нет.
– *Нет?*

Колесник поднимает глаза на Миху. Взгляд твердый. Очевидно, тут дело принципа.

– *Вам хотя бы стыдно?*
– Как я могу оправдаться?

Этого вопроса он ждал. Ответ у старика заготовлен.

— Как я могу оправдаться? И перед кем? Кто может меня простить?

Колесник смотрит на Миху. *Никто. Никого в живых не осталось.* Так Миха думает, но вслух не произносит.

— За себя мне не стыдно.

Миха ищет в стариковском лице слабинку, но напрасно. *Не плачет.*

– Вы тоже считаете, что это вам была кара?
— Нет.
– Даже тюрьма?
— Все равно нет.
– И бездетность?
— Нет.

Миха глядит на старика. Этот человек ему непонятен. Непонятны его резкие ответы.

– Ваша жена плакала, когда со мной разговаривала.
— Я плакал в тюрьме. После расстрела евреев несколько ночей плакал. Другие тоже. Я был неправ, когда расстреливал, и когда плакал, тоже был неправ.

Порой голос Колесника срывается на хрип.

– Елена плачет — она тоже неправа?
– Елена ничего не сделала. Она девчонкой была. Хоронилась ото всех, вот и выжила.

Слова падают отчетливо и тяжело.

– Однако вашу жену постигла кара. У нее нет детей.

— Елена считает, что это ей в наказание. А я… За то, что я сделал, наказания нет. Никакого сожаления не хватит и никакого наказания.

* * *

Утром Миха оставляет магнитофон у Андрея — в своей комнате, на столе. В сумку кладет фотоаппарат и едет к Колесникам. Когда они входят в кухню, Елена встает, и Миха вынимает камеру, чтобы она видела. Она улыбается и кивает, тихо говорит что-то мужу и заправляет под платок выбившиеся пряди.

— Спасибо, герр Лехнер. Моя жена говорит, это очень мило с вашей стороны.

– Ну что вы.

Елена ставит к дальней стене, рядом с печкой, два стула, а Миха устанавливает камеру. Ему помогает Колесник, держит треногу, стоит не шелохнувшись, покуда Миха наводит резкость по фактуре его пиджака. Миха, которому неловко работать молча, начинает говорить.

– Это хороший фотоаппарат.

— Правда?

– У него новейшие линзы. С выдвижным объективом, но резкость держит. Снимки четкие получаются.

Колесник смотрит в видоискатель, и чтобы он видел не одни только пустые стулья, Миха входит в кадр. Теперь Колеснику есть что разглядывать. Он улыбается, и Миха тоже улыбается в объектив. Не то чтобы Миха улыбался Колеснику, но старик, довольный, посмеивается.

Елена, приосанившись, садится подле мужа, тот берет ее за руку. Ладонь в ладони, они ждут, пока Миха подстроит свет.

– Я сделаю кадра три-четыре. Для верности. Ладно!

Колесник напрягает шею и, не отрываясь, смотрит в объектив; кивает чуть заметно. Так и сидит все время, пока Миха снимает. И вдруг, в самый последний момент, отворачивается. Он смотрит на Елену, смотрит так, будто бы она — единственное, что заслуживает внимания. Елена смотрит прямо — на Миху, на фотоаппарат, в объектив. А Иосиф вдруг отворачивается.

Прямо как опа.

Миха делает еще два снимка. Не просит Колесника посмотреть в камеру, вообще ничего не говорит.

А потом Елена встает и заходит к Михе за камеру. Улыбаясь, жестами показывает: сядь рядом с мужем, я хочу вас сфотографировать вместе.

Миха переводит взгляд на Колесника, наблюдающего за женой. Та оживленно настаивает, подталкивает Миху к стулу.

– *Знаете, я, пожалуй, не буду.*

Это грубо и жестоко, но Михе и впрямь не хочется фотографироваться с Колесником. Старик переводит, и Елена смолкает. Она обижена, но старик задет сильнее. Сидит неподвижно, уронив огромные руки на тощие колени.

Миха начинает извиняться. Складывает камеру и уходит.

* * *

В дверях кухни стоят Андрей и его друг — похоже, они смущены и недовольны. Миха отмывает руки под краном. На обратном пути на велосипеде порвалась цепь, и теперь все руки в масле и

ржавчине, а под ногтями — бурая грязь. Михины руки, еще не отошедшие от фотосъемки, подрагивают под ледяной струей, текущей из крана. Миха оборачивается навстречу входящим.

— Андрей говорит, что не нужно было приводить сюда этого человека.

Миха этого ждал. Он говорит:

– Скажите ему, пожалуйста, что я старика не звал. Он пришел сам. Простите.

И прислушивается к невнятному бормотанию переводчика, разглядывая свои замасленные, недомытые руки.

— Андрей говорит, тот человек — убийца.

– Знаю. Скажите ему, что мне это известно.

«Ну вот и все», — думает Миха. Конец дружбе. И поездке конец.

– Я завтра уезжаю. Пожалуйста, скажите Андрею, что я уезжаю и очень благодарен ему за гостеприимство. Ему и его маме.

Андрей с явным облегчением кивает. *Ему не пришлось меня выгонять.*

Миха отворачивается. Злые слезы жгут глаза.

Он снова открывает кран и трет пальцы под холодной водой, но от мыла масло только хуже размазывается.

* * *

– Вы помните такого?

Вечером Миха опять к ним возвращается. Елена Колесник впускает его в дом и оставляет наедине с мужем на кухне.

– Вот этого человека?

Миха кладет фотографию на стол, чтобы старик не заметил его дрожащих рук. Красные от воды, от вечер него ветра, от холодного велосипедного руля. Колесник придвигает снимок к себе поближе.

— Это здесь, в Белоруссии?
– Нет, в Германии, в тридцать восьмом.
— Лицо знакомое.

Миха был к этому готов. Весь день готовился. Все эти дни.

— Кто это?

Миха не знает, что сказать. Раньше он хотел все

Колеснику рассказать, потом раздумал. Хорошо бы Колесник все узнал, но имя деда называть бы не пришлось. Но он называет.

– *Аскан Белль.*

– Да. Это Белль, он служил в SS.

– *Waffen SS.*

— Верно, Waffen SS. Я его помню.

Почти полегчало.

– *Что вы помните?*

— Они несколько недель тут воевали, а потом спешно ушли. И однажды рано утром в городе оказались красные. Прямо в центре, возле церкви.

– *В сорок четвертом.*

— Угу. Они меня арестовали, вместе с другими такими же, а потом к нам и немцев стали приводить. Не всех, некоторые были уже мертвы, некоторые успели убежать, но приводили тех, кто остался. Похоже было на чистку гетто, фашистского гетто. Они стояли с нами на перекличке, и я помню, среди них был Аскан Белль.

– *Вы его видели?*

– Да. Русские вытолкнули его из строя. Они шли вдоль строя и вытолкнули его, поставили на колени. На главной площади. Они, естественно,

были с автоматами. Ему к голове приставили автомат, и имя объявили — тот самый Белль.

Alles vorbei[18]. Финал. Опа Аскан Белль.

Миха не знает, что сказать. Думает: *«Зря не записал».* Магнитофон завернут в свитера и лежит на дне сумки, оставшейся в Андреевом доме.

– *Еще что-нибудь помните?*

– Русские собирались нас расстрелять. Некоторые хотели расстрелять нас прямо на месте. Потому-то они и держали нас в шеренге так долго: всё спорили. Я хорошо это помню.

– *Он мой дед.*

Колесник замолкает. Смотрит на Миху, и Михе на миг приходит в голову, что старик рассердился. Он собирался совсем не так это сказать, но так оно вышло.

Под Колесниковым взглядом Миха начинает нервничать, ерзать на стуле.

– *Почему они хотели расстрелять моего деда?*

– Они хотели расстрелять всех нас.

Миха сидит долго. Или ему кажется, что долго,

---

[18] Примечания: 18

Alles vorbei — буквально: все прошло *(нем.).*

и он пытается разобраться в охвативших его чувствах. Пытается понять, можно ли спросить то, что ему очень нужно знать. Напротив сидит Колесник, Михаэль слышит его дыхание и думает, что, наверное, сможет даже почувствовать, когда Колесник на него посмотрит и когда он отведет глаза.

– *Он был здесь. Лето и осень сорок третьего.*

Колесник дернулся. Миха замечает это краем глаза. Начинает снова.

– *Скажите, он стрелял?*

Задавая вопрос, Миха не смотрит на Колесника, ждет ответа. Но Колесник молчит, и Миха поднимает глаза.

Старик сидит, обхватив голову руками.

Фотография отодвинута на середину стола. Глянцевая поверхность снимка отсвечивает на солнце, и дедова лица не различить, только множество линий, покрывающих фотографию мелкой сеткою. И глубокий залом, пересекающий ноги.

– *Иосиф!*

— Он стрелял. Прости, Михаэль. Он убивал ев-

реев и белорусов.

Хорошо, что не видно дедова лица, хорошо, что Колесник смотрит в сторону.

– *Вы сами видели?*

Колесник трет глаза.

— Я про него знаю.

Знает.

Миха поднимает взгляд на Колесника, но тот смотрит в окно. *Знает.* Глаз старика не видать, но лоб явственно пересекла складка, и тень упала на лицо.

– *Откуда вам известно?*

– Сорок третий. Тогда все, кто здесь был… Все были за этим. Они все, и мы все.

– *Но вы говорили. Вчера вы говорили, что стрелял не каждый. Тот человек, что покончил с собой…*

— Я его запомнил потому, что он покончил с собой.

– *Что вы хотите сказать?*

– Простите.

Миха смотрит на Колесника, на лицо, спрятан-

ное в ладонях. Вслушивается в голос, доносящийся из-под пальцев старика.

— Тех, кто не стрелял, было так мало. Их было так мало, что я могу назвать имя и описать лицо каждого, кто не стрелял.

Он-то знает. И Миха знает, что это правда.

— Понимаете?

Миха понимает, но молчит, изо всех сил прижимая кулаки к глазам.

* * *

По пути на автобусную остановку Миха с сумками проходит мимо дома Колесников. Когда Миха появляется в воротах, Колесник стоит в саду под деревом.

— Михаэль!

Колесник радуется и, улыбаясь, спешит по дорожке навстречу. Михе приходит в голову, что никогда ему к этому не привыкнуть; не приучить себя к симпатии Колесника.

— Может, поедите чего? Есть время заглянуть?

– Нет, к сожалению. Автобус должен скоро

подойти.

– Тогда я вас провожу, ладно?

— Да. Спасибо. Отлично.

На остановке Миха оставляет Колесника с сумками, а сам идет купить яблок в дорогу. Яблоки ему не нужны, ему вообще ничего в дорогу не нужно, но не может он стоять со стариком и в молчании ждать автобуса.

Хорошо наконец уехать. Миха пытается, но не может почувствовать грусть, прощаясь с Колесником. И хотя Миха знает, что Колесник ему симпатизирует, все же ему кажется, будто и тот не слишком расстроен его отъездом.

Колесник, не дожидаясь, пока автобус отправится, прощается с Михой, на миг прижав к стеклу широкую сухую ладонь, и уходит. Миха сидит в одиночестве и ждет. Скорее бы автобус тронулся.

Дома, зима 1998-го

Мина то плачет, то смеется, и жалуется, что чудовищно устала. Как никогда прежде. Миха, к неудовольствию нянечки, ложится к Мине на постель. Когда няня выходит, Мина снова зали-

вается смехом, а Миха отворачивает краешек одеяла и глядит на крохотное дочкино личико.

– *Как мы ее назовем?*
— Я не знаю. Не знаю.

Мина кладет малютку Михе на живот, и тот через рубашку ощущает слабое тепло, но не ощущает никакой тяжести.

– *Тебя как зовут?*

Заметив Минину улыбку, Миха смеется.

Мина засыпает, а Миха все лежит с их малышкой, не смыкая глаз. Так ему, по крайней мере, кажется, но пришедшая Луиза его будит.

— Я принесла шампанское.

И цветы тоже. А Минины родители дарят какую-то совсем большую детскую одежду. Вскоре подходят и Михины мутти с фати. Вся эта толпа родственников набилась в душную палату, и всем как-то неловко, и Миха быстро пьянеет от Луизиного шампанского. Он давно не ел. Стоит и смотрит из коридора на свою крошечную малышку, переходящую по комнате с рук на руки.

— Ты позвонишь бабушке?

Мутти спрашивает, прощаясь.

— *Нет.*

Мать хмурится, отец — замечает Миха краем глаза — поворачивается спиной.

Луиза остается дольше всех.

— Ну, тогда я ей позвоню. Хочешь?

– *Все равно.*

– Миха.

– *Что? Не желаю ее видеть. Она все знала. Покрывала его.*

— Не факт.

– *Он писал письма. А потом все до единого сжег. Как ты думаешь, что там было?*

— Не сейчас, вы двое, слышите?

Мина встает с постели и забирает у Луизы ребенка. Миха смотрит на сестру, но она избегает его взгляда. Похоже, она вот-вот снова заплачет, завоет, как в тот день, когда он вернулся из Белоруссии: сидит за столом на кухне, кулаки сжала, впилась зубами в костяшки. Но сегодня Луиза владеет собой. Сделав глубокий вдох, она провожает взглядом Мину с новорожденной дочкой до кровати и встает.

— В общем, мне пора. Отдыхайте.

Миха пожимает плечами. Мина, откинувшись на подушке, улыбается Луизе.

— Завтра придешь, ладно? Так приятно было тебя увидеть, Луиза.

После ухода сестры Миха вновь садится. Прислоняется к стене и закрывает глаза.

— Я тут подумала, ты тоже можешь, наверное, идти.

Миха открывает глаза.

Мина пробует кормить дочку, промокая маленький ротик одеялом и ночной рубашкой. Наклоняется вперед, пытается устроиться поудобнее. Миха видит волосы на висках, влажные от пота. Темные круги под глазами.

— Иди домой. Придешь завтра. Только не приходи в одно время с Луизой.

* * *

Снова Рождество, на этот раз с маленькой дочкой. За мокрыми окнами сверкают разноцветные огоньки, день сменяет ночь. Запах молока, исходящий от ребенка, и пряный аромат печенья, которое принесли друзья.

Миха часто просыпается сердитым, и только через несколько минут вспоминает почему. Летние события никак не связываются с тем тельцем, которое он укутывает в одеяла и пеленает. Скрюченные пальчики, длинные ноги, черные волосики. *Дедушкина правнучка.*

Школьные каникулы, ночные кормления, сумрачные дни. Недели летят. Передавая дочку из рук в руки, Миха с Миной улыбаются друг другу. Он притягивает ее так близко, как ему только позволено. Немного помедлив, она тоже его обнимает. Все опять поменялось.

Михаэль Лехнер, тридцать один год: брат, племянник, сын и внук. Школьный учитель. Гражданский муж и вот теперь отец.

Вот уже несколько месяцев, как Миха вернулся из Белоруссии, но с родней почти не виделся. Ничего никому не сказал, одной только Луизе. С бабушкой не встречался, и всего пару раз разговаривал с матерью. Первый раз в больнице, второй — по телефону, когда она просила его сходить проведать ома.

— На час или на два, Миха. Она недоумевает.

– *Нет.*

– Она все время спрашивает, не уехал ли ты куда. Она думает, что с тобой случилась какая-нибудь неприятность.

– *Так и есть. Случилась.*

— Я имею в виду, с ребенком. Она думает, мы что-то скрываем.

Миха прикусывает язык. В голове вертятся тысячи возражений. Сплошь колкости. Сплошь банальности.

— Михаэль!

– *Нет.*

Миха и Луиза часто спорят — рассказать ли все родителям или нет. Ссорятся каждый раз, когда Луиза приходит навестить Мину, а также в кафе, парках, на уличных перекрестках. Специально встречаются, чтобы поговорить, и все эти встречи заканчиваются руганью.

— Они все равно знают. Тебя не было больше месяца. Думаешь, они не заметили?

– *Они не знают, куда я ездил.*

— Не будь таким наивным. Они могли догадаться. Сопоставили детали, и все. Они не так глупы.

– *Так что можно им все сразу и выложить, да? Сопоставить детали и тем самым лишить*

удовольствия поломать голову?

— Ну ты и говнюк!

– Да иди ты, Луиза. Они до сих пор не могут взглянуть правде в глаза.

— Почему же? Потому, что они не вопят и не орут об этом дни напролет, ежедневно?

– Как я, ты хочешь сказать?

— Да, вот именно.

Миха поворачивается отвязать велосипед. Луиза едет рядом, ее лица не видно.

— Они все равно знают, Миха. Оставь все как есть, ладно?

* * *

— Как ты хочешь ее назвать?

– Не знаю.

— Может, Дилан? Маму моего отца звали Дилан.

– Чудесно.

— Правда?

– Да. Да, правда. Красивое имя.

Миха смотрит на лежащую у него на коленях дочь: нежная кожа, темные глаза, еще неосмысленный взгляд.

– Дилан.

Придвигает лицо, и ее глазки расширяются. Нажимает кончиком пальца на середину ладошки, чтобы ощутить детскую хватку.

— Мы можем дать ей и немецкое имя.
– Нет. Дилан — хорошее имя.

Мина замолкает. *Прошу тебя, не говори о Кете. Пусть лучше будет твоя бабушка. Моей не надо.*

– Мне в голову никаких имен приходит.
— Ладно. Хорошо. Дилан так Дилан.

Мина улыбается. Кладет руку Михе на загривок.

— Дилан Лехнер.
– Дилан Лехнер.

* * *

Миха терпеть не может оставаться один.

Самое тяжелое для него время — дорога на работу и обратно. Он берет с собой в электричку книгу, подбирает забытые журналы и газеты, изучает рекламные объявления над головами пассажиров. Потом включает плейер. Музыка

грохочет так, что соседи по вагону — сплошь жители пригородов — начинают коситься на Миху. Ничто не помогает. Миха не в состоянии ни на чем сконцентрироваться.

Фотография. Глядя на нее я могу сказать: это Аскан, мой покойный опа. Помимо прочего, муж моей ома. И отец моей матери, а впоследствии мой дед. И вместе с тем убийца. Откуда я знаю? Друг рассказал. Где доказательства? У меня нет причин этому не верить. Да, у меня нет фотографии, где бы он приставлял автомат к чьей-нибудь голове, но я не сомневаюсь, что такое было. И курок спускал. А как же! Объектив выхватывал кого-то другого, взводился затвор камеры, и на пленке оставалось другое преступление, другой еврей, убитый кем-то другим. Но опа стоял буквально в двух шагах.

Дома он проверяет тетради на кухне, в большой комнате, где угодно, лишь бы рядом были Мина с малышкой. Расстилает одеяло возле Дилан, раскладывает на полу ручки и тетради.

— Она совсем сонная. Я ее уложу.
– *Я сам уложу. Чуть попозже, ладно?*
– Ей нужен четкий распорядок, Миха.
– *Может, пойдем погуляем? Вместе. А она по-*

спит в коляске.

— Темно уже.

– Да нормально.

Мина смотрит в окно.

— Хорошо.

* * *

— Как Дилан? Как она?

– Отлично. Красавица. Прибавляет в весе.

Раз в два-три дня Миха с Луизой встречаются и вместе обедают. Они не договариваются, так само собой выходит. В одно и то же время, после занятий, в кафе возле больницы. Луиза вечно спешит, но каждый раз все повторяется в точности.

— У тебя все в порядке?

– Ага. А у тебя?

Они сидят в кафе у окна. Стоят холодные весенние дни, и стекла по краям и внизу запотели.

— Я на самом деле думаю, что мы никогда ничего не узнаем наверняка.

– Ты все время это твердишь, Луиза.

— Да. Но я хочу сказать, что мы далеко не уйдем, если только и будем делать, что задаваться

этим вопросом.

– Это тебе непонятно. А я в том, что он делал, не сомневаюсь. Мне только хочется узнать, чувствовал ли он потом вину.

Миха в раздражении откашливается.

– Хотелось бы еще разок посмотреть фотографии.

– Бабушкины?

– Да. Довоенные и послевоенные.

– Ну… Тогда тебе придется идти к бабушке.

Миха не отвечает. Ищет по карманам сигареты. С бабушкой они не виделись уже больше восьми месяцев.

— Да. Что ж. В любом случае, результата никакого.

– В смысле?

— Я их смотрела. Ничего там не углядишь.

– Когда ты смотрела?

— После твоего возвращения. Когда ты мне рассказал.

— Вместе с бабушкой?

— Разумеется, с ней.

– Она не заметила, что одной не хватает?

— Да. С медового месяца. Мы всю квартиру

обшарили.

– *Это я ее взял.*

— А-а. Понятно.

Луиза помешивает суп.

— Все равно. Ничего по фотографиям не скажешь. Семейные снимки, не больше. Застолья. Счастливые лица. Ничего определенного.

Миха глядит на Луизу. Не знает, верить ей или нет. Верить не хочется.

– *Однако он всегда смотрел в сторону. Заметила? На послевоенных снимках.*

— Ну и?

– *Разве это ни о чем не говорит?*

– Нет. И вообще это неправда. Наверняка есть снимки, где он смотрит в камеру.

– *Назови хоть один.*

– Миха! Господи боже! Годовщина свадьбы. Тридцатилетие. Ома и опа в Кирхенвеге. В саду.

Миха пытается вспомнить. Он по-прежнему уверен, что Луиза ошибается.

– *Значит, ты не считаешь, что его мучила вина?*

– Нет. То есть я не знаю точно. Мы никогда не

узнаем. Я просто говорю, что, возможно, он никогда не задумывался об этом.

– Он убивал людей.

— Хорошо, Миха. Просто выслушай. Возможно, так оно и было. Люди творили ужасные вещи. Шла война. Я их не оправдываю. Отнюдь нет. Но шла война, время было жестокое и непонятное, он не мог различить добро и зло и поступал дурно.

— Ну?

— Вот тогда люди делают ужасные вещи. Возможно. Я по-настоящему, конечно, не знаю, но, возможно, иногда они верят в то, что делают, либо как-то привыкают, а может, иногда и нет. Просто делают и живут дальше.

– И что с того?

– Как это «что с того»? Ты даже не задумался над моими словами.

— А я не хочу.

Миха припоминает тот снимок. Сад в Кирхенвеге. Он проступает все явственнее. Почти уже видно дедово лицо.

— Я только пытаюсь помочь. Нам обоим.

– Знаю.

* * *

Мина снова выходит на работу: на неполный рабочий день, посмотреть, как оно пойдет, говорит она. Они подгадали специально к пасхальным каникулам, чтобы Миха мог оставаться с Дилан и отводить ее в ясли. Начиная с одного-двух часов довести время до обеда, а потом и до того часа, когда Миха сможет забирать ее после своих занятий в школе.

Отдав малышку воспитателю, Миха, чтобы не возвращаться домой одному, идет в кафе напротив садика. Нужно постирать, погладить, сходить в магазин, но он сделает это потом, когда придет Мина и станет рассказывать новости дня. Утро он проводит за чтением, ест, пьет, следит за болтовней официанток у барной стойки, за входящими и выходящими посетителями. Какое облегчение забрать Дилан, окунуться в ее запах.

Интересно, деду тоже становилось хорошо от общения с детьми, а потом и внуками? *Мутти и Бернт. Я и Луиза.* Миха помнит дедовы руки, колени, запах мыла и сигарет. Дилан копошится в сумке на Михиной груди. Он стягивает с нее носок, рассматривает маленькие пальчики,

ноготки, растирает ступни и надевает носок обратно. *Он не заслуживал, чтобы ему было хорошо.* От этой мысли веет правотой и невозможной жестокостью.

Проходит неделя, и вот настает день, когда Дилан надо оставить уже до часу дня. По выходе из метро у него появляется идея. Впереди невыносимо длинное утро, и он разворачивает коляску, спускается по ступенькам и бежит по платформе, чтобы успеть в отъезжающий поезд. Дилан моргает темными глазенками, когда они проезжают свою остановку и едут в центр, где Миха пересаживается на другую электричку и везет дочку на вокзал.

Покупает в киоске претцелей, в женском туалете меняет Дилан подгузник и садится на первый попавшийся поезд до Ганновера, хотя придется делать пересадку в Касселе и двадцать минут ждать.

– *Мне нужно в Штайнвег.*

Миха обращается к таксисту, перекрикивая плачущую Дилан. Она голодная, а Миха уже скормил ей захваченную из дома бутылочку. Таксист везет их быстро, мелькают широкие цен-

тральные улицы, незнакомые пригороды, дома послевоенной постройки.

Миха стоит на тротуаре с Дилан под мышкой. Он никогда здесь прежде не был, только видел фотографии. Ему известен номер дома и куча других подробностей фамильного прошлого. *Пользы ни на грош.* Непонятно, что он хотел найти, приехав сюда, в первое дедово пристанище после плена. *После преступлений.* По-провинциальному представительный дом стоит крепко и безучастно. *Там живут чужие люди.* Миха, смущенный и испуганный, стоит подле, а на его руках дочь заливается голодным плачем.

Из детства помнится только хорошее. Даже вспышки пьяной ярости, сожженные дедовы письма, фотографии, на которых дед отвел глаза, — все хорошо. Даже теперь, когда он точно знает, что и где делал опа, и то, что на снимках в музее, вполне возможно, его рук дело, — Миха, как ни пытается, не может свести все это воедино. Сознание вины, раскаяние, гордость, вызов, позор. И никакой определенности. Не за что зацепиться.

Факты, события, места существуют в отдельности, сами по себе, а Дилан плачет.

Усадив ее в коляску, Миха идет на поиски кафе или магазина, где бы можно было купить и подогреть воду и молочную смесь. Дилан никак не успокаивается, и его охватывает страх. *Еще два с лишним часа на поезде.* Дом за домом тянется улица, а в ушах звучат суровые слова Колесника. Нет вины и прощения тоже нет. *Сожалеть об этом бессмысленно.* Это не поддается жалким человеческим чувствам. *Как там сказала Луиза? Люди просто совершают поступки и живут дальше.*

Миха идет, Дилан плачет, магазинов нет.

Все это время. С самого начала этой истории — на семейном ужине, у бабушки на балконе, в библиотеке, где он читал и делал выписки. Многие месяцы Миха думал, что возможно разобраться во всем до конца, но здесь, в незнакомом пригороде, с голодным ребенком на руках, он вдруг понял, что все эти месяцы он ошибался.

* * *

– Когда я плачу — я плачу из жалости к себе. К себе, а не к тем, погибшим.

Мина, раскачивающая перед дочкиным лицом яркой морской звездой, на мгновение нахмури-

вается. Она еще сердится за вчерашнее, за то, что он уехал, ничего не сказав, не взяв еды для Дилан, без особой цели. Мина берет себя в руки.

— Это ведь нормально.
– Ты правда так думаешь?
— Не знаю.

Дилан тянется ручонкой, но передумывает. Морская звезда танцует, на ее лучах бренчат колокольчики. Ее мягкое махровое тело сминается в пальцах Мины. Ногти сильно обкусаны.

– А ты о ком плачешь?
— Когда вижу кадры о холокосте?
— Да.
– О тебе. В тот миг. О себе. О ней. Пойду пройдусь, пусть поспит на свежем воздухе.

Мина размеренно ходит взад-вперед перед скамейкой в парке, пристроив малышку на плече. Миха смотрит на личико, лежащее на мягком шерстяном пальто матери. От утреннего холодка зарозовели щеки; ресницы, кажется, стали еще чернее и гуще.

— В юности я думала, как это чудовищно. Детишки потеряли родителей. Помнишь один снимок? Мальчик в Бельзене бежит по дороге

навстречу союзным войскам? Совсем один.

– *Помню.*

– Теперь я думаю о родителях, которые потеряли своих детей. Детей в концлагерях расстреливали в первую очередь, так ведь?

Миха кивает.

— Я думаю, как это, должно быть, ужасно. Жить после такого. Продолжать жить без них.

Малышка засыпает. Михе хочется взять ее на руки, но боится ее разбудить. Мина останавливается и начинает тихонько, из стороны в сторону, раскачиваться.

— Ты на эти вещи смотришь иначе. Каждый смотрит по-своему. Ты любил своего деда. Ты узнал о нем нечто ужасное, и теперь тебе кажется, что больше его любить нельзя. Естественно, ты об этом и плачешь.

Мина укладывает дочь в коляску, и Миха, подоткнув в ногах малышки одеяло, качает коляску ногой.

— Все это чересчур логично, я знаю.

— *Да.*

— Логичной быть непросто.

— Да.

— А ведь он, ты помнишь, и хорошее делал тоже. Тебя любил, опять-таки.

— Я не в состоянии об этом думать, Мина.

– Ясно.

Она снимает с ручки коляски сумку и роется в баночках с кремом и упаковках подгузников.

– *Что бы ты делала?*

– В каком смысле?

– *Если бы это был твой опа.*

– Честно, Миха? Не знаю. Может, помочилась бы на его могилу. Прости. Я не знаю. Вполне возможно, я бы вообще о нем не вспоминала, даже хорошего.

Ты на эти вещи смотришь иначе. Миха твердит про себя Минины слова, но никакого эффекта. Легче не становится. Он думает о себе, это правда. *Эгоист.* Но гораздо труднее ему думать о других, о тех, кто его сейчас интересует. *Опа и Иосиф. Они убивали, а после этого жили еще целую жизнь.* Это не выходит у него из головы: он прокручивает их шаги, распутывает нить за нитью. *Годы и поколения. Не поправить. Ни раскаяния, ни прощения.*

Ему противно о них думать. Не надо ничего

говорить Мине, потому что ей тоже станет противно.

Уже совсем поздно. Малышка спит. Миха в пижаме стоит в темной прихожей и разговаривает по телефону.

В трубке отдается эхо, звонят издалека. Неизвестный голос говорит на трудном немецком. Знакомый сильный акцент.

— Вам звонят от Елены Колесник.

Говорит женщина, но не Елена. Миха слышит Еленин говор где-то на заднем плане. Голос в трубке переводит.

— Я говорю с Михаэлем?

— *Да, это я. Это Елена?*

– Она рядом. Она хочет вам кое-что сказать. Просит вас сесть.

– *Хорошо.*

Миха остается на ногах.

— Елена говорит, что умер ее муж. Она очень вас жалеет. Себя жалеет, и вас тоже.

– *Колесник?*

– Да, Иосиф Колесник. Он умер во сне, и она похоронила его сегодня.

Миха слышит, как Елена без конца произносит его имя. Плачет. Ее голос становится отчетливее, она берет трубку. Говорит с Михой на белорусском. Он разбирает только имя ее мужа. Она тяжело дышит, и Миха только теперь понимает, как велико ее горе, видит, как она стоит в узком коридорчике, держит трубку и плачет.

– Елена, мои соболезнования. Мне очень жалко Иосифа.

Но в телефоне уже та, другая женщина.

— Елена просит вас приехать. Она отведет вас на могилу.

Миха чувствует, как молчит Елена, Миха рисует себе картину: вот она стоит в дверях кухни и ждет, что он скажет. В голосе вертится тысяча причин отказаться.

– Пожалуйста, передайте Елене, что я приеду.

Женщина переводит. Миха представляет, как Елена Колесник воспринимает ответ — интересно, улыбнулась ли она, что почувствовала.

– Я приеду через пару недель. Напишу, когда куплю билеты на поезд.

Когда Миха возвращается в спальню, Мина

дремлет, рядом, запрокинув руки, спит малышка. Он сморит на них, а потом шепчет — тихо, чтоб не разбудить:

– *Иосиф Колесник умер.*

Он скажет это Мине утром. *Совсем скоро.*

Белоруссия, весна 1999-го

Дорога хорошо знакома. Михе уже привычно ехать в неторопливых поездах и битком набитых автобусах. Он легко привык к мысли, что Колесник умер и он его больше не увидит, — и это удивляет Миху. Он-то думал, что все еще будет ждать: вот старик придет встречать его на остановку — и что дико ему будет идти до места одному, но ничего подобного.

Елена Колесник ждет его на крыльце. Завидев Миху, еще издали машет рукой, и Миха машет в ответ. Рядом с ней другая женщина, помоложе. Наверное, та самая, что говорила по телефону.

Елена отводит Михе свою спальню, свою и своего мужа. Миха хочет отказаться, но соседка говорит, что не нужно обижать Елену.

— Она ляжет на кухне, она так всегда спит,

когда гости приезжают.

Елена со стуком выставляет на стол тарелки, нарезает широкими ломтями хлеб. И сердится на Миху. Все не возьмет в толк, почему бы ему не побыть подольше. Он через соседку объясняет, что ему нужно на работу, он и так взял отгул.

– *Меня отпустили всего на два дня. Завтра я должен ехать. Простите.*

Миха достает сверху из рюкзака фотографии Елены и Иосифа, и за едой Елена не сводит с них глаз. Миха должен был послать их еще много месяцев назад. До того, как Колесник умер. Он снова через соседку приносит извинения, и Елена кивает, но, кажется, толком не слышит. Поглощена лежащими перед ней снимками. *Иосиф смотрит на нее, там, в соседней комнате. Всего несколько месяцев назад.*

После еды Миха показывает фотографии Мины и дочки, и Елена опять улыбается, но сердиться не перестает. Нужно бы побыть подольше, да не хочется. Не хочется Михе спать там, где спал Колесник и где он умер. Его подмывает заявить Елене, что он не друг ее мужу, да и ей тоже не друг, но слова не идут с языка. Это было бы слиш-

ком жестоко, слишком грубо.

Соседка прощается.

— Завтра Елена отведет вас на могилу. Утром, когда вы проснетесь. Идти нужно пешком.

Миха отворачивает на кровати одеяла, сминает простынь, сминает подушку. И ложится в спальном мешке на половике под широким подоконником, пристроив под голову сложенный свитер.

* * *

На кладбище Елена гладит пальцами молоденькую травку. На могиле лежат свежие цветы. Не от Елены, не от Михи. *Кто-то скорбит по Колеснику.*

Миха не знает, что ему делать. Утро выдалось теплое. На почти чистом небе ярко светит солнце. Миха еще полусонный. Сказывается усталость с дороги и ночь, проведенная на деревянном полу.

Надгробия пока еще нет. Неприметна могила Колесника. Один только высокий холмик да свежий дерн, который Елена, молча став подле Михи на колени, приминает то щекой, то лбом.

Миха отворачивается, смотрит на деревню, на речку под холмом. Пытается вызвать в себе хоть малейшее чувство скорби. Тщетно. Единственное желание — как можно быстрее уехать домой.

Миха думает, что потом они вернутся в деревню, но они идут в противоположную сторону. На юг, туда, где болота. Через десять минут пути поворачивают на восток, к лесу. Соседки с ними нет, и Миха не может спросить у Елены, куда они идут. Просто молча шагает следом. Входит в березовую рощу и вдруг оживает, наслаждается окружающей картиной. Чудесный день. Чистый, сильный солнечный свет пробивается сквозь листву. Свет полосами ложится на землю и на траву. Миха идет за Еленой под пенье птиц и вдыхает лесную прохладу.

Елена берет Миху за локоть, и он вдруг видит на ее щеках слезы. Миха ошеломлен собственным невниманием. Она плачет, а он даже не замечал этого.

– *Фрау Колесник.*

Они идут, как прежде — Елена немного впереди, Миха поспевает за ней. Он хочет тронуть ее за руку, но она, уклонившись, показывает на де-

ревья впереди. Они продолжают углубляться по тропинке в лес. Дальше — просвет, яркое пятно посреди темных стволов деревьев.

Миха смотрит туда и неожиданно все понимает. Его словно озарило.

Он останавливается, и Елена оборачивается к нему. Смотрит, а слезы льются рекой. Миха закрывает рот рукой; ладони увлажняются; его охватывает жар; кружится голова. Елена поднимает руки. Одну кладет себе на плечо, а другую, сжатую в кулак, вытягивает перед собой. Изображает, будто стреляет из ружья, но Миха уже и так все понял.

Он кричит. Она издает звук, похожий на свист пули.

Миха зажмуривается. Солнце мощно и ярко бьет сквозь листву. Его прошибает пот. Щиплет в ушах.

Елена подходит к нему. Миха не разжимает веки. Вокруг стоит лес, в животе глухо пульсирует, горячая черная кровь застилает глаза. Она ждет, но ноги его вдруг делаются ватными. Он не хочет быть здесь. Он хочет открыть глаза и очутиться дома, на кухне, с дочкой на коленях. Елена снова

изображает выстрел, и он кричит. Кричит то, что думает; кричит, чтобы она прекратила.

– *Пожалуйста. Перестаньте.*

Он закрывает ладонями лицо, и она обессиленно опускает руки. Стоит, маленькая и горестная, а из гортани рвется слабый, сухой хрип. Прислушиваясь к этому звуку, Миха думает: «*Она потеряла своего мужа, своего Иосифа*».

Елена утирает слезы рукавом, но щеки сразу снова становятся мокрыми. Идет дальше. Миха видит узкую спину, угловатые плечи, затылок, освещенный солнцем.

Миха останавливается у кромки леса и смотрит ей вслед. Подлесок под ногами переходит в траву. Кулаки, зубы, живот — свело. Старуха, освещенная солнечным светом, пробивающимся сквозь деревья, бредет по широкому полю и вдруг падает на колени.

Миха ждет. Елена не поднимается. Плечи содрогаются. *Плачет.* Он слышит звук плача и идет к ней.

Шагает по прогалине-могиле.

Елена вытирает слезы, стряхивает их с рук

на землю. В голове у Михи все плывет. Он бы и хотел, да не в силах оставаться здесь. Не в силах стоять на этой мягкой земле, на этой траве, этом мхе. Снова отходит, оставив Елену под жгучими лучами, выбирается с сырой почвы на гаревую дорожку между деревьями, и, пересиливая себя, ждет.

На обратном пути оба идут молча. Солнце уже высоко в небе. Жарит вовсю. Миху не отпускает слабость. Он ждет не дождется отъезда.

Елена едет вместе с ним на автобусе до вокзала. Утирается большим серым платком, сердится на него. Да, он все испортил, исковеркал день поминовения мертвых. Они не разговаривают. Михе ничего не приходит на ум. Он тоже разозлен. Борется с раздражением.

У нее нет детей. Молоденькая женщина, одна в пустой деревне, она сама мне рассказывала. Она знала, скольких расстреливали. И влюбилась в одного из убийц, когда тот пришел из тюрьмы. Детей не было. Кара за ее грех, за любовь к нему.

Подходит поезд. Они стоят рядышком и ждут, пока проводник откроет вагон. Елена протягивает Михе в дорогу сумку с хлебом и фруктами.

Поблагодарив, он уходит, чтобы положить сумку на полку, и возвращается к уже запертым дверям. Но Елена еще здесь. Он опускает стекло.

Теперь Елена говорит Михе что-то, но он не понимает ее. Несколько слов, которые он мог бы узнать, проглочены слезами. Она говорит, говорит, цепляется за Михины руки, зная, что он не понимает ее слов. Ей, похоже, это безразлично. Слова идут и идут, наконец, проводник захлопывает дверь.

Елена держит Миху за руки, покуда поезд не трогается. Тогда только отпускает. Молча шагает возле Михи вслед за поездом до конца платформы и до тех пор, пока он может ее видеть, стоит и машет рукой.

Смеркается. Поезд набирает ход. Перед глазами все еще стоят и просвет, и сочная листва, и мягкая земля. Жуткая мысль пробивается к нему через весь этот трудный день, через голос Елены и ее слезы.

Иосиф. И дед.

Миха понял, зачем она это сделала, зачем его туда отвела.

* * *

За окном высоко в небе сияет луна, Миха в купе один. Он не зажигает света и сидит у незашторенного окна, глядя на тропку, бегущую через лес и болото. Черные, подсвеченные по краям тени. Обрамляющие темноту четкие контуры.

Я не ходил на дедовы похороны. Луиза ходила, а я, сказала мутти, был еще мал. День, скорее всего, провел во дворе. Не помню.

Позже мутти водила меня на могилу. Года эдак через два или три. Помню сплошь темные тисы и долгие ряды могил. На некоторых лежали свежие цветы, на других букеты увядали, начинали гнить. В высоких вазах стояла зеленая вода. Жарило солнце.

Я вроде бы не ожидал увидеть деда, но когда его там действительно не оказалось, я заплакал и плакал долго-долго.

Дома, весна

Ясным днем Дилан шагает рядом с Михой. Тепло и солнечно. Он несет под мышкой ее курточку,

а в кармане лежит отвергнутая шапка. Дорога от автобусной остановки ведет по очень красивой местности, и Миха семенит, подстраиваясь под дочкину походку. Их прогулочный ход под стать неторопливости местных обитателей, рука об руку тянущихся по желтым гравийным дорожкам. Деревья с последнего Михиного посещения разрослись вширь и вытянулись, но, по его мнению, все равно ничто тут не изменилось. Белое здание, зеленый газон, серая автостоянка, а внутри хмурая, неуверенная пустота. Дилан топает по дорожке, падает и недолго, пока он ее ставит на ноги, ревет.

– *Сегодня мы не плачем.*

Отбрасывает в сторону камешек, застрявший в волосах, смотрит, нет ли на коже ранок, целует чумазые впадинки на маленьких ладонях. Она вытирает глаза и улыбается. Крошечные зубки. Щеки смуглые. *Как у Мины.*

Свернув с дороги к главному входу, Миха несет Дилан за угол, к автостоянке, а та мурлычет и засовывает кулачки в складки его пальто. Дойдя до бордюра, Миха поворачивается и запрокидывает голову, смотрит под крышу высокого белого здания.

– Видишь, Дилан?

Указывает дочери, и она, повинуясь его пальцу, смотрит в небо, по-прежнему напевая и щурясь от солнца.

– Если считать от верхнего правого угла, восемь этажей вниз. Затем одно, два, три окна вбок. Там живет ома Кете. Это ее «птичье гнездо». А если нам повезет, мы увидим, как она выйдет встречать нас на балкон. Видно?

– Ома Кете?

– Моя Ома Кете. Видишь ее?

Миха смотрит дочке в лицо, наблюдает, как бестрепетно узнает она о новом члене их семьи. Ширится ее фамильная карта — и ни препон, ни сомнений, одно любопытство. Михе больно это видеть. Он сажает Дилан на плечи.

– Она там.

— Где?

– Помаши. Тогда она тебе тоже помашет.

Дилан машет. Миха чувствует на плечах ее легкое тело и наслаждается мгновением: вот он стоит здесь, внизу, с дочкой. Дочка мурлычет песенку и машет маленькой ручкой, положив другую ему на макушку.

— Она там, папа?

У Михи режет в глазах. Расплывается. Смазанная картинка на фоне слепящего неба.

— *Да. Видишь ее?*
— Да.

Дилан отвечает неуверенным голосом, но машет старательно, а Миха не сводит глаз с крохотного пятнышка, мелькающего им в ответ.

Литературная премия Букера уже более тридцати лет присуждается за лучший роман года, написанный авторами из стран Британского Содружества и Республики Ирландия. Вначале жюри формирует длинный список претендентов на эту премию (лонг-лист), а затем оставляет в коротком списке (шорт-листе) шесть романов, из которых и выбирается победитель. Само выдвижение на эту престижную премию уже является свидетельством несомненных литературных достоинств книги. В серии «Премия Букера: избранное» мы знакомим вас не только с лауреатами, но и с книгами, попадавшими в последние годы в списки претендентов.